



ЮНОСТЬ

2

1971



О. ВУКОЛОВ.

На учениях. В минуту отдыха.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



2 (189)
ФЕВРАЛЬ
1971

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Виктор СТЕПАНОВ. Веной на волне. Повесть 2

Борис БОНДАРЕНКО. Цейтнот. Повесть. (Окончанье) 23

ПОЭЗИЯ

Александр БАЛИН. Ночная песня. «Никогда не верил я в звучанье...», «Да, я ходил на поле брани...»

Олег ЦАКУНОВ. «Когда допеты песни, мы молчим...». Поэтам гражданской

Наум КИСЛИК. «Всползали на берег неловко...». Как мы пели. «Заиграли огни...»

Геннадий ХОРОШАВЦЕВ. «Как будто вена тишины над запретной зоной...». «Ночи июня!..». Соловей

Юрий ВОРОНОВ. Стихи о блокаде

Кайсын КУЛИЕВ. «Мне жизнененавистники грозили...». «Когда-то, каждую весной...». «Рождается на свет дитя...». Девушке. «Много было всяких дней...». «Что составляет наше достоянье?..». Перевел с балкарского Н. Гребнев

Яков ХЕЛЕМСКИЙ. «За лозьями блестит си-нева...». «Подходит апрель-зимобор...». «Жесткий лист глянцевого лавра...»

Иосиф РЖАВСКИЙ. Сердце Нади

Сергей НАРОВЧАТОВ. Давние стихи (В Сокольниках. Северянка, Шотландская песня. Вечер).

ПОГОВОРИМ О ПРОЧИТАННОМ

Станислав РАССАДИН. Преодоление. Заметки об армянской поэзии

ПУБЛИЦИСТИКА

Алексей ЧУПРОВ. Завтра прыжки

Светлана ИКОННИКОВА, Алексей ФРОЛОВ. Трудно ли стать взрослым? Диалог молодежи в новой пятилетке ведут социолог и журналист

И. БРАЙНИН. «...Мы не играем». Документальный рассказ о тульском Детском Пролеткульте

ПУТЕШЕСТВИЯ

Тур ХЕЙЕРДАЛ. Экспедиция «Ра»

КРУГ ЧТЕНИЯ

Заметки о новых книгах

НАУКА И ТЕХНИКА

Виктор ШИКАН. Человек и планеты

СПОРТ

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Три рассказа на одну тему

Татьяна ЛЮБЕЦКАЯ. Внучки тети Маши Поддубной

ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Ст. ЛЕСНЕВСКИЙ. Лебеди на лугу

И. ВАСИЛЬЕВ. «Не посрамлю земли русской...»

«ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»

Лазарь КАРЕЛИН. Путь мужчины

19 Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ
20 Первый заместитель
главного редактора
21 С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Редакционная коллегия:
22 А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
49 В. И. ВОРОНОВ
(зам. главного редактора),
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ,
50 Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ,
51 Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
61 М. П. ПРИЛЕЖАЕВА

65 Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.
Оформление номера
А. Головченко.
52 Технический редактор
Л. К. Зябкина.
58

На 1—4-й стр. обложки
рисунок
67 Виктора БЫЛИНКИНА.

72 Адрес редакции:
78 Москва, Г-69,
ул. Воровского, 52.
Тел. 291-62-47.
94 Рукописи
не возвращаются.

96 Сдано в набор 3/XII 1970 г.
А 05708.
101 Подп. к печ. 14/I 1971 г.
Формат бумаги 84×108^{1/16}.
105 Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
62 Тираж 1 500 000 экз.
Изд. № 228. Заказ № 3447.
107 Ордена Ленина
типография
газеты «Правда»
им. В. И. Ленина.
Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.

ВЕНОК НА ВОЛНЕ

ПОВЕСТЬ

Рисунки
Геннадия
Новожилова.



Иллюстрация Геннадия Новожилова

Лит. 1. 1971 г.

**ВИКТОР
СТЕПАНОВ**



1

У пирса, где стоят боевые корабли, даже море кажется военным. Когда предвестием шторма запянутся синие гребни, море делается полосатым, словно надело тельняшку. И катится, катится — волна за волной, как шеренга за шеренгой.

В штиль море стальное, будь оно хоть Белое, хоть Черное, потому что впитывает в себя цвет кораблей. И чайки здесь совсем другие — застенчивые. Скользнут белым косяком над мачтами — и в торговый порт, где можно вдоволь порезвиться и покричать.

Я впервые на этом пирсе, но он знаком мне давно. Кант на моих погончиках точно такого же цвета, как флаги и вымпелы, трепещущие на ветру. Бело-голубой флаг с красной звездой, серпом и молотом словно вшит в зеленое полотнище — это военно-морской флаг кораблей и судов пограничных войск. Как это говорил нам мичман? «Море землю бережет!»

Здравствуй, пирс — порог морей! Еще вчера на берегу, где я прошел курс молодого матроса и освоил азы своей флотской специальности, меня напутствовали, провожая на корабль:

— Пойдешь по трапу, заприметь, на какую ногу споткнулся. На правую — командир полюбит, на левую — фитиль врубят.

Я обиделся.

— Эх ты, салага, — засмеялись моряки, — разве не знаешь, что земля стоит на китах, а флот — на афоризмах?

Мичман таил улыбку, наблюдая, как надо мной подтрунивают. Но, заметив, что мое настроение начинает штормить, обрубил:

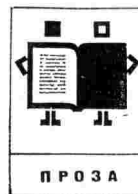
— Ну, хватит травить. Главное, Тимошин, когда ступишь на трап, не забудь отдать честь флагу. Для моряка это первая заповедь. Ты думаешь, флаг на гафеле держится? Ничего подобного. На душах морских, вот на чем. Что дала пока тебе подготовка к службе? Форму. А вот содержание даст корабль. Твой корабль.

Обратили внимание? Моряки почти никогда не говорят «наш корабль», всегда — «мой» или «твой». И, признаться по-честному, мой корабль мне давно уже снился. В детстве он маячил белопарусным фрегатом. Но чем больше я взрослел, тем больше модернизировался в моем воображении этот корабль-мечта. Он становился то линкором, то крейсером, то атомным «Наутилусом». Чем реальней мечта, тем меньше у нее миражных парусов. Сейчас я уже точно знал, что назначен не на ракетный крейсер, а всего лишь на СКР — сторожевой корабль. Но ведь это «мой СКР», и не только большому кораблю — большое плавание.

— Вон, видишь, бортовой 0450, — сказал матрос, проводивший меня до пирса, — вот к нему и швартуйся.

Мой корабль стоял левым бортом к стенке в ряду своих близнецов-сторожевиков. И я с огорчением отметил, что на фоне собратьев он не из лучших. С низкорослой мачты устало свисали сигнальные фалы. Обшарпанный борт выглядел так, словно кораблю пришлось продираться по крайней мере сквозь льды Антарктиды.

Я ступил на трап, приложил ладонь к бескозырке и вспомнил мичмана. Но не те его слова насчет флага, а другие — насчет трапа. «Пять-шесть шагов, — как-то сказал он, — пять-шесть шагов между берегом и кораблем — первая дорога, которую не забывают ни молодые моряки, ни се-



дые адмиралы. Все, что остается за трапом, измеряется после в другом летосчислении. До службы на корабле будет считаться, как до новой эры».

— Товарищ капитан-лейтенант!

За те несколько секунд, пока я докладывал о своем прибытии, начисто забыв и потому нахально перевирая уставную формулировку, вахтенный офицер, встретивший меня на другом конце трапа, стоял неподвижно, как черная мумия. «Жидковат,— подумал я, угадывая под шинелью худенькую мальчишескую фигуру.— Отнюдь не волк, тем более не морской. Года на четыре постарше меня. А козырьком мне как раз по переносицу».

Но из-под этого козырька сверляще чернели глаза, которые наверняка успели заметить мои нарушения уставной формы одежды: перешитый «в талию» бушлат и вывернутый на всю толщину кант бескозырки. «Ну что,— спросили черные глаза,— пришел на танцы или служить? Может быть, начнем с переодевания?» «Не стоит, товарищ каплей,— ответил я тоже взглядом,— я же не ребенок. И потом, разве плохо, если моряк элегантен? Посмотрите на себя, ведь у вас у самого перешита фуражка, такие козырьки требуют особого заказа...» Черные глаза под козырьком усмехнулись.

— Добро пожаловать,— сказал капитан-лейтенант. И развел руками, показывая на палубу.— Как говорится, просим извинить за неприбранную постель,— только что из похода.— Капитан-лейтенант оглянулся и, увидев показавшегося из-за надстройки моряка, поманил его пальцем.— Афанасьев! Представьте матроса командиру.

Афанасьев, увалень с покатыми плечами, на которых блеснули лычки старшины II статьи, подмигнул и, ничего не сказав, неожиданно ловко юркнул вниз по трапу, кивком пригласив меня за собой. Я хотел спуститься так же быстро, но скользнул каблучками по ступенькам, больно стукнулся головой и, будучи с турника, плюхнулся на вторую палубу. Афанасьев сделал вид, что не заметил.

— Товарищ командир, новичок к нам,— доложил он, пропустив меня в дверь каюты. И, словно невзначай, спросил: — Этот, что ли, мне на смену?

Командир, сидевший за небольшим столиком, привстал и сразу занял собой полкаюты.

— Заходите, заходите, ждем. И давненько.

Он чуть сдвинул рукав с золотыми нашивками капитана III ранга и взглянул на часы.

— Десять ноль пять? А ждали к девяти ноль-ноль. Так вам, кажется, было предписано?

Чего угодно, а такой дотошности я не ожидал. Человек пришел на корабль не на день-два — и уже счет на минуты. Можно было бы приветить и поласковей.

— Вы свободны, Афанасьев,— сказал командир, а мне показал на кресло, приглашая сесть.

В каюте, напоминающей плацкартное купе, сквозь сизоватый сигаретный дым кругло брезжил иллюминатор. На столике — скатертью со свисающими углами — карта и журнал «Морской сборник» с военно-морским флагом на обложке. За шелковой ширмой угадывалась постель. На серой стене, прямо над столиком, фотография какого-то допотопного катера. «МО», — определил я. — «Морской охотник» довоенной постройки. И зачем здесь эта старая калоша?

— Конечно, не салон белоснежного океанского лайнера,— перехватил мой взгляд командир. И усмехнулся чему-то своему. — Но ведь мы здесь не по льготной профсоюзной путевке. Так, что ли, матрос Тимошин?

Да, конечно, это не прогулочная яхта, мысленно согласился я. Но тем более ни к чему и эта оранжевая. В углу каюты стояли два алюминиевых лагуна,

в каких обычно варят борщ и макароны. И в этих нелепых вазах благоухали сейчас букеты белых астр. В каюте боевого корабля они выглядели странно и противоестественно. И зачем так много цветов? Не торговать же ими в самом деле... Сентиментален этот «каптри» и, вероятно, любит Надсона: «Цветы — отдохновение души... очарование памяти безбрежной!»

Наверное, из неудачников, подумал я про командира. Мечтал когда-то в юности о капитанском мостике крейсера. А вот на ж тебе — судьба забросила на СКР. Сейчас начнет, конечно, о чести, о долге, о том, что неважно, где служить, а важно, как служить. Будет воспитывать меня, а в душе спорить с самим собой. Не люблю, кто кренился то на один борт, то на другой; полный штиль, а человек кренился. Вот и этот. С одной стороны, показывает на часы, почему, мол, явились не «тик в тик», а с другой — астры в лагунах.

— Расскажите о себе,— сказал командир и начал рисовать на клочке бумаги замысловатые квадратики. Какой-то свой, одному ему ведомый ребус.

Я начал неохотно что-то мямлить о школе, о комсомоле, а сам, не отрываясь, следил за его рукой, водящей по листу карандашом. Чистая, холевая, как у нашего учителя литературы, рука. Даже нет морской традиционной татуировки. Нашивки на рукаве мне уже не казались такими ослепительными — вблизи на них была заметна прозелень. Давно не менял и, видно, долго служит в одном и том же звании. Голова у командира крупная, когда-то шевелюристая, а сейчас вот уже пробились и залысины.

— Ну, так что? — повторил вопрос командир и поднял глаза от недосыпания в темных обводниках — такие проступают, когда снимают очки. И, правда, он, как близорукий, провел по глазам ладонью, сощурился.

— Значит, год рождения — пятьдесят второй, — как бы подсказывая, продолжал за меня он. — Член ВЛКСМ. Так? Окончил среднюю школу, призван Наро-Фоминским военкоматом... — Командир помолчал, словно к чему-то прислушиваясь, и задумчиво произнес: — Год рождения — пятьдесят второй! Ну, и бежит же время. И каким только лагом оно отщелкивает?

И, отбросив карандаш, он с любопытством взглянул на меня так, словно я только что перед ним очутился. А чему, собственно, удивляться?

Я смотрел на астры и с пятого на десятое слушал, как он рассказывал о корабле, о том, какие задачи будут на меня возложены. Афанасьев, провожавший меня к командиру, оказался прав: я назначен учеником радиометриста, к нему на замену.

В каюте я пробыл минут десять — пятнадцать, и у меня появилось такое ощущение, что разговор с командиром не получился, что главная беседа еще впереди, а эта — так, для проформы.

В дверь заглянул Афанасьев.

— А вот и ваш младший командир,— сказал капитан III ранга, давая тем самым понять, что наше свидание закончено. И, как бы спохватившись, спросил Афанасьева: — Что у нас сегодня на обед?

— Борщ, плов и компот,— с готовностью ответил Афанасьев.

— Накормите матроса, а дальше согласно распорядку.

Время для обеда еще не подоспело, но традиция есть традиция, и мне пришлось отведать, как сказал Афанасьев, «рукоделия» кока Лагутенкова.

Пока я без аппетита ковырял вилкой в плове, Афанасьев приправлял мой обед рассказом о первостепенном значении на корабле поварской должности. Примазывается, догадался я, рад, небось, до черти-

ков, что скоро домой, и ублажает и расписывает, какой у них на корабле кок.

— Ты рубай, рубай, не стесняйся,— нажимал на меня Афанасьев.— С добавкой у нас не проблема. А Лагутенков — весь флот нашему кораблю завидует. Говорят, даже флагман пытался его переманить. Да будет тебе известно, что в походе Лагутенков не просто кок, но и сигнальщик. Полная взаимозаменяемость — в руке то бинокль, то камбузный нож. Николай, правда, имеет большую склонность к борщам и систематически повышает свои специальные знания в этой области. В увольнении мы, сам знаешь, кто куда. Куда поведет тебя внутренний компас. А у Лагутенкова курс всегда известен заранее — в книжные магазины. И за какими, думаешь, книгами? По домоводству. Особых разносолов, конечно, не приготовишь, но не макаронами одними сыты. Вот компот. Не компот, а натюрморт!

«Первый компот на корабле,— почему-то с грустью посмотрел я на жестяную кружку.— Первый... А сколько предстоит съесть их до демобилизации?» Один знакомый матрос, который в фитилях ходил, как корабль в ракушках, учил меня: «Ты думаешь, моряки считают службу на дни? Ничего подобного. На компоты. Съел компот — считай день долой». И еще показал он мне карманный календарик, на котором числа были перечеркнуты крестиками: «Съел компот, поставь крестик. И сразу видно, сколько впереди пустых дней».

Тогда мне эта компотная арифметика не понравилась, а сейчас, вылавливая из кружки чернослив, почему-то о ней вспомнил.

Согласно распорядку, на корабле была большая приборка. Не потому ли Афанасьев так поспешно провел меня по всем помещениям? Мы не отдыхали даже в рубке радиометриста, где, казалось, сам бог велел задержаться. Это же был наш боевой пост! Мне очень не терпелось дотронуться до рычажков и кнопок радиолокационной станции, включить ее и заглянуть в оживший экран. Но Афанасьев теребил за рукав:

— Пошли, пошли, это все потом, само собой!

Он торопил меня и в машинном отделении и на ходовом мостике. Получалось как в том известном юмористическом фильме об экскурсоводе: «Посмотрите направо, посмотрите налево. Поехали дальше».

Когда мы снова очутились на верхней палубе, Афанасьев куда-то на минутку исчез и вернулся со шваброй и ветошью.

— От сих и до сих,— показал он мой участок приборки.— Надевай робу и шпаль.

Вот тебе и заданье! А кто он вообще-то такой — этот Афанасьев? Без году неделя старшина II статьи и уже командует так, словно я только за тем и пришел на флот, чтобы выслушивать его указания. Невелика птица — подумаешь, две лычки! Мне будто кипятком плеснуло в лицо.

— Послушай, Афанасьев,— сказал я,— ты брось эти штучки, видали мы и почище... Тоже мне командующий нашелся... «От сих до сих»...

Я хотел сказать позанозистей. Но у меня всегда так: когда злость, плохо формулирую мысль. Потом, когда остыну, приходит то, что надо. Но уже поздно.

Афанасьев нахмурился и сразу изменился в лице. Заметно сдерживаясь, выдавил:

— Матрос Тимошин, делайте, что вам приказано.— И, уходя, обернулся.— Если до фитиля не хотите доболтаться...

А правы были на берегу, только я, кажется, на трапе не спотыкался. Хочешь — верь приметам, хочешь — нет, но все идет враздрай. Думал, что буду сидеть в рубке, копаться в проводах и конденсаторах, а здесь та же самая швабра. Сомневаюсь, что-

бы кто-нибудь из матросов любил этот популярный приборочный инструмент, но я его ненавидел. Что может быть бессмысленней и что более унизительно — в век электроники и космоса водить этой самой шваброй по палубе точь-в-точь, как современники Колумба: вперед — назад, вперед — назад.

— Ты где квалификацию повышал? — спросил матрос, драивший рядом медяшку.

— Какую? — не понял я.

— А по части швабры!

И матрос хохотнул, довольный, что поймал меня на удочку такой мелкой наживой.

Я промолчал, будто пропустил мимо ушей, — не связываться же и с этим.

Может быть, тысячи раз — сначала я пробовал подсчитать, а потом сбился — шатуном моих рук проволочило швабру по палубе. Вот уже совсем чистое до каждой заклепки железо. Но проходит мимо бочман, косит глазом:

— Слабо, слабо, товарищ матрос. Не у тещи паркет натираете.

Когда мне уже стало казаться, что не я вожу шваброй, а она мной, приборка наконец закончилась. Согласно распорядку, через двадцать минут нам надлежало собраться в кубрике на спецзанятия.

Если каюта командира напомнила мне купе, то кубрик по аналогии можно сравнить с плацкартным вагоном. Раздвинуть немного коридор, вместо окон — кругляки иллюминаторов, поставить посередине стол — вот и кубрик. В общем, жилплощадь такова, что, куда ни двинься, даже самым худющим и поджарым матросам вдвоем не разойтись, не зацепив друг друга бляхами.

В кубрик спустился капитан-лейтенант, встретивший меня у трапа. Был он в тужурке и потому выглядел еще менее внушительно. К своему удивлению, я заметил у него на груди орденскую колодку. Воевать не воевал, а уже отличился. Впрочем, рассудил я, много сейчас наград и не за военные подвиги. Матрос, сидевший рядом, толкнул меня в бок:

— Знакомы? Нет? Помощник командира. Первый во всем дивизионе спец по правовому режиму.

Но я смотрел уже не на помощника, а на Афанасьева, который услужливо развертывал карту.

— Территориальные воды,— начал капитан-лейтенант и провел указкой по красному пунктиру на карте,— это морская полоса определенной ширины, проходящая вдоль материка и островов, которая находится под суверенной властью прибрежного государства и составляет часть его территории.

Указка еще проползла по каемке вдоль нашего берега.

— Советский Союз и большинство социалистических государств установили двенадцатимильные территориальные воды... заход иностранных военных кораблей в территориальные воды допускается лишь по разрешению государства, которому они принадлежат.

— А если не попросят разрешения? — вырвалось у меня.

— Прежде, чем задать вопрос, надо поднять руку. Это знает любой первоклассник, — не меняя прежнего тона и не взглянув на меня, сказал капитан-лейтенант.

Я сконфузился, а матросы, сидевшие впереди, сочувственно оглянулись.

— Иностранные военные корабли, — бесстрастно продолжал капитан-лейтенант, — и невоенные суда, преднамеренно зашедшие в территориальные воды прибрежного государства... считаются нарушителями государственной границы.

Капитан-лейтенант сделал паузу и оглядел матросов.

— Старшина второй статьи Афанасьев! Каковы действия пограничников в случае нарушения границы иностранным военным кораблем или судном? Афанасьев выпрямился пружиной и заученно отчеканил:

— Командование военно-морских сил и пограничные власти вправе предложить иностранному военному кораблю или судну, нарушившему государственную границу, немедленно покинуть территориальные воды и в случае невыполнения этого требования принять необходимые меры вплоть до применения силы.

— Правильно, — одобрительно кивнул капитан-лейтенант.

Как все, оказывается, просто и буднично — права, режим погранзоны. Любой из матросов лучше, чем таблицу умножения, знает свои обязанности. Все параграфы эти мы проштудировали еще на берегу. Здесь-то, на корабле, зачем эта казуистика? Но как в том каламбуре: «Читай устав, совсем устав, и утром, ото сна восстав, читай усиленно устав». И перед глазами всплыла швабра: вперед — назад, вперед — назад.

В кубрике становилось душно, и он показался мне еще теснее. В открытый иллюминатор проглядывал sereneкий кружок моря. Он был неподвижным, словно прилепленным к стене. И робы на матросах выглядели под стать серому кружку моря — застиранные и мятые.

В этот день я еле дождался часа, который в расписании обозначен как «личное время». Личное... Выходит, все остальное время общественное, так сказать, принадлежит государству. А личное — это уже, считай, частная собственность. В личное время я могу быть предоставлен сам себе.

Лично я решил написать письмо. Песня, что ли, меня настроила?

Матрос с конопатым лицом — мы еще не успели познакомиться — достал «хромку», и в кубрик, словно водопадом по трапу, хлынула мятая свежесть подмосковных вечеров. Песня, которую уже редко вспоминают даже на свадьбах, зазвучала здесь по-новому, другими нотками откровения и грусти. И как будто прищемило что-то внутри, невидимой тонкой струной душа отозвалась на знакомый мотив. Есть же песни! Я сравнил бы их — пусть грубовато — с аккумуляторами, в которых таят воспоминания.

Вот такая тульская «хромка» провожала меня на флот. В центре компании оказался Борис — друг детства, закадычный кореш юности. С тех пор, как в четвертом классе мы случайно оказались за одной партой, нас, как говорится, не разольешь водой. Не знаешь, где я, — найди Борьку; не знаешь, где Борька, — найди меня. Неправда, что дружба держится на равноправии. Я признавал превосходство Бориса. И не потому, что он ростом повыше и в плечах пошире. Нет. Унижения я никогда не испытывал. Он на голову выше меня в другом — во взгляде на жизнь. Все у него просто и понятно. Вот так некоторые ученики начинают решать задачи с ответа. Посмотрят в конце задачника результат и к нему подгоняют решение. У Бориса ответов всегда больше, чем вопросов. И хотя мы с ним ровесники, Борис в нашей дружбе старшиновал при полном моем уважении.

И тогда, на прощальном вечере, верховодил Борис. Он притащил с собой «маг»: «Последний крик джаза! Внимание, последний раз в сезоне!» Борис это умеет. Он и дурачится как-то изыщно. В общем, была музыка, может, и впрямь самая современная, но не было общей песни, и компания разваливалась. Тогда отец достал из старенького футляра нашу се-

мейную реликвию — вот такую же, как у матроса, «хромку». Отец купил ее в день, когда родилась моя старшая сестренка. И нет радостнее звука, чем голос этой гармонии, потому что гармонь, как известно, достают только в час веселья.

Но в тот вечер даже самые быстрые ее переборы звучали для меня прощально. Борис, наверное, это заметил. И тут оказался на высоте. «Начинаем концерт, — крикнул он, — по заявке будущего матроса, а возможно, и адмирала! «Вечер на рейде» исполняют сестры Тимошины» (это мои сестренки). А когда молодая соседка — ее муж служит моряком где-то на Балтике — спела частушку, ею же сочиненную:

Ой ты, Паша дорогой.
Передай моему привет!
Еще раз я повторяю.
Паша, слышишь или нет? —

Борис завертелся вприсядку волчком. «Закрываю грудью амбразуру! — загорланил он. — Кто следующий?» Я понимал, что он старается из-за меня, чтобы как-то растормошить меня, улучшить мое настроение.

Я сидел рядом с матерью, которая поминутно прикладывала к мокрым глазам платок, и безуспешно старался ее подбодрить.

А Борис уже разливал по стопкам вино и провозглашал очередной тост: «За тех, кто в море!» И тянулся чокнуться со мной. Но и звон стопок звучал для меня тоже прощально. Понимал ли Борис, что грущу я не только потому, что пришел час расставания с домом, семьей? Я думал о том, что хотя мы с ним и вместе, но уже далеко друг от друга. Куда было бы легче, если бы провожали сейчас нас обоих! Вещмешки за спину — и вперед! Вперед, друзья!

Говорят: «друг детства». Правда, так формулируют взаимоотношения спустя годы, когда становятся взрослыми. И фраза эта как бы подчеркивает, что не настоящий, мол, друг, не сегодняшний, а «друг детства», ибо чаще всего друзья детства становятся бывшими.

А в детстве — просто друг. И нет ничего бескорыстнее дружбы двух голоштаных человек. И нет никого сильнее их на всем белом свете. Еще крепче сдружила нас книжка про морскую пехоту. Мы с Борисом проглотили ее, можно сказать, в два приема: он — на уроке химии, я — на английском. Вот это дружба морская! Теперь под настроение мы чаще всего напевали песенку о том, как «дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской», о том, как «они, точно братья, сроднились, делили и хлеб и табак, и рядом их ленточки вились в огне беспрепятственных атак».

И тем песенным пареньком, который упал под осколком снаряда, в моем воображении был, конечно, Борька. «Со мною возиться не надо! — он другу промолвил с тоской — это Борька шепчет мне спешимися губами. «Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма...» — чуть слышно говорит он, с тоскою глядя мне в глаза. «О смерти задумался рано, ходи веселей, Кострома!» — отвечаю я другу и, взвалив на расстеленную по снегу шинель, волоку его что есть силы к своим. Пули свистят, поземка свинцом сечет по лицу, но мы ползем, Борька и я, бойцы морской пехоты. Особенно мне нравились заключительные слова песни, благополучный конец: «И тихо по снежному полю к своим поползли моряки...» Одно время я так и звал Борьку: «Эй, Кострома!»

Дружба не удваивала, а удесатеряла наши силы. А незримые для других, только нами ощущаемые ленточки бескозырок вдохновляюще действовали в любом деле — то ли мы распиливали дрова, то ли

учили уроки. Так и не заметили мы с Борькой, что выделились из компании сверстников. И наша независимость, особенно нетерпимая в школьной среде, стала мозолить глаза даже старшеклассникам — ни за сигаретами нас послать, ни одолжить «к слову пришлось, копеек тридцать — пятьдесят». Вскоре компания, предводительствуемая небезызвестным не только среди учителей, но и всех жителей Апрелевки Валькой Кавтуном, устроила испытание нашей дружбе.

Однажды после уроков нас подкараулили человек семь ребят, в сумерках их казалось еще больше.

— Здравствуй-здравствуй, — сказал, улыбаясь, Кавтун и вплотную подошел ко мне. — Большими, что ли, стали?

— Почему большими? — спросил я, недоумевая.

— Вот я и говорю: большим стал? — наступал Кавтун, словно не слыша моего вопроса. Толпа сдвинулась решительнее, и седьмым мальчишеским чувством я понял, что драка неизбежна.

— Полундра! — зашептал Борька, а я сделал шаг вперед и в сторону, уклоняясь от Кавтуна.

И в тот момент, когда я в боксерской стойке приготовился к защите, в этот секундной доли момент по моим глазам хлестнула молния — ударил не Кавтун, а парень, стоявший рядом с ним. Удар был неожиданным и потому сильным.

Дальше я соображал уже плохо. Помню только, что старался держаться к Борьке спиной — это мы с ним давно еще теоретически придумали: налетят — становись спиной друг к другу, и тыл обеспечен. Но его спины я почему-то не чувствовал — то ли нас уже разобщили, то ли Борька был сбит с ног. Я размахивал руками направо и налево, а компания Кавтуна казалась чудовищным спрутом, который так тесно обхватил, так зажал своими щупальцами, что стало трудно дышать. Когда щупальца разжались, я упал на спину: сзади кто-то подставил ножку. И первая мысль, скорее даже инстинкт мысли: перевернуться на живот. Я закрыл голову руками.

— Хватит с него... — услышал я далекий, будто в воде пробубнивший голос Кавтуна.

Кто-то уже нехотя, так, для порядка, пнул меня в бок ботинком, и толпа удалилась.

Я поднял голову — было темно и так тихо, что даже позванивало в ушах. В этом звоне вдруг откуда-то зажурчал знакомый мотивчик, последняя строчка песни: «И тихо по снежному полю к своим поползли моряки!» «Борька, где Борька?»

— Борь, а Борь... — позвал я.

Никто не откликнулся. В ожидании непоправимой беды заколотилось сердце. Что с другом? Где он?

С быстротой киноленты память раскрутила происшедшее. Ну да, конечно! Я же слышал, как Борька шептал: «Полундра!» Потом... Потом он вдруг нырнул в темноту и пропал. Нет, не так. Он был где-то рядом, когда на меня навалился Кавтун и кто-то подставил подножку. Я упал...

Меня зазнобило, как только я представил, что случилось дальше. Да, я позорно лежал пластом, заслонив руками голову, а в это время на Борьку наверняка набросились все остальные. И вполне возможно, кто-то стукнул его чем-то покрепче. Запросто! Все они носят с собой «предмет самообороны» по принципу: «А у меня в кармане гвоздь, а у вас?»

— Борь, Боря! — снова окликнул я друга и не узнал собственного голоса.

Я обшарил вокруг кусты и канавы — Борьки нигде не было. «Трус, — сказал я себе, — трус. Человека убивали, а ты лежал, защищая никому не нужную голову». О, что бы я сейчас не сделал, лишь бы только увидеть Борьку!

Но вокруг было еще тише и пустыней, чем час назад. Лишь в траве маленьким сторожем этой тишины миролюбиво трещал кузнечик. Страх сопровождал меня на каждом шагу, и он становился тем сильнее, чем ближе я подходил к Борькиному дому. В окнах, несмотря на поздний час, ожидающе светились огни. В эти минуты я готов был на все. Я только не знал, что скажу Борькиной матери.

Я нажал на кнопку звонка и простоял довольно долго, пока за дверью не звякнул крючок. В темени проема белесо мелькнуло лицо и раздался Борькин басок:

— Пашка! Вот здорово!

Я не поверил ни ушам, ни глазам. Борька! Да, это он! Жив, цел, невредим! Я схватил его за руку и сжал так, словно мы не виделись целые каникулы, хотя расстались только часа два, от силы — три назад. Это было настоящее счастье.

— Крепко приложили они тебя?

— Ничуть! Даже ни одного синяка! — сказал Борька. — А ты-то как? Я гляжу, размахиваешь руками туда-сюда. А потом упал, и над тобой началось...

— Да подножкой свалили, — согласился я, оправдываясь. — Ты-то где был в это время?

— Так вот я и говорю, — горячо зашептал Борька, покачиваясь на дверь, — как они тебя свалили, я сразу рванул за милиционером. Прикокошат, думаю, и все тут. Но туда-сюда побегал, как назло, ни одного блюстителя. Вернулся на то место, где мы схватились, а там уже никого.

— Как же так, — перебил я, — меня-то мог увидеть, часа два там кружил, тебя искал.

— Да ведь темнота крошечная... хоть глаз коли, — сказал Борька почему-то не очень уверенно. И заерзал, оглядываясь на дверь. — Ты уж извини, Паш, — сунул он руку. — Пока. До завтра. За столом меня ждут, гости приехали.

Я хотел попросить вынести хотя бы кружку воды — смыть с лица грязь, но раздумал. Обидно вдруг стало: вот захлопнул Борька дверь и даже не поинтересовался, а как, мол, друг, ты?

Пощупывая горячий, бугристый наплыв под глазом, я побрел домой.

Как хорошо все-таки, что в детстве после драки даже самые большие обиды проходят вместе с синяками и шишками! Еще месяц назад поступок Бориса (побежал, видите ли, за милиционером в ту минуту, когда меня, может, уже убивали!) казался кощунственным и непростительным, я готов был назвать его чуть ли не предательским. А сегодня мы опять вместе — помалкиваем, правда, но вместе. Пишем шпаргалки — самые последние за все школьные годы, впереди выпускные экзамены. Перед лицом надвигающейся экзаменационной опасности мы, наверное, и помирились.

— Ну что, Кострома? — спрашиваю я, откладывая в сторону клочок бумажки, на котором бисерным почерком вышиты биография Льва Николаевича Толстого и образ горьковской Ниловны. — Перекурим? — И тут я вспоминаю про песню, которая совсем еще недавно была нашей любимой, — о моряках из морской пехоты, что делили пополам и хлеб и табак. После той памятной драки с кавтуновской компанией мы ни разу ее не пели. Не поется. Может, потому, что впереди экзамены.

Впереди! Пока ходишь в школу, все у тебя впереди. И вдруг с последним экзаменом позади оказываются сразу десять лет. Нейтральной полосой между этими гигантскими десятилетиями, когда ты от первых складов в букваре вырос до логарифмов и чуть ли не до теории Эйнштейна, лежит всего лишь

один месяц — пряный, как мята, июль. Месяц ослепительного полета — позади школа, маленький космодром детства. Месяц невесомости: ты уже не школьник, но еще никто. И единственная штурманская карта — «Справочник для поступающих в высшие учебные заведения». Сколько неведомых планет, сколько звезд, до которых нелегко, почти невозможно долететь!

Наша с Борькой звезда — МГУ, факультет журналистики.

Почему именно МГУ и этот факультет? Не знаю. Ткнули пальцем в звездное небо. Спроси любого из двух миллионов ребят, ежегодно оканчивающих среднюю школу, почему выбран тот или иной вуз, — многие не дадут вразумительного ответа. А кто говорит о призвании — не верит сам себе.

Мы не думали с Борькой, что журналистика — наше призвание. Просто нам казалось, что быть журналистами — это здорово: ездить по стране, по зарубежку, много видеть и писать в газету. И еще, как ни говори, журналист — это и немного славы: твои очерки и статьи читают миллионы людей, знают тебя по фамилии. П. Тимошин, наш корреспондент. Или Б. Кириллов, наш собственный корреспондент. В общем, мы и понятия не имели о трудностях этой профессии.

И мы взяли курс к своей звезде. До нее было совсем подать рукой — сорок два километра на электричке от станции Апрелевка до Москвы и три остановки на метро: Смоленская, Арбатская, Калининская. Еще несколько десятков шагов до проспекта Маркса и — плакат у входа на факультет: «Добро пожаловать, будущие журналисты!»

Вот по этим ступенькам поднимался когда-то Белинский, вот на этом подоконнике, говорят, любил сидеть задумчивый Лермонтов. А вот эти стены слышали Герцена и Огарева. А теперь и мы след в след, стопа в стопу за этими гениальными и великими. И никто, между прочим, не мешает нам быть такими же, как они.

Признаться, я все больше и больше робел, пока легендарным коридором мы добирались до приемной комиссии. Конечно, о призвании — что говорить! Но в МГУ мы пришли не с пустыми руками. К этому времени кое-какой газетный багаж нами все-таки был накоплен. Спасибо районной газете — на суд маститым журналистам приемной комиссии я мог представить целых три заметки: о сборе нашей школой металлолома, о массовом гулянье в дубовой роще и об экскурсии на Апрелевский завод грампластинок. У Борьки было несколько заметок о футбольных встречах местных команд и большое стихотворение, посвященное Первомаю, из которого мне очень нравились строки: «И ветер зори в пламя разжигает».

Пожилой лысоватый мужчина с гладким булыжниковым лбом мельком глянул сквозь очки на наши документы — газетные вырезки он словно не заметил — и направил к секретарю, милой девушке.

Будь что будет! Абитуриент — это звучит гордо! Надо уважать абитуриента! Мы постояли в древнекаменных воротах, которые вели в новый, неведомый мир, и, не сговариваясь, повернули вниз по проспекту, к Москве-реке. Здесь, может быть, впервые за все лето я ощутил шелест листвы над головой и холодок речного дыхания. Это был редкостный по настроению час, который никогда не забудется. Мы не знали, что через две недели придем сюда совсем другими, тот день, когда у нас приняли документы, будет вспоминаться как давным-давно прошедший праздник.

Мы срезались на сочинении. А сколько сделали ошибок, так и не узнали. Да и какое это имело зна-

чение! Таких, как мы, набралось человек тридцать — сорок, и все столпились у списка, на котором ровным столбиком красовались фамилии получивших «неуд».

— Вот и опубликовались! — грустно сострил кто-то. Да, вот тебе П. Тимошин, Б. Кириллов.

Не знали мы тогда, что ошибки в сочинении — это еще не ошибки в жизни. И что не орфография с пунктуацией преградили нам путь в журналистику. Родственная труднейшим земным профессиям, она, вероятно, требует чего-то большего, чего у нас пока не было ни в аттестате, ни за душой.

— Что же поделывать, — сказал я Борису, успокаивая себя, — через годик придется делать второй заход. Все-таки получили практику... Главное, чтоб вместе держаться. На завод поступим. Со стажем, видел, — почет и уважение! А школьников, может, специально отсеивают...

— Через годик? — хмыкнул Борька и посмотрел на меня, как на ребенка. — Да через годик нас с тобой как миленьких забреют в армию. Вот и будем там: «ать-два»! И получится, что завернем сюда уже через два, а то и три.

Борис докурил частыми затяжками сигарету, прикурив от нее другую и сощурился то ли от дыма, то ли так, в раздумье.

Я пожал плечами, но не стал спорить, хотя слова Борьки меня удивили. О том, что если не поступим в университет, то осенью пришлют из военкомата повестки, я знал и без него. Здесь он мне Америку не открыл. Больше того, меня нисколько не пугал такой оборот дела. В армию пойдем вместе. Представить только — в один полк, в одну роту, в один взвод! Вот уж когда рывнем: «Дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской!» Пусть попадем в обычную пехоту. Хотя лучше бы заявиться в родную Апрелевку моряками: «На побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, лента в якорях!»

— А ты знаешь, что сегодняшняя армия — это сплошная техника? — попытался я хоть чуть пошатнуть Борькину логику.

— Знаю, — усмехнулся Борька, — даже больше, чем техника. Кругом сплошная электроника и кибернетика... В общем, ты как хочешь, а я буду что-то предпринимать.

Я не узнавал Борьку. Откуда это — «ты так», «а я так». Я вдруг сразу вспомнил ту, давно забытую драку.

Мы отчужденно попрощались. И не виделись больше месяца. Бывает же: дома наши на одной улице, да и Апрелевка не Москва, а вот столько времени будто играли в прятки. Зайти же друг к другу за просто, как раньше, никто из нас не решался.

Это была старая игра: мы ждали друг друга — кто первый. На этот раз уступил Борька.

Он вошел празднично сияющий, громко поздоровался, чтоб слышали все, кто дома, а не только я, сунул руку в боковой карман пиджака и, достав темно-синюю книжицу, шлепнул ею о стол.

— Можешь поздравить! Зачетная книжка студента. Да, это была зачетка с Борькиной фотографией и крупной надписью: Московский технологический институт пищевой промышленности. Механический факультет.

— Вот так! — сказал Борька, перехватывая мой взгляд. — Надо уметь!

— Что хорошо, то хорошо, — сказал я, не очень-то обрадованный, но с завистью: студент есть студент. — А почему в пищевой?

Борька ждал этого вопроса. Конечно, ждал. И, молча посмаковав ответ, сказал:

— Все работы, Паша, хороши, люди всякие важные. Разве забыл рекомендации Владим Владимича

своим потомкам? — Он неторопливо положил зачетку в карман и добавил: — Чем, по-твоему, этот институт хуже МГУ? Пища — это же, как известно, энергия всего живого. И потом — бытие определяет сознание. Что же касается специальности, то и она вполне современна: автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов. Чем не кибернетика?

В общем, Борька был прав. И я с грустью подумал о том, что, возможно, поторопился подать заявление в отдел кадров завода с просьбой принять учеником токаря в механический цех. Агитация отца сработала безотказно. «Не вешай носа, — говорил он мне, — не распускай нюни. Все к лучшему. На заводе научишься молоток держать, в армии — винтовку, глядишь — человек. А диплом — так это ведь только приложение к умной голове».

И правда, у нас в семье насчет службы в армии никогда не было дебатов. Это считалось само собой разумеющейся, неотъемлемой частью биографии. Первый класс, прием в пионеры, вступление в комсомол. Помнится, приехал я из райкома — только что вручили комсомольский билет, — вошел в дом, смотрю — на столе дымятся пироги. «Это по какому поводу?» — спрашиваю мать. «Как «по какому?» — изумилась она. — Тебя же в комсомол приняли!»

И вот тогда, на проводах в армию, сквозь материнские слезы я не мог не заметить в ее глазах радости и гордости: «Вырос сынок. Вот ведь дождала — в армию провожаю!» А отец, так тот, кажется, помолодел лет на десять. Весь вечер не выпускал из рук гармони и сам запевал все солдатские песни. А были среди них и такие, что мы сроду не слышали — видно, держал их отец про запас, до заветного случая.

Гости долго не расходились. Уже к полуночи пошлись стрелки часов, когда подошел ко мне Борис и шепнул с загадочным видом:

— Выйди на минутку, ждут тебя.

Я сбежал с крыльца, и на меня пахло осенним садом — терпким ароматом яблоневой листвы и дымком погасших костров. За калиткой — я и не узнал сразу — стояла Лида Зотова, одноклассница.

— Ты чего? — спросил я громко и, наверное, очень грубо.

— Вот, — сказала она, — возьми сюрприз. — И протянула конверт. — Только с условием: откроешь, когда переоденут в форму.

Я положил конверт в карман, забыв поблагодарить. Мы стояли молча минут пять, а может быть, полчаса. Светло-желтым вымытым плафоном висела луна. И тени падали так резко, что Лидин профиль казался нарисованным тушью. Он так и врезался в память — на фоне темной рябиновой ветки. Чем пристальнее вглядывался я в этот профиль, тем неузнаваемее становилось для меня ее лицо. А может быть, сейчас, в темноте, я разглядел в нем то, чего ни разу не видел днем.

— А нас вот в армию не берут, — сказала Лида.

Вот и все, что она сказала.

Рабочая наша Апрелька уже спала крепким сном. Только электрички невидимо гремели по рельсам в ночи.

Дорожка света метнулась под ноги — это Борис, распахнув дверь, вышел к нам.

— Извини, Паш! — сказал он, зевая. — Мне завтра, то есть сегодня, вставать чуть свет. — Зовут тебя пошох на дорожку выпить.

— Ну, до свидания, пойду я, — смутилась Лида и застучала каблучками вдоль палисадника.

Последним жал мне руку Борис.

— Пиши, — повторял он, — главное, пиши чаще. Письма разряжают нервы. Это я в хорошей книжке



вычитал. Письмо написать — все равно что с другом поговорить. А кто тебе друг, если не я. Да! — спохватился он. — Чуть не забыл. — И, порывшись в портфеле, вытащил пакет. — Держи! Финский почтовый набор. Хватит на целых полгода — и бумага в ланчбук.

Уже укладываясь спать, я вспомнил про Лидин сюрприз и вскрыл конверт. В нем оказался другой, поменьше.

«Как не стыдно! — прочитал я. — Ведь просила же открыть, когда переоденут в форму. Так и знала, что не удержишься. Целую, Лида».

...Вечер будто вчерашний, а я уже не на Апрельской улице, а в кубрике. Интересно, где в эту минуту Борис?

Письмо первое

«Борька, дружище, привет!

Извини за долгое молчание, но о чем было писать? О том, как перед назначением на корабль занимался строевой подготовкой? Представляешь, учились заново ходить.

«То, — говорит мичман, — чему вас мама научила, когда вам было по десять-одиннадцать месяцев, забудьте. Выше ножку! Шагом марш!» И вот мы маршировали с утра до вечера. «Разом-кнись! Сомкнись!» Правда, занятия по специальности давали кое-какую отдушину. Тут начинал вспоминать, что ты все-таки мыслящая личность и не зря долбал физику и логарифмы. Но это как солнце среди обложного дождя. В остальном же от подъема до отбоя как белка в колесе — бежишь, бежишь, а все на одном месте.

Сильно я надеялся на изменения, когда попаду на корабль. Ладно, думаю, выдюжу, зато потом «соленый ветер в грудь, счастливый путь!». Но вот я на корабле, и опять почти все то же. И тут от швабры не убежал.

Командир корабля, как все командиры, ничего особенного. Не отважный капитан, не объездил много стран. Была у меня с ним встреча. Станный какой-то. Цветы в каюте. Представляешь, в двух котлах — их здесь называют лагунами — охажки живых астр.

Ох, и удивился он, когда узнал, что я с пятидесяти второго года рождения. И что тут позорного? Да, с пятидесяти второго. Не мы с тобой виноваты, что все эпохальные события состоялись или до нашего появления на свет, или застали нас в младенческом возрасте.

Мы родились через семь лет после того, как над фашистским рейхстагом взвился красный флаг. А даты гражданской войны нам давались с таким же трудом, как войны из истории Древнего Рима. Мы учились всего лишь во втором классе, когда в космос пробился первый человек нашей планеты — Юрий Алексеевич Гагарин. «Да, ничего не поделаешь, — сказал мне командир, — эпоха шьется на вырост...»

Как это прикажешь понимать? Быть может, он примерил мой возраст к своему и увидел, какой я салажонок? Но ведь и они — не Нахимовы и не Ушаковы. И жизнь их — простая проза: в дозор — из дозора. Попахал море, поел — и спать. А служба идет.

Какая уж тут романтика! Серость! Здесь даже моря-то по-настоящему не видят. Сплошные приборки, прокручивания механизмов и политзанятия.

По-честному, Борька, завидую я тебе. Институт, науки.

Мне же остается ждать, пока пройдут эти годы. Правильно говорится: «Красиво море с берега, а корабль — на картинке». Сам лучше пиши мне почаще. Знаешь, как дорога здесь каждая весточка.

Привет всем знакомым, кого встретишь, обнимаю, твой Павел».

Я полез в рундук за конвертом и наткнулся на карманный календарик, заложенный между страниц книги. Медленно и тщательно, растягивая удовольствие, я не перекрестил, а заштриховал на календарике первый свой корабельный день, благо компот был давно съеден. Незаштрихованных клеток оставалось столько, что и считать-то их было бы бессмысленно.

После отбоя я лежал на койке и, ворочаясь с боку на бок, ощущал под собой похрустывание пробкового матраца. Конопатый парень-гармонист уже безмятежно посапывал на соседней койке. За стальной переборкой шуршала волна, будто в дверь царапалась кошка. На меня немигающим оком тревожно смотрела синяя лампочка дежурного света.

2

Меня никто не будил — это точно. Но какая-то непонятная сила словно подтолкнула койку, я вскочил, не открывая глаз, потянулся за робой и только тут услышал частые, торопливые звуки ревущей.

— Скорее в рубку! — крикнул Афанасьев и рывком взлетел по трапу. Я кинулся за ним.

— Боевая тревога! Боевая тревога! — раздалось из динамика. — Корабль к бою и походу приготовить!

Знакомый и незнакомый голос. Жесткий, требовательный, повелевающий.

Я втиснулся в рубку и не сразу узнал Афанасьева. Он сидел в наушниках и берет, будто впаянный в кресло. Только руки — в непрерывном движении от кнопки к кнопке, от рычажка к рычажку. Мне показалось даже, что он как-то сразу осунулся — на скулах обозначились желваки, губы сжаты, а взгляд неотрывно нацелился в экран локатора: он уже светился, и по кругу нервно бегала зеленая стрелка луча.

Афанасьев снял наушники и кивнул мне, будто только что увидел.

— Садись рядом, будешь помогать...

Злопамятный или нет? Наблюдая за проворными движениями его рук, на ощупь находящих нужный рычаг, я устыдился вчерашней вспышки. Нет, наверно, не за здорово живешь нацепили Афанасьеву лычки.

А из динамика раздавался все тот же отрывистый, энергичный голос, отдающий приказания.

— Кто это? — спросил я Афанасьева, показав на динамик.

— Командир, конечно... — И он взглянул на меня с недоумением.

Неужели командир? В спокойных металлических фразах, что доносились из динамика, я еще многого не понимал. Да и относились они сейчас к тем, кто на верхней палубе готовился к съемке со швартов. Но этому голосу сейчас внимало все.

Я силился представить командира на ходовом мостике таким, каким видел в каюте, и не мог. Такой всемогущий голос должен принадлежать совсем другому человеку. На его приказания незамедлительно, будто эхо, отзывался каждый отсек, каждая рубка. Мне даже представилось, что командир и ко-

рабль сейчас — одно целое. И не капитан III ранга склонился над переговорной трубой, а весь корабль, вибрируя, говорит его голосом.

— Убрать носовой!

Всю торжественность минуты, когда военный корабль отходит от пирса, доводится испытать лишь тем, кто стоит на верхней палубе. Но таких немного, ведь пассажиров на боевом корабле не возят. А в иллюминаторы ничего не увидишь: они задраены по-походному. Я даже слышал легенду о том, как один машинист, пять лет прослуживший на флоте, ни разу не видел моря. Преувеличено, конечно. Но и я в эти минуты, о которых столько мечтал и которых с таким нетерпением ждал, сидел в тесной рубке и про себя чертыхался. Как царевич Гвидон в бочке — ни охнуть, ни вздохнуть.

Единственным «окошком» для нас с Афанасьевым был экран локатора.

Когда легли на курс, в рубку заглянул капитан-лейтенант:

— Значит, теперь в четыре глаза будем видеть!

— Так точно! — польщенно ответил я за двоих.

— Куда уж точнее! — засмеялся капитан-лейтенант и, поглядывая на экран, продекламировал как бы невзначай: — Уходят в море мальчики, приходят в порт мужчины...

— Смотрите повнимательней, — сказал он, уходя. И добавил, подумав: — Выдастся свободная минутка, покажу вам штурманскую прокладку. — И захлопнул дверь рубки.

— Мне покажет? — переспросил я Афанасьева.

В наушниках он меня не услышал. На экране локатора белесой полоской таял берег. Мы шли на линию дозора.

Что такое граница? Всякий представляет: зелено-красные полосатые столбы с Гербом Советского Союза. Они неприступно стоят и в барханах пустыни, и в непролазной чащобе леса, и среди снеговых горных отрогов.

Граница морская — это волны и небо вокруг. Двенадцать миль от берега, что равняется примерно двадцати четырем сухопутным километрам, — воды наши. Дальше нейтральные. Пограничных столбов здесь, конечно, нет. Но моряки их «видят» и на штормовых кругах и на глади штиля. Морская граница — это тонкая линия на штурманской карте.

Капитан-лейтенант сдержал свое обещание.

— Вот линия государственной границы, — сказал он, развернув карту. Циркуль зашагал своими игольными ножками по пунктиру, отмеряя мили. — А вот мы.

На автопрокладчике курса мы выглядели светящейся точкой, которая медленно ползла по карте. Вот таким образом, наверно, видят себя на орбите космонавты.

В масштабе карты мы — точка. В масштабе моря, если глянуть из ходовой рубки, увидишь сверху весь корабль и кипящий бурун за кормой, который о скорости говорит больше, чем счетчик лага.

— Ясно? — спрашивает капитан-лейтенант, отчеркивая карандашом линию.

— Ясно, — отвечаю я. «Хорошо бы, — думаю, — еще здесь, наверху постоять».

— Ну, а коли ясно, марш на боевой пост, — мягко приказывает капитан-лейтенант.

Наш с Афанасьевым боевой пост — глаза корабля.

— Как на рентгене, — говорю я, показывая на мерцающий экран локатора.

— Похоже, — соглашается Афанасьев.

Зеленый луч кружит по экрану, обнажая невидимое. Нарушителя не укроют ни ночь, ни туман. И если непрошенный гость перейдет запретную черту — тот самый тонкий пунктир на карте, — тогда «Полный

вперед!» на сближение. А на мачте нашего корабля взвьется сигнал-приказ: «Застопорить ход, лечь в дрейф!»

Обо всем этом как бы походя, не отрывая от экрана взгляда, мне рассказывает Афанасьев.

— Бывает, что нарушители не останавливаются, — продолжает он. — Вроде бы не видят и не слышат. Тогда — в погоню. От нас далеко не уйдешь. На судно-нарушитель поднимается осмотровая команда. Выясняем причину столь неожиданного визита. Мирных отпускаем с миром, а чужака пограничник видит издали.

Я смотрю на экран и думаю: «Вот бы попался пусть хоть самый паршивенький, но нарушитель».

В динамике щелкнуло, и вновь раздался знакомый голос:

— Свободным от вахты построиться на верхней палубе.

Я вопросительно взглянул на Афанасьева. «Это и тебя касается», — показал он мне глазами и опять уставился на экран.

Выйдя на палубу, я увидел, что корабль резко сбавил ход. Сейчас он шел, наверно, «самым малым». Вода, разрезаемая форштевнем, не кипела, а расходилась плавным клином. На малом ходу ощущение была и качка — корабль переваливался по отлогим буграм зыби.

Свободные от вахты матросы, а их оказалось немного, стояли шеренгой спиной к борту. Я пристроился на шкентеле, рядом с конопатым гармонистом.

— Не знаешь, зачем это? — спросил я его.

— Тише вы там! — оборвал нас кто-то с правого фланга. — Командир идет...

Наш малочисленный строй шевельнулся и замер, без команды приняв стойку «смирно».

Командир медленно шел по палубе и нес на вытянутых перед собой руках что-то белое. Цветы! Я не поверил своим глазам. Но это действительно были цветы, те самые астры, которые в лагунах стояли в командирской каюте.

Это что еще за номер! Не иначе у кого-нибудь день рождения. И вот вам, пожалте, букетик.

Но, когда командир поравнялся с нашей шеренгой, я увидел, что ошибся. На небольшой деревянной подставке лежал венок. Белый, будто из пышного морозного кружева, переплетенный алой лентой.

Венок! А это зачем? И я почувствовал, как по спине под бушлатом ознобисто пробежал холодок.

Командир передал венок матросу, стоящему правофланговым, и повернулся лицом к морю. Стало так тихо, что, казалось, остановились винты. Только было слышно, как позванивает о форштевень волна. И флаг отщелкивал на ветру над головами.

Матрос подвязал под деревянную подставку фал — теперь венок был как на маленьких качелях — и вместе с командиром подошел к борту.

— Смирно! — как-то приглушенно командовал командир. — В память моряков «Стремительного», отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, флаг приспустить!

Флаг дрогнул и чуть-чуть спал. Командир снял фуражку.

— Возложить венок!

Матрос ставил фал, и венок, словно на плотике, невесомо закачался на волне.

С минуту мы еще постояли в строю и вдруг, не сговариваясь, ринулись к борту.

Венок плыл рядом. Но вот его чуть подкинуло, он скользнул за корму и превратился в один большой цветок астры, который лежал как бы на живом, бугристом граните моря.

Командир стоял задумчиво, не надевая фуражку.

Казалось, он совсем забыл о нашем присутствии. Прижались друг другом к леерам, мы, не двигаясь, глядели вслед уплывающему венку до тех пор, пока за гребнем волны он в последний раз мелькнул белой звездочкой.

— По местам! — кратко сказал командир.

А еще через минуту мы услышали властное и стремительное:

— Полный вперед!

Вдоль линии дозора корабль ложился на боевой галс.

Письмо второе

«Борис, привет! Мы — в море. Я уже отстоял первую боевую вахту. Правда, дублером. Это совсем не то, что дублирующий состав футбольной команды. В любую минуту можешь оказаться в основном составе. Но вряд ли тебя заинтересует наша вахта у радиолокационной станции — день-деньской и темной ночью торчим с Афанасьевым у экрана. Тут романтики, сам понимаешь, никакой. Да обо всем и не напишешь».

Но вот, Борька, присутствовал я на ритуале, о котором, наверно, век не забуду! Это был ритуал почести погибшему кораблю.

Представь себе: идем, идем морем, и вдруг «Малый ход!» Выстраиваемся на палубе. Для чего бы? Оказывается, на этом месте когда-то погиб корабль. И вот мы, возможно, над ним. Это все точно рассчитано на штурманской карте.

Командир выносит венок из белых астр, приспускается флаг. И венок уже на волне.

Это ли не романтика, а?

Где-то на дне морском вечным сном спят матросы-герои. Может, они так и замерли на своих постах — кто у руля, кто у орудий. А над ними — густым синим небом километровая толща воды. И вот мы, которых в то грозное время даже не было на свете, идем теми же боевыми курсами.

На море не ставятobelisks, и мы спускаем венок. Матросы даже песню сочинили об этом. Она называется «Точка». Вот припев, послушай:

Ее без карт находят капитаны,
Всем морякам известна точка та.
Качается, плывет венок багряный,
Сердца людей — той точки широта
И вечное бессмертье — долгота.

Да, Борис, были люди... Кто они? Я только узнал, что название корабля — «Стремительный». Красивое, правда? Мне он представляется «Варягом» — огромный стальной корабль, гроза фашистов. И вот, наверно, так же, как «Варяг», бился с целой эскадрой до последнего патрона, до последнего снаряда.

Мелковаты мы на этом фоне, что и говорить. Идем себе в дозоре и высматриваем нарушителей. Но кто сейчас осмелится? Нос побоятся сунуть!

Ну, вот опять команда: «Очередной смене на вахту!» Придется письмо прервать, допишу потом».

З

Какое сегодня число? Я достаю записную книжку и отлистываю календарик. Вот «крестик» на первом компоте. И тут я с удивлением замечаю, что остальные дни забыл отмечать — значит, просто-напросто перестал считать компоты.

Все эти дни и ночи мы бороздим море вдоль линии дозора. И сутки поделены не обычными понятиями — утро, полдень, вечер, а командами, которые воспринимаются не только слухом, но всем телом, готовым по приказанию послушно бодрствовать или отдыхать.

«Очередной смене приготовиться на вахту!» И ты уже на ногах. «Очередной смене на вахту!» И ты на своем боевом посту. «Подвахтенным от мест отойти!» И ты снова в кубрике.

Я роюсь в рундуке, ищу конверт, чтобы написать Борису. Торопиться, впрочем, некуда. Вот на месте и первое письмо, которое не успел отправить с берега, и второе — отсюда послать невозможно, ибо пока что нет почтальонов, бегущих по волнам.

Третье письмо я мысленно пишу уже не один день. Я думаю о нем и на вахте, и на камбузе, и в кубрике — везде. Нет, не о письме думаю, я стараюсь выяснить, что произошло на том месте, где мы опустили венок. Всех, у кого можно было расспросить, расспросил. И, наверно, всем уже надоел со своими вопросами.

Письмо третье (ненаписанное)

«Так вот, Борис, о «Стремительном»... О той самой широте и долготе, что красным флажком отмечена на штурманской карте... А было это так».

В конце сорок первого года приморский город, где базируются наши корабли, выглядел совсем иначе, чем сейчас. Не было такого дома, которого не коснулась бомба или снаряд. И страшная стояла жара — от непотухающих пожаров. Почти все жители эвакуировались, и город превратился в бастион. На окраинах уже завязывались бои, и все знали, что рано или поздно сюда ворвутся фашисты.

И вот однажды, после очередной бомбежки, у разрушенного дома моряк увидел плачущего мальчишку лет восьми-девяти.

— Тебя как зовут? — спросил моряк.

— Лешка... — всхлипнул мальчишка, размазывая слезы.

— А где ж твоя мамка?

Сбивчиво мальчишка рассказал, что, когда началась бомбежка, мать отвела его в бомбоубежище, а сама зачем-то вернулась в дом.

«Без матери остался пацан», — понял моряк.

— Ну, вот что, Лешка, меня зовут дядя Петя. — Он протянул широкую, в пороховых крапинках ладонь и пробасил, озорно блеснув глазами: — Хватит ныть. Ведь ты моряк, Лешка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Пошли со мной, — сказал моряк, — в порт.

(Я это вижу совершенно отчетливо, как на экране. Нет, даже ярче. В контрастных цветах: в черном — дым над городом, багровом — пламя и стальным — плиты тротуара, по которому, хрустя разбитым оконным стеклом, движутся два силуэта. Один в бушлате — саженьи плечи и ленты бескозырки врасхлест. Другой — в куцем пальтеце семенит рядом, взьерошенным вихрем касаясь автоматного приклада.)

— Пришли, — сказал моряк. — Давай прощаться.

— Как прощаться? — У Лешки сжалось сердце. — А разве мы не вместе?

— Нет, — ответил моряк и застегнул Лешке верхнюю пуговицу, как это делала мама, провожая на улицу погулять. — Ты поплывешь на теплоходе. Видишь, — показал моряк, — белый стоит, с красным ободком на трубе? А я поплыву вон на том сторожевике. Это наш «Стремительный». Будем вас сопровождать. Охранять, значит... Ну, чего насупилась? Ведь ты моряк, Лешка, моряк не плачет...

Он проводил Лешку до самого трапа, объяснил что-то матросу, стоящему на пирсе, и тот согласен кивнул.

— До свидания, Лешка. — Дядя Петя сжал в своей шершавой, как наждак, ладони его ручонку. — Будет время, посмотри, я тебе со «Стремительного» флажками помашу.

Матрос, с которым разговаривал дядя Петя, устроил Лешку внизу, потому что на верхней палубе находиться не разрешали: в любую минуту могли налететь «юнкеры».

Внизу было сумрачно и душно, словно в бомбоубежище. Да и пассажиры — женщины и дети, сидевшие на узлах и чемоданах, — напоминали тех, с кем Лешка и мать прятались в подвале во время бомбежек. Ребятишки хныкали, а женщины перешептывались, испуганно прислушиваясь к грохоту береговых зениток.

Лешка не почувствовал, как теплоход отчалил от пристани и взял курс в открытое море. И он, конечно, не видел, что с правого борта на небольшом расстоянии пристроился «Стремительный». В полной боевой готовности, если налетят фашистские самолеты или атакуют торпедные катера.

(Как они проходили рейд? Ума не приложу. Ведь буквально на каждом шагу подстерегала смерть. Кто-то рассказывал, что плотность заграждения в те дни на фарватере была 80 мин на километр. Считай, одна мина на 125 метров. Почти длина теплохода.)

Хоть на минутку, а Лешке удалось высунуться из люка. Смотрит — и правда, корабль дяди Пети совсем рядом. Сам чуть побольше катера, куда меньше теплохода! А резвый, только бурун за кормой!

Лешка никак не мог разглядеть, что за матрос стоит на мостике. По фигуре вроде дядя Петя, а может, не он? Но вот матрос замахал флажками. «Он! — обрадовался Лешка. — Конечно, дядя Петя мне машет!» Ведь ты моряк, Лешка! Мальчишка совсем было высунулся из люка и хотел уже выскочить на палубу. Но тут его заметил теплоходный матрос и крикнул:

— А ну, брысь вниз!

И Лешка скатился по трапу.

Сколько они плыли, Лешка не мог знать.

— Через полчаса будем дома, — сказал матрос женщинам, которые совсем уже пригорюнились. Все сразу зашевелились, как в вагоне перед станцией прибытия. И Лешка, глядя на пассажиров, повеселел. Он представил, как на берегу встретит его дядя Петя. И — почему бы и нет? — Лешка попросится на корабль «Стремительный». Возьмут! Если дядя Петя как следует попросит командира, конечно, возьмут! Юнгой. Правда, Лешке маловато лет. Но бывают же пятнадцатилетние даже капитаны. А в девять лет запросто можно поплавать юнгой.

Лешка... юнга! Дядя Петя закажет специально для Лешки маленький черный бушлат, маленькую бескозырку с маленькими лентами в золотых якорях. И, может быть, сделают специально для Лешки маленький, но зато настоящий автомат. Тогда — берегись, фашисты!

Лешка так живо все представил, что сам себе поверил — а как же иначе! И, успокоенный, задремал.

Очнувшись он от страшного грохота. Теплоход подбросило на волне, и Лешка почувствовал, что палуба накренится. Лампочка погасла, и кто-то истошно закричал: «Тонем!» По трапу прогремели каблуки, и в свете вспыхнувшего карманного фонарика Лешка узнал теплоходного матроса.

— Спокойно, товарищи! — сказал он. — Ничего опасного, подходим к нашему берегу.

У трапа столпилась очередь. Лешка протиснулся к ступенькам и пробкой выскочил наверх. Здесь был еще день, и глаза сами зажмурились от солнца. Лешка подбежал к борту и остановился, оглядывая рейд. Дяди-Петинего корабля почему-то не было видно. «Наверно, к другому причалу подошел, к военному», — решил Лешка и стал с нетерпением ждать, пока матросы прилаживали трап. Лешке показалось, что делали они это как-то не так. Лица хмурые, словно матросы и не рады, что пришли наконец-то в порт.

Через минуту на причале стало многолюдно, как на вокзале.

Лешка начал опасаться, что в такой толпе дядя Петя его не найдет. «Спрошу-ка у теплоходного матроса», — решил он и вернулся к трапу.

— Ты куда же смотался? — недовольно проворчал матрос. — Я же за тебя головой отвечаю.

— А где дядя Петя? — спросил Лешка. — «Стремительный»-то где?

Матрос пожал плечами, помолчал, почему-то вздохнул:

— В море дядя Петя, где ж ему быть...

Так Лешка больше и не увидел того моряка, что назвался дядей Петей. Прямо с причала забрала мальчишку детдомовская машина. Теплоходный матрос посадил Лешку в кузов, помахал на прощание бескозыркой. И этого матроса он тоже видел в последний раз.

Машина долго ехала вдоль моря, и Лешка до боли в глазах всматривался в горизонт. Где-то там, далеко-далеко, над чешуйчатым стблеском волн, миражем вставал перед ним «Стремительный», гордо разрезающий волны. А на мостике дядя Петя с красными сигнальными флажками: «Ведь ты моряк, Лешка...»

Но еще неизвестно, кем бы он стал, если бы много лет спустя не произошла неожиданная встреча со «Стремительным».

Десятиклассник Лешка Гренин сидел в читалке и готовился к штурму последнего экзамена. Для «разрядки» полистал свежий журнал. И вдруг далекой зарницей полыхнул в памяти тот день сорок первого года. На журнальном снимке был запечатлен корабль, горделиво несущий свою единственную мачту с флагом. Ну, конечно, это он, «Стремительный»! Над фотографией крупный заголовок «Подвиг не померкнет в веках» и короткая заметка. Короткая, но оглушительная, как взрыв. Точнее, это было эхо того взрыва, который прогремел над морем в тот военный день. А еще точнее, того самого, что был услышан маленьким Лешкой на теплоходе.

Вот что произошло за несколько минут до того, как Лешка почувствовал, что палуба сильно накренится и в трюме погасла лампочка.

(Я это так вижу, словно сам стою на палубе теплохода вместо матроса, который запретил Лешке высунуться из люка. Даже больше, я нахожусь сразу на двух кораблях: на теплоходе и на «Стремительном», рядом с командиром и сигнальщиком Петром Семейным, то есть дядей Петей.)

Наш берег был уже виден. Далеко, на кромке горизонта, темнели метелочки деревьев и казавшиеся игрушечными портковые краны. Четыре мили, не больше, оставалось до родного причала. И вдруг сигнальщик «Стремительного» крикнул: «Слева по борту — перископ подводной лодки!» — И еще через минуту: «Слева по борту — торпеда!»

С этого мгновения время измерялось только секундами. Может быть, десять, может быть, пятнадцать секунд понадобилось, чтобы принять единственно правильное решение.

Торпеда неотвратимо неслась к теплоходу. Ее видели все, кто находился на верхней палубе. О ней не подозревали сотни детей и женщин, в том числе и маленький Лешка.

Нет, время теперь отсчитывалось не секундной стрелкой. И не в сторону увеличения. Время устремилось к нулю, к той точке соприкосновения торпеды с бортом теплохода, когда раздается смертельный взрыв. И сама эта торпеда была сейчас чудовищным секундомером. Десять, восемь, семь, шесть...

Теплоход был бессилён отвернуть, и он грузно

скользил, уже обреченный, подставив торпеде беззащитный борт.

На «Стремительном» отсчитывали те же секунды. Опытный глаз командира сразу определил: торпеда пройдет метрах в двух-трех мимо форштевня «Стремительного» и ударит в теплоход. И, когда оставалось уже несколько секунд до того, как торпеда пересечет курс, на «Стремительном» раздалась команда:

— Самый полный вперед!

Пять... Четыре... Три... Два... Взрыв!

Сколько ему надо — этому маленькому юркому кораблю? На него хватило бы и трети торпеды...

Сбоку теплохода вспыхнуло солнце, прогремел гром, и прах повис черным дымом над сомкнувшимися волнами. «Стремительного» больше не было.

А до нашего берега уже оставалось всего две мили, и уже шли навстречу корабли охранения.

...«В море дядя Петя, где ж ему быть?» — вспомнил Лешка теплоходного матроса. Да, он был теперь в море навсегда.

С этим журналом, воскресившим подвиг «Стремительного», Лешка в тот же день отправился в военкомат и попросил, как только придет разрядка, направить его в военно-морское училище.

Подожди-подожди, Борис, это еще не все. А кем же стал тот Лешка, где он сейчас? Интересно?

Так вот, тот самый Лешка — не кто иной, как наш командир, капитан III ранга Алексей Иванович Гренин. Теперь понятно, что за снимок висит у него над столом в каюте? Я уже не говорю об астрах и венке на волнах...

Вот такое письмо я давным-давно написал Борису мысленно, а взяться за перо никак не могу. Насколько раз принимался — ничего не получается, нет слов. И чем больше я о случае со «Стремительным» думаю, тем меньше желания рассказать об этом Борису.

Почему? Я и сам думаю: почему?

4

Я вспоминаю тот день, когда мы с Борькой только-только свалили экзамены — и в лес. «Эге-гей! Хо-хо-хо! Здравствуй!» — Это эхо невидимой белкой мечется с дерева на дерево, вторя нашим голосам.

— Давай наоремся вдоволь, — предлагаю я.

— Давай, — соглашается Борька.

И мы кричим, кричим до хрипоты: после торжественной тишины экзаменационных дней это доставляет особое удовольствие.

Наверное, ничего нет в мире красивее подмосковного июньского леса. Бредешь по тропе, словно из сказки: вот замороженным хороводом стоят белые березы, с ними с них чары — и они закружатся на мураве, как девушки из знаменитого ансамбля; а из-за хоровода уже выглядывают кражистыми парнями дубы. Сколько силы затаенной — потягиваются, вывертываются ветвями-руками вверх, кто кого перемахнет; глядишь, а на поляну выбежала елка, и кругом разноцветными огоньками ромашки, колокольчики, словно какой-то великан нес огромный букет, да вот и обронил самые диковинные цветы.

А с чем сравнить настоящий на разнотравье и чуть-чуть разбавленный можжевельником да хвойником лесной воздух? И уж, конечно, ни один искусствовед-орнитолог не в силах передать даже высококачественной записью голоса птиц в природе.

Подмосковный лес — сказка, которую надо читать медленно и в уединении.

Всю эту красоту я видел, но как бы краем глаза, потому что рядом вышагивал Борис, и мы изощрались друг перед другом, выкрикивая всякие несуразности. Но вот тропка наша круто завернула влево, и, чтобы срезать угол, мы перепрыгнули через канаву, на дне которой, подернутая ряской, зеленела вода. Траншея. Верст за сорок — пятьдесят от Москвы все леса изборозжены старыми, как шрамы, траншеями и окопами.

Выбрав кочку посуше, я прыгнул в траншею — она была мне по пояс — и пригнулся, затаюсь.

— Паш! Ты куда пропал? — громко спросил Борька, прошагавший уже шагов тридцать.

Я не откликнулся.

— Эй, ты где? — с заметным беспокойством еще громче спросил он.

Я выждал пару минут и что есть силы закричал:

— Ура-а-а! Полундра-а!

— Ладно тебе, хватит мальчишничать, — сказал Борька, увидев меня, выглядывавшего из траншеи. — Подумаешь, окопа не видел!

— Ты поди-ка лучше сюда, — поманил я, — смотри, какой отсюда обзор.

Сколько окопу лет? Можно точно сказать, не спрашивая никого: двадцать девять. Расчет простой: подмосковные окопы могли быть вырыты только осенью сорок первого года.

Двадцать девять... За это время тонкие, гибкие саженцы становятся крепкими деревьями, и возможно, что обзор из этой траншеи был шире, чем сейчас. Но двадцать девять лет — ничто для взрослого дерева, такого, например, как дуб. Кто бывал в селе Коломенском, видел, наверно, дубы, которым уже шестьсот лет. По сравнению с ними деревья, что столпились возле траншеи, — малыши дошкольного возраста.

Значит, вот эта корявая, изможденная липа видела солдат в касках, что выжидали врага. Вернее, они на перекуре между атаками поглядывали на эту липу: мол, спасибо, маскируешь неплохо. И на березу, что опустила ветки над самой траншеей. Ну, на сколько могла она подрасти за эти двадцать девять лет? Все выглядело так, почти так...

Действительно, любопытное свойство человеческой природы: дай-ка я погляжу на мир глазами своего предшественника и побуду на том самом месте, где стоял он. Неспроста же в мемориалах или музеях чаще всего задают одни и те же вопросы:

— Скажите, и в то время это выглядело так же?

Людам история дороже в подлинниках, а не в дубликатах. И потому они с детской наивностью ищут место, где Петр I изрек: «Здесь будет город заложен». Потомки Стеньки Разина лезут на утес, чтобы глазами вольнолюбивого предка глянуть на Волгу. Таких мест по всей нашей Родине сотни, тысячи. И хотя несоразмерны по времени и совсем разные «экспонаты» — ржавая кольчуга и продырявленная солдатская каска минувшей войны, — их соединяет незримый проводок, по которому пульсирует память.

— Борь, — сказал я, — вот здесь стояли солдаты, когда на них пошли фашистские танки.

— Ну и что? — Борька с недоверчивостью посмотрел на окоп. — Не было здесь танков, немцы не дошли до Апрелевки километра два.

— Как это не было? Кто успел подсчитать километры? Здесь был бой, — не согласился я. — Очевидцы рассказывали.

— Какие очевидцы? Те, что в бомбоубежищах сидели? И потом, даже если и так. Какой смысл солдатам стоять против танков, если пули о броню все равно как об стенку горох? Против танков нужно было танками.

«Нужно было» — любимая Борькина фраза, как я



заметил, очень подходящая в тех случаях, когда речь идет о том, что уже произошло. Продули, к примеру, в волейбол, Борис тут как-тут: «Нужно было блоки чаще ставить». Правильно заметил. Но мог бы и раньше подсказать. Сам-то где был?

— Нужно было...— продолжал Борька развивать свою мысль, а я уже не слышал его. Я только предположил на миг, на минутку, что...

Да, именно сегодня, именно сейчас, именно из этого ольшаника показался бронебой лоб танка. Стальная громада с белым крестом выползла неуклюже, но уверенно покатила, скрежеща гусеницами, по сказке подмосковного леса. И против этого чудовища остались не кто-нибудь, а именно я, именно Борька.

Не может быть! Это сон или явь? Как же это слу-

чилось? Почему война не остановилась на границе, далеко-далеко от Москвы?

Я представляю мать, ее руки в земле — пропалывает грядки. Ей и в голову не может прийти, что в километрах двух от Апрелевки — танки. Никто не знает, что это война. По рельсам звонкий перестук электричек «Апрелевка — Москва». На заводе грампластинок прессовщицы загоняют в черные диски музыку. В магазине покупатели переругиваются с продавцом. В детском саду ребяты играют в «палочку-выручалочку».

А в апрелевском лесу — фашистские танки. Именно сегодня, именно сейчас, именно из этого ольшаника, что курчавится метрах в ста от окопа.

— Борь! — перебиваю я его. — А что, если сегодня, 28 июня 1970 года, в апрелевском лесу появились

фашистские танки? И ползут сейчас на эту траншею? А вокруг уже ни души. И танками пройдено полторы тысячи километров, а перед ними осталось лишь сорок два до Москвы. Что бы мы с тобой сделали, а, Борь?

— Фантазер же ты! — снисходительно улыбается Борька. — Разве теперь допустят, чтобы кто-то дошел до самой столицы? Если война и будет, все решат ракеты. Нажал на клавишу — и поминай как звали. Враз или города, или страны, если маленькая, нет. Военные на ракетных пультах, как на роялях, будут играть.

— Ну, а все же, — настаиваю я, — допустим.

— Нечего и допускать, — отрезает Борис, и я вижу, что мои вопросы начинают его раздражать. Как хорошо все-таки, что этой траншее уже двадцать девять лет.

...Почему я вспомнил о нашей, казалось бы, ничем не примечательной прогулке? Ах, да, в этот самый момент я сел было за письмо, в котором хотел рассказать о подвиге «Стремительного». И опять ничего не клеилось. Думаю, получит Борька, прочтет и начнет прикидывать. «Кто увидел торпеду? Командир и сигнальщик? А остальные — нет? Значит, командир «Стремительного» принял единоличное решение, ни у кого не спросив? Но те, другие, кто был в машинном отделении и в рубках, может, они не захотели бы погибать. Имел ли командир право давать в таком случае команду? Можно было бы по-другому...» — начнет рассуждать Борька.

Но я не хочу, чтобы было по-другому. И хотя Борис — мой товарищ, можно сказать, кореш, я не хотел бы, чтобы в такую минуту он находился на мостике «Стремительного».

5

Тебе не повезло, — говорит мне конопатый, которого зовут Валерием. Он лежит на соседней койке, курносый нос в потолок. — И крепко не повезло, — повторяет он. — Вот я, когда выходил в первый раз, сразу нарвался на нарушителя.

Я знаю, что в «первый раз» было всего две недели назад. Валерий пришел на корабль на один поход раньше меня. Сейчас он считается заправским акустиком. «Из гармонистов всегда получаются талантливые акустики», — сказал как-то командир. И эту его фразу Валерий носит с тех пор, как медаль.

— Да, полнейшая, кореш, невезуха. Вот мы в прошлый раз...

Слова «в прошлый раз» я слышал и от Афанасьева, который вступительной этой фразой поведал о случае годичной давности, и от штурманского электрика, рассказавшего историю не первой свежести. Но вот что сразу бросалось в глаза: никто из рассказчиков не выпивал себя. В любом случае в центре эпизода оказывался Алексей Иванович.

— Так вот, — говорит Валерий, — в прошлый раз твой Афанасьев обнаружил на экране цель, и мы пошли на сближение. Сначала увидели на горизонте дым, а потом уже корабль — им оказался греческий сейнер. Попал сразу в две неприятности. Первая: якобы случайно зашел в наши воды, а другая — пожар. Смотрим: из дверей и иллюминаторов бьет пламя. Греки столпились на корме, по-своему что-то кричат. И без переводчика ясно: «Караул!» Перетаскивали их к себе на борт. Командир построил нас на палубе и спрашивает: «Кто пойдет на сейнер — шаг вперед!» Шагнули, разумеется, все. Но капитан-лейтенант взял с собой только двоих. Запустили выносной пожарный насос. Те наши трое то и дело выскакива-

ют из отсеков, бушлаты друг на друге гасят — задымилась уже. Видим, троим не управиться. Тогда командир разрешил другим добровольцам. Спасли судно... После собрал нас командир в кубрике. «Вот, — говорит, — система: вы спасли сейнер, жизнью рисковали, а капитан недоволен — страховку теперь не получит. И вообще не поймешь, кто у них там за начальника». Командир сразу обратил внимание, что капитан перед одним из своих матросов в струнку вытягивается. Может, переодетый шеф разведки. Зоркий у нас командир, — заключил Валерий.

Сегодня мы чуть не столкнулись с командиром на трапе. Я попытался назад и уступил ему дорогу. Командир проскочил было мимо, но остановился и, вспомнив что-то, озабоченно сказал:

— Вот что, Тимошин, у нас тут прихворнул сигнальщик, подмените его на наблюдательной вахте.

Оказывается, кок затемпературил. Тот, который еще и сигнальщик. Недомогал в базе, но скрыл, не хотел оставаться на берегу.

«Очередной смене приготовиться на вахту!» Это и для нас с Валерием. Только он будет «смотреть» сквозь воду, слушать свой горизонт. А мне на мостик. «Подыши там и на мою долю», — попросил Афанасьев.

И вот я наверху. И, признаться, не в восторге. Что такое наблюдатель правого борта? Древнеморской способ: сиди с биноклем и пяль глаза на воду. То ли дело экран локатора. Современность. Ни туман, ни темень не скроют нарушителя. Или вахта акустика: сидишь в наушниках в рубке, а «видишь» горизонт на много миль вокруг. Невидимые импульсы прошивают насквозь морскую толщу и, как посыльные, возвращаются на корабль. «Горизонт чист», — словно докладывают они, если ничего не встретили на своем пути. Но если наткнулись на корабль или подводную лодку, так «запоют», что опытному акустику ясно, кто и каким курсом торопится к нам в гости. В общем, сплошная наука и техника. А тут — бинокль, жалкий потомок подозрительной трубы Колумба. Бинокль старый, в царапинах. Черная краска, когда-то лаково блестящая на его корпусе, пооблезла, захватанная многими руками. Наверное, нарочно утиль дали: чего доброго, уронит, мол, салажонок в море. Но, приложив окуляры к глазам, я увидел, что ошибся. Сначала туманно, а потом стало лишь чуть крутнуть на резкость, и волны, казалось, брызнули в стекла. Далекий для простого глаза горизонт теперь качнулся рядом, море как бы растеклось шире.

Мой сектор обзора оказался не так уж мал, как я представлял себе сначала. Угол в девяносто градусов — от форштевня до меня и перпендикуляром к правому борту — выглядел космически гигантским по сравнению с тем, что приводят в учебниках геометрии. Каждая сторона этого прямого угла определялась дальностью видимости моих глаз и окуляров бинокля, то есть в пять-шесть миль. На этом расстоянии мимо моего взора не имел право проскользнуть незамеченным ни один предмет: от корабля до бревна.

Пусть Афанасьев сидит и смотрит на экран локатора, с наслаждением думал я, то и дело прикладывая к глазам бинокль. Ведь если разобраться, он мне и полвахты не дал самостоятельно подежурить — торчал рядом и подстраховывал. А здесь не чей-нибудь, а мой горизонт, за который я в ответе перед командиром и всем кораблем.

Море было не больше двух баллов. Это я уже научился определять: на легком ветру как бы нехотя полоскался флаг и силился вытянуться выпел. Зеленые волны бежали ровной чередой, не обгоняя и не опрокидывая друг друга. Дальше, к горизонту, они сливались в сплошную синеву, на которой изредка вспыхивали белопенные барашки. Интересно, как

выглядело море, когда со «Стремительного» заметили торпеду? Конечно, ее выдал бурун — пенистый султанчик на воде, который бежал к борту таким маленьким смертоносным смерчем.

А эти барашки на волнах паслись мирно. Правда, бывает, напарываются корабли на мины, еще с той войны оставшиеся в море. Сорвалась когда-то в шторм такая тротиловая дура с минрепа и блуждает по морям, по волнам. Встреча с ней приятного не сулит. Хорошо, если вперёдсмотрящий вовремя заметит. Сколько их расстреляли из пулеметов и пушек, этих рогатых шаров смерти! Читал я и в книгах и в кино видел. И тут мне пришла мысль, что в общем-то было бы даже здорово, если бы и мне попался сейчас на глаза обросший водорослями шар. «Справа по борту мина!» — крикнул бы я что есть мочи. Все выскочили бы на палубу, а она, косматая, уже возле борта. И расстреливать ее поздно. И тут командир сказал бы: «Матрос Тимошин, в воду! Отвести мину на безопасное расстояние!» Нет, командир не успел бы этого сказать. Я прыгнул бы сам и оттолкнул рогатое чудовище в сторону.

Если бы да кабы... Нет мин, их выловили другие моряки, те, что служили до нас. И здесь теперь тишь, да гладь, да божья благодать.

Я приставил бинокль и медленно повел взором по воображаемой дорожке — от волны к волне, от барашка к барашку, пядь за пядью просматривая свой сектор. И вдруг мне показалось, да, сначала только показалось, как в распада волн мелькнул какой-то непонятный предмет. То ли вежа, то ли торчком плывущее бревно. Плавник? Но, судя по бороздке, пенящейся следом, предмет не просто плыл по волнам, а двигался самостоятельно.

«Справа десять перископов!» — хотел крикнуть я, но тут же одернул себя. Вот оконфузишься — засмеют. Ты каким, скажут, местом вел наблюдение, что не мог разглядеть бревно? Обернувшись, я увидел командира, который навел бинокль в том же направлении. И через секунду раздался его жесткий голос: — Справа пятнадцать! Перископ подводной лодки! Боевая тревога!

«Зевнул», — с ужасом подумал я. — Сейчас снимет с вахты — и позор! Афанасьев рассказывал, что командир не прощает ни малейшей оплошности.

— Матрос Тимошин! — услышал я. — Усилить наблюдение.

Я приставил к глазам бинокль и от волнения долго не мог настроить резкость. Перед глазами туманно мельтешили волны.

А по трапу уже загремели каблуки. Посты докладывали о готовности:

— Первый боевой пост к бою готов!

— Второй боевой пост к бою готов!

Но почему боевая тревога? Почему «к бою»? Подводная лодка, наверно, наша, советская. Сейчас гидроакустики обменяются позывными: «Я такой-то!» «А я такая-то!» — ответит лодка по звукоподводной связи. «Привет!» «Привет!» «Счастливого плавания».

И в этот момент послышались ровные, будто метрономом отчеканенные фразы:

— На постах! Говорит командир. Вдоль границы наших территориальных вод следует подводная лодка противника. Боевая готовность номер один.

Боевая готовность номер один! Значит, в любую секунду можно услышать команду: «Пли!» Значит, в любое мгновение сам ожидай удара. Я заметил, как командир сжал руками поручни. Сейчас каждый маховичок, каждый рычаг управления на корабле был крепко стиснут десятками матросских рук. Десятки глаз впились в приборы, ожидая командирского слова. Я представил, как напрягались сейчас и Афанасьев

и Валерий, который должен держать подводную лодку в «контакте», даже если она опустит перископ.

Чья все-таки лодка? По перископу не узнаешь. Вот так же когда-то смотрели на перископ командир и сигнальщик «Стремительного».

Под грозным взором перископа я вдруг ощутил себя шестикратно увеличенным и потому беспомощным и беззащитным. «Самое неприятное, — вспомнились чьи-то слова, — увидеть рядом перископ. Ты видишь только эту чертову трубку, а она всего тебя от пяток до макушки. И может, в эту самую минуту тебе в бок уже выпущена торпеда».

— Дистанция? Пеленг? — поминутно запрашивал командир штурмана.

Подводная лодка шла вдоль пограничной линии, не меняя курса. Но стоило ей хоть бы на полкорпуса пересечь эту невидимую запретную черту...

А вообще-то... подумал я, и от этой мысли у меня шевельнулись волосы под бескозыркой... вообще-то ей раз плюнуть, чтобы потопить наш сторожевик. Выпустит торпеду, и напрасно старушка ждет сына домой, ни за нюх табаку пойдешь ко дну. Вот «Стремительный» — другое дело. Тот хоть заслонил теплоход.

Да, ты можешь погибнуть, заговорил, как бы вступая в спор, другой внутренний голос. Не ты первый, не ты последний. Но с антенны твоего корабля уже слетели в эфир сигналы опасности. И по всему флоту, охраняющему эти воды, объявлена готовность номер один. Десятки наблюдательных станций ни на секунду не сводят сейчас глаз с подводной лодки, что акулой метнулась к нашей границе. Десятки ракет уже наведены в этот квадрат моря. Но первое «Пли!» произнесешь ты — дозорный моря.

— Пеленг, дистанция... — повторял штурман, не выпуская перископ из пеленгатора.

Наш корабль и подводная лодка шли строго параллельными курсами. И если бы не борозды от форштевня и не бурун за перископом, можно было подумать, что мы стоим на месте.

— Цель отклоняется, — произнес штурман.

Теперь уже и я увидел, как перископ повернул вправо, в сторону нейтральных вод. И вдруг скрылся.

— Держать контакт с целью! — Это командир уже только гидроакустикам. Теперь лишь они способны следить за лодкой. Много звуков у моря, но шорох крадущейся лодки они различат сразу. И еще долго будут слушать удаляющиеся «шаги» врага.

Командир вытер взмокший лоб и сказал как-то очень буднично:

— Восвояси пошла, нахалка.

Когда я передавал вахту другому матросу, тот взял бинокль и удивленно поднял брови:

— Ишь, горячий какой! Ты его случайно не за пазухой держал?

В кубрике возле «боевого листа» — и кто только успел выпустить! — уже торчало несколько матросов. Я подошел и сразу увидел свою фамилию. «Поздравляем с отличным несением вахты матросов Тимошина и Рязайкина». Рязайкин — это гидроакустик Валерий, с которым мы одновременно начали сегодня вахту. «А за что меня-то? — удивился я. — Ведь по всем правилам мне полагался фитиль».

— А ты молодой, да ранний! — хлопнул меня по плечу незнакомый матрос с лоснящимся от пота лицом. По мазутным подтекам под глазами и на щеках я догадался, что это машинист из «бч-пять». Откуда ему-то знать про мою вахту наверху?

Наверное, я покраснел, потому что почувствовал себя так, словно стою на трибуне и меня разглядывают сотни глаз. Такое чувство неловкости я испытывал однажды, когда сгоряча решился выступить на



комсомольском собрании. Пока сидел в предпоследнем ряду, накопили вроде бы складные слова, а вышел — и язык проглотил.

В таком состоянии — как будто со всеми вместе, как все, и в то же время поминутно на виду у всех — я пребываю с тех пор, как ступил по трапу на корабль. А сейчас ощутил это особенно.

Незнакомый матрос нацедил из бачка кружку воды и, выпив залпом, поставил ее снова. Он стоял ко мне боком, и я видел, как ходуном ходил на шее кадык, когда матрос пил. Что-то очень знакомое почудилось мне в повороте головы, в на-

дорванном разрезе тельняшки, в темных, закрученных на концах колечками лентах бескозырки, ниспадающих на широкую спину. Вспомнил! Картинка из книжки про морскую пехоту. Впервые за все время с тех пор, как надел морскую тельняшку и подпоясался широким черным ремнем с золотистой бляхой, я вдруг увидел себя матросом. Человеком, состоящим с морской братией в кровном родстве.

И далекими и мелкими, как в перевернутый бинокль, показались мне споры с Борькой у старой траншеи. Интересно, что он делает сейчас? Вообще, чем он занимался в ту минуту, в тот час, когда...

когда матрос из «бч-пять» задышался в африканской жарке машинного отделения, оглохший от неистового перестука двигателей;

когда... впередсмотрящий, продрогший и промокший до костей, прирос к палубе и до рези в глазах вглядывался в перекаты волн;

когда Афанасьев в каморке радиорубки до боли тер виски, чтобы не задремать на вахте, которая была бессменной почти двое суток;

когда... просто-напросто наш корабль выходил на линию дозора.

Интересно, что делал Борька в ту минуту, когда матросы услышали сигнал боевой тревоги? А ведь и они и Борька — ровесники, считай, близнецы у матери-Родины. Одновременно крикнули «уа-уа», переступили порожек детсада, школы. А потом вот перед самой казармой Борис взял и отвернул в сторону, чтобы срезать угол в жизни, в биографии. А почему же на головы его ровесников должно упасть больше снега и дождя? И почему на их долю придется больше тревожных, бессонных ночей?

Эти свои соображения я выложил перед Афанасьевым, только в другом, сокращенном виде.

— Как ты думаешь? — спросил я его. — Что выгадывают ребята, которые увильнули от службы?

— Проблемы нет, — добродушно сказал Афанасьев, — таких у нас раз-два и обчелся.

— Ну, а те, из этих «раз-два»?

Афанасьев задумался и ответил вопросом:

— Что такое локсодромия, знаешь?

По основам навигации, «азы» которой мы освоили еще на берегу, я знал, что локсодромия — это линия на земной поверхности, пересекающая все меридианы под одним и тем же углом.

— При чем тут локсодромия? — спросил я.

— А при том, — пояснил Афанасьев, — что на карте, составленной в специальной проекции, это самая локсодромия изображается прямой линией. Вот тем самым, которых «раз-два», кажется, что в жизни дуют по прямой, а на самом деле истинное расстояние куда больше...

Наш корабль возвращался в базу. Здесь, в своих водах, море как-то подомашнело. Мы с Валерием стояли на верхней палубе и смотрели на горизонт. Нет, поговорка неправда: не море красиво с берега, а берег красив с моря. Особенно если долгое время лишь волны да ветер вокруг.

— Сколько писем написал? — словно невзначай, спросил Валерий.

— Два, а что?

— Понятно. Домой и девчонке. Не так?

— Так... — признался я. И ничуть не лукавил, потому что письма Борису могли теперь прочитать разве что дельфины.

— Два письма — это мало, — сказал Валерий. — После такого похода почтальон идет на почту с мешком писем и с двумя на корабль возвращается.

И вдруг с мостика крикнули:

— Слева по борту венок!

Корабль словно запнулся и пошел самым малым.

— Приспустить флаг! — прозвучала команда.

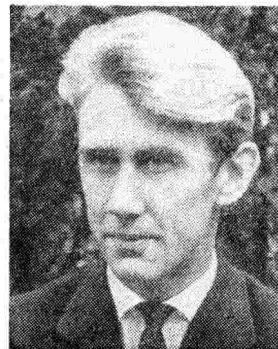
Да. Это был венок. На маленьком деревянном плотике. И тут кто-то тихо сказал:

— А венок-то не наш... Наш был из астр, а этот из гвоздик.

Командир снял фуражку, а мы — бескозырки.



Александр Балин



Ночная песня

Я часто пел в ночную смену.
Не громко пел, а под сурдинку.
Под пресс стотонный пел, под мелот,
Под пескоструйный аппарат.

Пел и мечтал еще при этом,
Что я не парень, а картинка,
Что кто-то, добрый и веселый,
Моей работе шибко рад.

Я не обманывался, дудки!
Маленько я хитрил, конечно:
Сон отгонял ночью песней
И ритм рукам я задавал, —

Компрессорный не задышался,
Не лихорадило кузнечный,
И сам парнишечка беспечный
К утру не слишком уставал.

А ведь ни голоса, ни слуха —
Один энтузиазм, и только.
И, понимаете, про пенье
Не стоило бы говорить,

Но вот запел Буханцев Толька,
Заголосил Алехин Колька,
И даже Васька Азаренков
Дал Айвазяну прикурить.

Вдруг мастер загудел в конторке —
Не цех кузнечный, а эстрада.
Мы не обманывались, дудки!
Мы все маленько хитрецы,

А чья душа — не все равно ли? —
Работе нашей шибко рада,
Коль рада шибко, значит, наша, —
Мы понимали, кузнецы.



Никогда не верил я в звучанье
Вымученных строк,
Потому, наверно, и молчанья
Затянулся срок.

Встань у сердца, чтоб забилося рядом,
По рукам узнай.
Заходи в мой мир, в мой беспорядок,
Шумный, как весна.

В поиск мой проникни. Будь у горна
В грохоте, в огне,—
Станешь после этого упорно
Думать обо мне.

Ты поймешь большое наше дело —
Дело дум и рук,
Где звучит без громовых подделок
Наше слово: друг!

Здесь — начало дружбы, здесь — истоки
Самых крепких слов.
К фальши их безжалостно жестоко
Наше ремесло.

...Весь я здесь. Ты под стропила ребер
Загляни ко мне:
Никогда — ни в зависти, ни в злобе —
Сердцу не темнеть.

Я в любой работе безотказен —
Лемех ли, строка...
Понимаешь? Сам Василий Казин
Верит мне пока.

Верит, что не клюну на дешевку
В мутном море слав...
Мне давал в поэзию путевку
Мудрый Ярослав.

Ты меня за откровенье это
Не ругай лстецом,
Потому что трудно быть поэтом,
Легче ль кузнецом!

Под такой нагрузкою двойною
По хребту — озноб.
Если б не был закален войною,
Помер, знать, давно б.

Нет, живу. Не отстаю от века,
Глоткой не беру...
И ращу в себе я человека
И учу добру.



Да, я ходил на поле брани
За фрески, за шуршанье фрез,
И знаю я стальные грани
Штыка и пулевой надрез,
Едва заметный в складках бязи

Напротив левого соска,
Когда замрет на полуфразе
Мысль, уходящая в века.
Да не в века, а просто веки
Сомкнутся — и не развести...
Прости, что снова ставлю вехи
На обозначенном пути.
Но в час, когда душа радеет
За тишину (весна, луна),
Боюсь, что сердцем завладеет
Чувств мелкотравчатых шпана.
Ни боли, ни любовной дрожи,—
Порожнее, начнёт жиреть,
Чтоб в тесных ребрах, как в мереже,
Спокойной смертью помереть.
Но, землю чувствуя ногами
Такою, что по жилам ток,
Спешу убрать ее стогами,
Чтоб был под небо каждый стог.
Жесток наш век, наш век прекрасен,
И нужно честным быть бойцом —
Певцом, косцом ли, кузнецом,
А не орать: насквозь, мол, красен,
И хоть не всякий крик напрасен,
Но только труд — всему венцом.

Олег

Цакунов



Когда допеты песни, мы молчим,
И в нашу тишину перед походом,
Как звезды, обнаженные в ночи,
Глядят друзья, и женщины, и годы.

Затрепетав, сгорают мотылек,
Колблет пламя штрих летучей мыши,
Где нет дорог, там путь всегда далек,
Где нет следов, там перевалы выше.

Простертые ладони над огнем
Просвечивают розовой каймою,
И проводник на короточках, как гном,
Покачивает древней головою.

И колдовство молчанья далеко.
Клубится дым, летят кривые искры.
Все по-мужски далеко-далеко,
Все по-сыновьи близко-близко, близко.

Поэтам гражданской

С прокуренными глотками,
С пустыми животами,
Обмотаны обмотками,
Обернуты бинтами.

Бредут они ночами,
Летят они наметом,
Трясутся на тачанках,
Дрожат у пулеметов.

Влекомые боями,
Ни дня, ни сна не знают.
И засыпают ямбы,
Хореи замерзают.

И как ни погибают,
В каком броду ни вязнут,
Стихи вдруг проступают,
Как кровь на перевязках!

Наум Киселик



Всползали на берег неловко
на тресе туши кругляков,
и двое было — я да Левка —
на всем заводе мужиков.

Два мужика на всем заводе
без никаких малейших льгот.
Шестнадцать лет. А на исходе
был сорок первый горький год.

Пропах не порохов — махоркой
райвоенком, но был он строг
и усмирал нас поговоркой
о том, что овощу — свой срок.

И снова к дискам, бревнотаскам,
в размерный скрежет пилорам,
в метель опилок, в бабье царство
мы заявлялись по утрам.

На распиловке, в пилоточке,
на территории двора —
по брови белые платочки,
ладони — черная кора.

Мы с ними вкалывали вместе,
мы были с бабами дружны,
хоть видели, скажу по чести,
что мы им не были нужны.

Росла, росла гора пиленой
продукции — к доске доска.
Шли за оградой почтальоны —
судьба, надежда и тоска.

И, ставши вдруг на речи скупы,
как будто кто их подменил,
трудились бабы, сжавши зубы,
лишь скрежетали зубья пил.

Дерев не видя из-за леса,
мы знать не знали — два юнца, —
что это голосом железа
кричали женские сердца.

Но в час, когда сама Россия
нас позвала и повела,
нам вслед по-бабьи голосила
стальная круглая пила.

Как мы пели

Размерно всхлипывает гать,
лес придвигается — аукать.
Ах, по команде запевать
совсем не легкая наука.

Нет, я словами не пылю
и ни на что не намекаю:
я пел с охотой, петь люблю,
я пел без всяких понуканий.

Но я гляжу туда, вперед,
за версты, годы и сраженья,
куда придет, придет наш взвод,
не сам, а только отражение.

Там будут миллионы глаз,
а мы, как на экране, крупно.
И что на песню был приказ, —
их пониманью недоступно.

Что снаряжение — род вериг —
на юношах, что облик ратный,
что нас, людей, в ряды свели,
им это тоже непонятно.

Как сучья голые, штыки.
Корою — мокрые шинели.
Но как мы пели, как мы пели
всему на свете вопреки!

Так пели, что напев наш грубый
и наши древние слова,
уже понятные едва,
им обожгут сердца и губы.



Заиграли огни
с торопящимся поездом в прятки:
то за гору они,
то опять расцветают в распадке.

Не поймешь в забытии:
кто-то плачет! Не то напевает!
Слышно — поезд пыхтит...
Или палкою пыль выбивают...

Слышно — поезд орет,
чтоб леса соступили с дороги.
Вечный круговорот.
Только трубы стоят, словно боги.

Только трубы дымят,
как бессонные боги работы.
Это своды гремят!
Это ветер и дым! Или годы!

Это годы летят!
Или мимо проносится встречный!
Это рельсы блестят,
или, может быть, путь этот — млечный!

Непокой на душе.
Глохнет эхо и вновь назревает...
Это — поздно уже
или все еще рань заревая!

Геннадий Хорошавцев



Как будто века тишине над запретною
зоной.
Согнулся под тяжестью белого цвета ранет.
Живут незаметно стальные мои гарнизоны.
Стоят молчаливо мои гарнизоны в броне.
Но вдруг осыпается спелый ранет
на газоны.
Протяжны и гулки раскаты по всей стороне.
Встают по сигналу стальные мои
гарнизоны,
Встают по тревоге мои гарнизоны в броне.

И если в дыму закачаются вновь
горизонты,
И небо застонет, подобно гудящей струне,
Собою закроют Отчизну мои гарнизоны.
Закроют Отчизну мои гарнизоны в броне.



Ночи июня!
Нету светлее, чем вы, и короче.
Как вы похожи на жизни солдатские,
белые ночи!
Как вы похожи на губы любимых
перед восходом,—
теплые губы любимых в садах
сорок первого года!
Вспыхнуло с запада двадцать внезапное,
двадцать второе...
Пусть вам над Бугом земля будет пухом,
спите, герои!
Мамам со стен улыбаются ваши
ясные лица.
Многим из тех, кто хлебал с вами кашу,
сегодня не спится.
Отец-инвалид
не закурит никак за стеной сигарету.
Он чиркает спичкой и кашляет глухо
и долго при этом.
Вдовьи сердца,
еще веря,
колотятся
часто-часто.
И парни убитые
в двери забытые
часто стучатся.

Соловей

Над поющей долиной
натянув кружева,
самолет ворчливо
вышину вышивал.

Окрыленно и страстно
целый день напролет
мир пернатый старался
заглушить самолет.

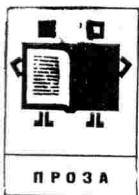
И весь день, этим спорам
не мешая ничуть,
наша песня задорно
заглушала пичуг.

А потом, на привале,
ночь вступила в права.
И затих запевала:
в песне вышли слова.

Тянет руку под щеку,
автомат к голозе.
Вдруг — затренькал, защелкал,
загремел соловей.

Днем не слышат — ну что же!
Он поет по ночам.
...Насторожен до дрожи,
лес притих, замолчал.

Не чирикнет, не свистнет.
Только изредка, вдруг
аплодируют листья
на дрожащем ветру.



БОРИС
БОНДАРЕНКО

ЩЕИТНОТ

ПОВЕСТЬ

Рисунки
Г. Басырова.

Вода казалась прохладной только в первые полминуты, когда их измученные солнцем и горячим воздухом тела с наслаждением погрузились в нее, но потом пришло ощущение, что тебя завернули в просторное пуховое одеяло, и хотелось нырнуть и погружаться все глубже и глубже, пока не обнимет тебя плотная сумеречная прохлада. Но Черное озеро неглубоко и невелико, прогревается до самого дна. Они шу-тя перемахнули его и, не вылезая из воды, не спеша вернулись на середину и поплыли между голыми плоскими берегами. А когда выбрались на берег и пошли назад, к машине, эта теплая вода показалась единственным спасением от жары, и они, не сговариваясь, снова прыгнули в озеро и поплыли. Наплававшись до изнеможения, улеглись на пыльной, выжженной солнцем траве, близко сдвинув головы под красной горячей тенью зонта.

— Звонила жена Александра Ивановича,— сказала Таня.

— Когда?

— Незадолго до твоего прихода.

Алексей промолчал, и Таня сказала:

— Она спрашивала, стоит ли ей идти к тебе.

— И что ты ответила?

— Что я не знаю... Ты в самом деле хочешь уволить его?

— Нет, конечно,— не сразу ответил Алексей.— Куда он пойдет?

Таня легла на бок, стала внимательно разглядывать его.

— Что так смотришь? — спросил Алексей, не отрывая глаз.

— Ты неважно выглядишь. Очень плохо было в Челябинске?

— Да.

— Надо было мне поехать с тобой.

— Да, надо было.

Алексей тоже повернулся на бок, посмотрел на нее.

— Почему же ты не поехала? Ведь не потому, что у Светланы на полградуса поднялась температура?

— Нет.

— Тогда почему?

Таня села, обхватив руками колени, и отвернула голову в сторону.

— И не писала ничего... Все-таки, Тань, почему? — допытывался Алексей.

— А тебя это беспокоит? — невнятно спросила Таня, не поворачиваясь.

— Да.

И она снова легла рядом, положила голову на руки и улыбнулась.

— Да так, Алеша, глупости одни... Обычные бабьи штучки. Я уже на другой день пожалела, что не поехала. Захотелось вдруг посмотреть, что получится, если мы ненадолго разведемся. Ну, и получилось так, как и должно было быть, то есть плохо,— просто сказала Таня и провела рукой по его плечу.— А ты похудел... Наверно, всухомятку там питался, да?

Алексей промолчал, и Таня тихо добавила:

— И письма я тебе писала, целых шесть штук. Когда-нибудь я отдам тебе их.— Она вдруг быстро вскочила на ноги и сказала:— Пойдем купаться, а то сгорим!

И они полезли в воду и затеяли там веселую воз-

Окончание. Начало см. в № 1 за 1971-год.

ню. Таня, выросшая на Волге, была отличной пловчихой и легко увертывалась от Алексея, поддразнивала его. Алексей безуспешно пытался поймать ее и, наконец, поднял руки вверх:

— Сдаюсь. Хватит, пора ехать.

И они медленно поплыли к берегу.

— А ее тоже не мешало бы испкупать, — кивнула Таня на машину.

— А ну ее! — отмахнулся Алексей. — Да и что толку? Пока доедем, опять грязная будет. В воскресенье сгоню на мойку. — И предупредил: — Садись осторожнее, на этой консервной банке можно поджаривать яичницу.

Ужинать, как обычно, поехали в «Россию». Алексей направился было к своему любимому столику в углу, как вдруг подкатился к нему, издавала сияя золотой, лучезарной улыбкой, низенький коротконогий человечек с аккуратным круглым брюшком.

— Алексей Владимирович, наконец-то!

И Алексей не сразу вспомнил, что это Фалалеев, «толкач» из Севастополя, и что этот Фалалеев дважды за последний месяц уговаривал его посидеть, потолковать кое о чем, — многозначительное подмигивание и короткий смешок, — и что сегодня он поймал его у машины, и Алексей, чтобы поскорее отвязаться от него, пообещал ему быть сегодня в семь часов в «Россию».

— Я, как видите, не один, — довольно нелюбезно сказал Алексей, пожимая пухлую ладонь Фалалеева.

— А ничего, ничего, это даже к лучшему! — покладисто сказал Фалалеев, но все-таки чуть заметно покривился: присутствие Тани ему было явно не по душе. Но он галантно чмокнул протянутую Таней руку, церемонно представился: — Константин Евгеньевич Фалалеев. — А когда Таня назвала себя, он хихикнул: — Как же, как же, слышан. — И широким жестом пригласил к столу: — Прошу.

Стол был уставлен закусками, в центре его красовалась яркая бутылка армянского коньяка; Фалалеев, сладко улыбаясь, осторожно взял ее и почтительно подержал в руках.

— В первый мой приезд сюда я попытался найти армянский коньяк, хотя бы обыкновенные три звездочки. Какое там! — с ужасом сказал Фалалеев. — Меня подняли на смех. Тогда, говорю, грузинский. И грузинского нет. Ни молдавского, ни болгарского, ни даже венгерского.

Вежливую улыбку Алексея Фалалеев проаккомпанировал сдобным, рассыпчатым смешком.

— И что же, — осведомился Алексей, — надо полагать, что эту драгоценную бутылку вы везли из самой Одессы?

— Почему из Одессы? — удивился Фалалеев. — Из Севастополя.

— Ах да, простите... Вечно я путаю эти южные города.

— Что такое Одесса по сравнению с Севастополем? Фи! — пренебрежительно выпятил губы Фалалеев и спохватился: — Однако что же мы разговариваем насухую? Позвольте...

И он взялся за бутылку с коньяком. Алексей неторопливо отодвинул свою рюмку и вежливо сказал:

— Мне, если не возражаете, минеральной.

— Да вы шутите! — в горестном изумлении воскликнул Фалалеев.

— Ничуть. Я, знаете ли, трезвенник. А кроме того, мы на машине и скоро должны ехать на работу.

— Как же так... — потерянно сказал Фалалеев. Вероятно, он возлагал большие надежды на этот коньяк. — Наставать, конечно, не смею, но...

— Ну, ничего, — сказал Алексей и двусмысленно добавил: — Коньяк вам еще пригодится.

Фалалеев кинул на него настороженный взгляд,

но тут его выручила подошедшая официантка. Фалалеев вновь вооружился лучезарной улыбкой.

— С вашего позволения, я закажу для всех цыплят табака. Как мне сообщили, это лучшее, что бывает здесь.

— Вам правильно сообщили. Да вы пейте, пейте, Константин... — Алексей запнулся, вспоминая его отчество.

— Евгеньевич, — подсказал Фалалеев, не выказывая обиды.

— Вы пейте, пожалуйста, — радушно угощал Алексей Фалалеева его же собственным коньяком. — Вы не смотрите на нас.

— А может быть, вы, Танечка, выпьете?

— Танечка не пьет, — сообщил Алексей, принимаясь за цыпленка.

— Как жаль! — сказал Фалалеев. — Тогда я тоже не буду.

— И правильно, — похвалил его Алексей. — В такую жару пить весьма не рекомендуется. Так о чем же мы будем толковать?

Фалалеев хехекнул, покоровившись от неделикатного вопроса.

— Ну как, то есть, о чем? Я хотел сделать вам предложение.

— Я, знаете ли, уже замужем, — невозмутимо сказал Алексей.

Фалалеев выпучил глаза, застыл на мгновение и закатился судорожным, булькающим смехом. Засмеялась и Таня.

— Ох-хо-хо! — заливался Фалалеев. — А до меня, признаться, не сразу дошло, в чем тут соль. Действительно, двусмысленное словосочетание.

Алексей даже не улыбнулся. Дождавшись, когда Фалалеев отсмеется, он спросил:

— Ну-с, если мое замужество исключается, что вы хотели мне предложить?

— Переехать в Севастополь, — быстро сказал Фалалеев, решив тоже действовать в лоб.

— Весьма неоригинальное предложение, — покачал головой Алексей. — Вы знаете, сколько уже раз мне предлагали подобное?

— Знаю, знаю, — замахал руками Фалалеев. — Я все о вас знаю...

— Даже так? — поднял брови Алексей.

— Ну, в пределах разумного, конечно, — тотчас поправился Фалалеев. — И, смею вас уверить, никто не предлагал вам таких исключительно выгодных условий.

— Да ну? — удивился Алексей. — Что же вы намерены предложить мне? Молочные реки, кисельные берега?

— Почти, — самодовольно улыбнулся Фалалеев. — Уже решено, что машина будет выделена в отдельную лабораторию... Со всеми вытекающими отсюда последствиями, — значительно поднял палец Фалалеев. — Вам, как начальнику этой лаборатории, немедленно предоставляется двухкомнатная квартира и... — Фалалеев сделал эффектную паузу и даже голос понизил: — соответствующий оклад!..

— Вы и тут неоригинальны, — сказал Алексей. — И квартиру и соответствующий оклад мне уже предлагали.

— Знаю, знаю, — заторопился Фалалеев. — Но ведь где? В Новосибирске! А разве четыреста рублей в Севастополе то же самое, что четыреста рублей в Новосибирске? Даже ребенок скажет вам — нет, нет и нет! Разве в Новосибирске есть такое солнце, море, фрукты? — с воодушевлением продолжал Фалалеев. — Разве была бы у вас там такая приятная, спокойная жизнь? Ведь в Новосибирске у вас было бы три машины, а у нас только одна!

— Вот именно.

— Простите, не понял,— посмотрел на него Фалалеев.

— Да нет, это я так... А вы неплохо осведомлены. Кстати, какое отношение вы имеете к этой машине?

— Почти никакого. Я всего лишь администратор,— уклончиво ответил Фалалеев.— Но вы можете не сомневаться, я, в течение десяти дней могу дать вам все необходимые гарантии за подписью директора.

— Даже так?— удивился Алексей.— А разве это законно: платить такие деньги рядовому инженеру? Ведь у меня нет никаких званий.

Фалалеев снисходительно улыбнулся.

— Ну, пусть вас это не беспокоит. Наш директор все может.

— Не сомневаюсь. А по какой статье расходов будет списан этот ужин? И коньяк?

— Не понимаю,— натянуто улыбнулся Фалалеев.— Какое это имеет значение? Это же мелочи.

— Да нет, это я так... Просто любопытно. Ведь не из своего же кармана вы выкладываете денежки на это?

Фалалеев уклонился от ответа, настойчиво спросил:

— Так как же, Алексей Владимирович?

— А никак, Константин Евгеньевич. Ваше предложение меня не устраивает.

— Не устраивает?— неприятно удивился Фалалеев.

— Нет,— подтвердил Алексей.

— Но почему же?— сложил пухлые ладони Фалалеев.— Я знаю, здесь вы получаете больше, но ведь ненамного больше, и работа у вас, извините за выражение, собачья... Вечно в командировках, ненормированный рабочий день, и потом— этот ужасный город. Неужели вам нравится жить в этой духоте, дышать этой пылью?

— Не нравится,— сказал Алексей.

— Ну вот, вот!— обрадовался Фалалеев.— Я бывал во многих местах, но такого скверного города, по совести говоря, просто не приходилось видеть.

— Охотно верю,— поддакнул Алексей.— Ужасный город.

— Тогда в чем же дело? Сколько вы хотите?

— Миллион.

— Шутить изволите,— сразу сник Фалалеев.

— Изволю,— согласился Алексей.— Миллиона мне не нужно, да вы мне его и не дадите. Но предложение ваше меня действительно не устраивает.

— Но почему же?— не понимал Фалалеев. Он все еще улыбался, но уже далеко не так радушно, в маленьких глазах отчетливо пробегала злость. Он переводил глаза с Алексея на Таню и обратно, пытаясь догадаться, нет ли связи между этой молчаливой женщиной и неестественным, никак не объяснимым нежеланием Турманова принять его предложение.

— Да так уж,— развел руками Алексей, закуривая.— Я видите ли, вообще человек... немного того... со странностями. А сейчас, с вашего позволения, мы удалимся.

Он подозвал официантку.

— Валюша, посчитай нам отдельно.

— Ну, это уже зря,— не очень решительно обиделся Фалалеев.— Я ведь сам пригласил вас.

— Ничего не поделаешь,— извинился Алексей.— Дурная привычка жить только за собственный счет. Желаю здравствовать.

И они ушли.

— Ну и гусь!— сказал Алексей на улице.— Жаль, испортил нам ужин, так хотелось посидеть спокойно-

но... Надо было поехать в «Кристалл». А похоже, что кое-кого из ребят мы все-таки недосчитаемся.

— Пожалуй,— согласилась Таня.

— Ну, что будем делать?

Было только девять часов, и на завод ехать рано— день стоял такой жаркий, что раньше двенадцати вряд ли удастся включиться.

— Отвези меня домой,— сказала Таня.

Алексей посмотрел на нее и чуть было не спросил: «Зачем?» Но промолчал и нехотя открыл дверцу машины, и так, молча, доехали до дома Тани.

II

В самолете Ирина долго раздумывала, давать ли Алексею телеграмму из Москвы, и решила: не давать. Она знала, что Алексей не сможет сейчас прилететь даже на один день, да и у нее самой тоже вряд ли найдется хотя бы несколько свободных часов. К чему тогда тревожить его? И хотя трудно было примириться с тем, что они находятся так близко, всего в тысяче километров друг от друга, и все-таки не смогут увидеться, Ирина сдержала себя, быстро пошла к стоянке такси и сказала шоферу адрес. «Вымыться— и спать»,— говорила она себе, поднимаясь по лестнице, но когда вошла в квартиру и увидела в передней телефон, бросила чемодан и стала торопливо набирать номер, словно секунды промедления могли что-то означать для нее. «Ждите»,— ответил равнодушный голос телефонистки, и Ирина медленно положила трубку, уже понимая, что ждать бесполезно: Алексея наверняка нет дома, а с заводом ее не соединят. Но она все-таки ждала. В конце концов минуты этого ожидания ничем не отличались от десятков часов и дней других ожиданий— звонков, телеграмм, писем, встреч.

Последние три года ее жизни были сплошь размечены этими ожиданиями, и, кажется, пора было уже привыкнуть к ним. И она ходила по комнате, что-то убирала, переставляла с места на место, уговаривая себя не волноваться: ведь ничего особенного нет, ну, позвонят и скажут, что никто не отвечает, ведь никто и не должен ответить: Алексей сейчас на работе, негде ему больше быть. Но когда длинно, требовательно зазвонил телефон, Ирина бросилась к нему так, словно все это было впервые— ее ожидание, тревога и секунды жестокого разочарования, пришедшие с холодным голосом телефонистки:

— Абонент не отвечает. Будете переносить разговор?

— Нет, не нужно.

Она медленно разделась, стала под душ, не испытывая привычного удовольствия от прохладных прикосновений воды и ощущения чистоты своего тела. Потом вытянулась на белой простыне, закрыла глаза. Надо было спать: день завтра предстоял нелегкий, до отказа заполненный разнообразными делами. «Спать»,— приказала себе Ирина, но воображение отказывалось подчиняться ей, стало рисовать неприглядные яркие картины— начинался очередной приступ унизительной, опустошающей душу ревности. Ирина боялась этих приступов— потом она всегда чувствовала себя разбитой и подавленной,— но ничего не могла поделать с собой.

Она писала Алексею: «...не могу не думать о том, что эта женщина всегда рядом с тобой, и она умна, красива, обаятельна, и— я ведь вижу— любит тебя». Ирина не только видела это— она знала, ей сказала об этом сама Таня два с половиной года назад, в первую зиму замужества Ирины.

Она уже знала обо всех слухах и толках, связывавших вместе Алексея и Таню, и мучилась от этого,

как мучилась бы на ее месте любая другая женщина. Верила она не слухам и анонимным письмам, им она верить не могла, хотя все они были на редкость единодушны, а своему ощущению, что эта женщина, с которой Алексей почему-то не захотел познакомиться ее, значит для него гораздо больше, чем он сам говорит об этом, и со страхом думала о своем предстоящем отъезде: ведь они расстанутся на полгода, и что будет тогда?

И вот Таня неожиданно сама пришла к ней и просто сказала:

— Здравствуйте. Я Таня.

И, прежде чем она сказала это, Ирина догадалась, кто стоит перед ней, хотя и знала, что Тани как будто не должно быть в городе, две недели назад она уехала в командировку вместе с Алексеем.

— Здравствуйте,— тихо сказала Ирина, протягивая руку.

Первый момент этой встречи был мучителен для нее — ей даже пришлось извиниться и на минуту пройти в ванную комнату, чтобы как-то справиться с собой. Стыдно было признаться, но она боялась этой женщины, ее спокойной уверенности — или она так хорошо владеет собой? — ее красивого, мягкого голоса, богатого интонациями. Ирина в какие-то мгновения разглядела ее всю и удрученно отметила то сходство с ней самой, о котором ей уже говорил Алексей. Обе были высокие, крупные, но Таня тоньше, стройнее, и — приходилось признаваться и в этом — красивее Ирины. И черты лица Тани были мягче, приятнее, и кожа была куда лучше, чем на обветренном лице Ирины. «Почему он не женился на ней?» — растерянно подумала Ирина, разглядывая себя в зеркале, и, поймав себя на этой мысли, она возмущилась своей слабостью, сдвинула брови и решительным шагом вышла из ванной.

— Хотите чаю?

— Да, пожалуйста,— ответила Таня с обезоруживающей простотой.— Очень холодно на улице.

— Я быстро,— не очень естественно улыбнулась Ирина.— Усаживайтесь поудобнее. А как же вы оказались здесь? Алеша говорил, что вы должны поехать с ним в командировку.

— А я и ездила, только вчера вернулась. Алеша должен завтра приехать.

— Я знаю,— ненужно сказала Ирина и подосадовала на себя.— Он писал. Часто вы бываете в командировках?

И опять вышло неловко: получалось, будто она спрашивает, часто ли Таня ездит вместе с Алешей. Но Таня восприняла этот вопрос как самый естественный, чуть улыбнулась:

— Почти каждый месяц. В общем, по полгода дома не бываю.

— А как же девочка? — спросила Ирина, подчиняясь ее непринужденности.

Таня вздохнула.

— Жалко, конечно, оставлять ее, но что делать! Правда, смотрят за ней очень хорошо, я ничуть не беспокоюсь на этот счет. Муж от нее без ума и все делает не хуже меня. Да и мать его здесь, всегда может помочь.

— И не надоедает вам ездить?

— Привыкла... Да ведь и вы не домоседка, наверняка сами все это испытali,— с улыбкой напомнила ей Таня, и Ирина засмеялась:

— И верно, я так расспрашиваю, как будто мне это в диковинку. Хотя у меня все выглядит иначе. Вы каждый месяц возвращаетесь домой, да и там все-таки город. А у меня... Как уедешь, словно в другой мир попадаешь, забываешь о городе начисто. Люди очень легко расстаются с городскими при-

вычками... К сожалению,— не сразу добавила она, и Таня недоуменно подняла брови:

— Почему к сожалению? Разве приспосабливаться к непривычным условиям — это так плохо?

— Когда в меру, неплохо, конечно. Но нередко люди просто дичают. Перестают следить за собой, а некоторые, представьте, даже и не умываются по неделе — тайга, мол, все спит. Все-таки жизнь там не очень естественная.

Таня покачала головой:

— Совершенно не представляю, как вы там... Ведь вам должно быть намного труднее, чем другим, вы женщина. Я бы, наверно, просто не смогла.

И так хорошо сказала она это, с таким искренним уважением к ней, что Ирина окончательно отбросила свою предубежденность.

— Ну, почему же не смогли бы... Я сама думала, что не смогу, не раз хотела бросить все... Но, как видите, не бросила. Не так страшен черт, как его малюют. А что трудно — это верно. И не из-за всяких там неудобств, к этому я уже привыкла, а именно потому, что все время приходится помнить, что ты женщина.

Стали пить чай, уютно устроившись в креслах у низенького столика.

— Вы не очень удивлены, что я пришла? — вдруг прямо спросила Таня. Ирина в замешательстве посмотрела на нее, Таня спокойно пояснила: — Алеша давно хотел познакомить меня с вами, но я решила, что будет лучше, если мы сначала одни поговорим.

— Вот как... — неопределенно сказала Ирина, пытаясь догадаться, о чем эта женщина собирается говорить с ней.

— Я понимаю, это может показаться странным... даже, может быть, двусмысленным...

— Почему же... — не очень решительно возразила Ирина. Ей опять стало не по себе — от намека, открыто прозвучавшего в словах Тани. И уж вовсе смешалась она, когда услышала:

— Я думаю, наши кумушки уже постарались донести вам о том, что я живу с Алешей. А если не сказали, то еще скажут.

Ирина покраснела, отвела глаза в сторону. Таня тихо сказала:

— Я отлично понимаю, насколько неприятен вам этот разговор, но и мне он удовольствия не доставляет. Можно, конечно, прекратить его и вежливо раскланяться, но я думаю, для нас обоих будет лучше, если мы доведем его до конца.

Ирина выпрямилась в кресле и с вызовом спросила:

— Неужели вы думаете, что я... поверила этим сплетням?

Таня удивленно посмотрела на нее и даже чашку поставила на столик.

— Бог мой, ну конечно, нет!.. Разве я пришла бы к вам, если бы думала так?

— Почему же вы не могли так думать? — смешалась Ирина.— Вы же совсем не знаете меня.

— Но я знаю Алешу, — мягко, даже, как показалось Ирине, чуть-чуть укоризненно сказала Таня, и Ирина вдруг поняла, что не надо удивляться ни визиту Тани, ни этому странному разговору, и то, что они не знают друг друга, не имеет большого значения — ведь обе они знают Алексея. А Таня продолжала, глядя прямо на нее:

— Видите ли, сплетни эти идут, если не ошибаюсь, все шесть лет, что мы знакомы с Алексеем. И, признаться, первое время они доставляли мне немало неприятных минут. Потом уж Алеша убедил меня, что бессмысленно отучать людей совать нос в дела своих ближних, особенно если это делается с благими намерениями, — ведь у меня муж, ребенок. Но

придавать значение этим сплетням — значит просто не уважать себя. И мне давно уже безразличны все эти сплетни и слухи. А так как с моим мужем мы в свое время основательно обсудили этот вопрос, я считаю, что наши отношения не должны никого касаться. То есть считала так до тех пор, пока не появились вы... — Таня помолчала. — Насколько я знаю Алешу, он вряд ли особенно много говорил вам обо мне. Не потому, конечно, что он должен что-то скрывать, а... как бы это сказать... — замаялась Таня. — Я думаю, он и пальцем не пошевелил, чтобы хоть как-то опровергнуть эти слухи, ведь так?

— Пожалуй, — сухо сказала Ирина. — Да и не нужно было этого делать.

— Разумеется, — согласилась Таня. — Но ведь сплетни от этого не прекратятся. Я думаю, они никогда не прекратятся: в таком безнадежно провинциальном городе, как наш, это — немалое развлечение. А тем более что Алеша — фигура на заводе значительная, он всегда на виду. И он-то действительно не обращает внимания на них, — подчеркнула Таня. — Но... давайте будем откровенными до конца... Мы, женщины, созданы иначе. Мы безнадежно ревнивы по своей природе, и будь на то наша воля, мы не делили бы любимых ни с кем и ни с чем, — о женщинах я уж и не говорю, но ведь мы ревнуем не только к ним, но и к друзьям, к работе, даже, я думаю, к собственным детям. Мы ничего не хотим уступать, все должно быть нашим... Конечно, я немножко утрирую, но вряд ли ошибусь, если скажу, что такая подсознательная ревность — в большей или меньшей степени — есть в каждой из нас, и бесполезно было бы взывать к рассудку, чтобы подавить ее... Все эти рассуждения могут показаться слишком абстрактными, и я вовсе не хочу сказать, что такая ревность обязательно должна быть и у вас...

Сказано было слишком прямо, и Ирина нахмурилась. Таня заметила это и торопливо сказала:

— Может быть, я напрасно говорю об этом, но... поймите меня... я очень не хочу, чтобы между нами были какие-то натянутые, неясные отношения, не хочу быть причиной каких-то недоразумений... И, если уж говорить прямо, не хочу, чтобы отношения между мной и Алешей могли как-то ухудшиться из-за этих возможных недоразумений... Пожалуйста, выслушайте меня! — сказала Таня, заметив нетерпеливое движение Ирины. — Все мы люди далеко не идеальные, и ведь нет ничего унижительного в том, что вас беспокоят эти слухи. Я, разумеется, не собираюсь в чем-то оправдываться и тем более защищать Алешу от всех этих нападок. Но ведь ситуация сложилась не совсем обычная. Подумайте: вы уедете на полгода, а мы останемся здесь, будем встречаться ежедневно, вместе ездить в командировки, и, когда вы снова приедете сюда, вам обязательно преподнесут целый ворох известий: где нас видели, куда мы ездили, что ели и пили... Если, конечно, Алеша не решит, что следует перейти к официальным отношениям начальника и подчиненной, — вдруг с горечью сказала Таня и добавила: — Чтобы уберечь ваш покой...

Таня почувствовала, что говорит не так, как нужно, и умоляюще тронула Ирину за руку:

— Пожалуйста, попытайтесь меня понять... Я все не собираюсь навязывать вам свою дружбу... — И с отчаянием добавила: — Другими мы быть не можем, вы и сами это знаете...

И это отчаяние заставило Ирину необдуманно спросить:

— Вы любите его?

Таня несколько секунд молча смотрела на нее и, опустив глаза, тихо сказала:

— Да... Может быть, мне не следует так говорить, но я не вижу в этом ничего преступного и не вижу, почему я должна это скрывать от вас.

Наступило тягостное молчание. Ирина не знала, что ей делать, как вести себя, и хотела только одного — немедленно прекратить этот разговор и никогда больше не видеть Таню.

— Я понимаю, — наконец заговорила Таня, — как наивно было бы с моей стороны уверять вас, что я не намерена мешать вашему счастью и ничего не хочу от Алеши. Мешать вам я действительно не намерена — и не только потому, то это была бы безнадежная затея. Алеша любит вас, и любая моя попытка как-то... сблизиться с ним, что ли, — неловко сказала Таня, — только оттолкнула бы его от меня. А я не хочу, да нет, просто не могу лишиться его дружбы, это — самое ценное, что есть у меня... Вы, конечно, не можете знать, чем он является для меня, да и вряд ли я смогу объяснить это... Да и нужно ли...

Таня вопросительно взглянула на нее, но Ирина молчала, не поднимая глаз.

— Видите ли, когда я приехала сюда и познакомилась с Алешей, стала работать с ним, учиться у него..., я была такой наивной, неопытной... не побоюсь сказать, примитивной... Знаете, у Антонио Мачадо есть такое четверостишие, может быть, вы слышали его от Алеши. В переводе оно звучит примерно так: «Хорошо, что мы знаем, — стакан для того, чтобы пить из стакана, плохо, что мы не знаем, для чего существует жажда». Если применить эту аллегория к моим тогдашним взглядам, я принадлежала к той довольно многочисленной категории людей, которые знают, что стакан для того, чтобы пить из стакана, но не знают и даже не задумываются о том, для чего существует жажда. Понимаете, что я хочу сказать?

— Да.

— И когда Алеша стал постепенно открывать мне другой мир... Дело даже не в том, что я во многом переняла его литературные и музыкальные вкусы, хотя и одно это уже неизмеримо обогатило меня. Главное, пожалуй, в том, что за внешней простотой, обыденностью многих явлений я научилась видеть вещи куда более сложные, чем это кажется на первый взгляд. Он... А впрочем, — оборвала себя Таня, взглянув на Ирину, — я, кажется, напрасно говорю об этом. Если хотите, давайте закончим этот разговор. Позвольте только сказать еще вот что: я не потому пришла, что опасаясь вашего влияния на Алешу и что под этим влиянием он сам может разорвать наши отношения. Хотя это, по-видимому, и возможно, если вы захотите. Но дело в том, что я ему тоже нужна. Мы, не побоюсь этого слова, очень привязаны друг к другу и понимаем друг друга с полуслова. В сущности, у него, кроме меня, нет больше друзей, и не подумайте, что это говорит моя самонадеянность. И вам, простите уж за прямоту, нечего опасаться, что наши отношения могут зайти чересчур далеко. Это могло раньше случиться, но не сейчас...

«А я и не боюсь», — хотела сказать Ирина, но промолчала, потому что она боялась этого, и сейчас больше, чем когда-либо, и не верила Тане, хотя и не сомневалась в том, что она говорит искренне. И Таня, догадавшись, что означает ее молчание, грустно сказала:

— Кажется, я не убедила вас... Ну что ж, ничего не поделаешь. Но, я думаю, попытаться сделать это все-таки нужно было. В любом случае нельзя допускать, чтобы чьи-то пересуды оказали влияние на решение этого вопроса... важного для всех нас... — добавила Таня.

— Ну что вы,—принужденно улыбнулась Ирина.— Я уже сказала, что не верю этим сплетням и никогда не поверю. Я верю Алеше и не собираюсь заставлять его делать что-то против его воли. И очень хорошо, что вы сами пришли ко мне. Я рада, что мы откровенно поговорили обо всем. Правда, все это было несколько неожиданно для меня...

Она как будто со стороны слышала свой голос и сама себе удивлялась: что заставляет ее говорить так неискренне? Что мешает ей поверить Тане — неужели та самая слепая, безрассудная ревность, о которой говорила Таня? Да, именно это — пришлось признаться себе потом, когда Таня ушла и Ирина, вздохнув с облегчением, стала вспоминать весь разговор. Не верила она не словам Тани — она не верила тому, что между Алешей и Таней не может быть близких, интимных отношений, и пришлось признаться еще и в другом: если бы в ее власти было прекратить всякие отношения между ними, она бы сделала это. Но она знала, что не только не может сделать этого — нельзя даже пытаться что-то изменить, не нужно даже показывать Алеше, как беспокоят ее эти отношения. Она уже достаточно хорошо знала Алексея, чтобы понимать это...

И сейчас, лежа в непривычно густой темноте московской квартиры, она вспоминала этот разговор и задавала себе нелепый, унижительный вопрос: «Все-таки почему он не женился на ней?»

Утром, невыспавшаяся и усталая, она отправилась по делам, и дела эти начисто стерли в ее памяти ночные часы ревности, а когда Ирина вспомнила об этом, с недоумением подумала: «Психопаткой становлюсь, что ли?» И, как всегда после таких приступов ревности, желание увидеть Алексея стало почти невыносимым, и она стала думать, как это сделать. А когда в больнице выяснилось, что операцию ей смогут сделать не раньше вторника, она, еще не веря в свою удачу, спросила:

— А сегодня никак нельзя?

Оказалось, что нельзя,—ведь сегодня суббота, все врачи уже ушли, «мы бы рады помочь, нам уже звонили по поводу вас, почему же вы раньше не приехали, а в понедельник у нас неоперационный день, так что приходите во вторник, к восьми утра», — и Ирина, взглянув на часы, заторопилась на улицу — скорее, скорее. «Господи, пусть мне сегодня повезет!» — суеверно подумала она, усаживаясь в такси. И ей повезло: через три часа она уже сидела в самолете и все еще не верила, что сегодня вечером увидит Алексея. И только когда самолет поднялся, она улыбнулась спокойно, радостно и откинулась на спинку кресла, закрыла глаза. У них будет две ночи и два дня — почти столько же, сколько два месяца назад в Кургане, и можно будет ни о чем не думать — только любить, любить...

Она стала вспоминать эту курганскую встречу и уже не жалела, что потеряла тогда голову и теперь ей предстоит неприятная операция: а потом, толком не оправившись, она вернется в тайгу...

И еще ей вспомнились те первые встречи, когда все только начиналось, и она еще не знала, что станут они мужем и женой, что будут у них впереди бесконечные расставания, встречи и ожидания...

12

Они встретились на берегу холодного осеннего моря, под южным, но в то время почти всегда бессолнечным небом.

С моря на берег неторопливо накатывались низкие, темные облака, часто поливало дождем безлюдные пляжи, пустые набережные. Старожилы

говорили, что в это время года такой мерзкой погоды не было здесь уже лет двадцать, отдыхающие тоскливо поругивали небесную канцелярию, отсиживались в своих комнатах, играли в домино, в карты, скучновато развлекались мелкими курортными интрижками. Ирине в первый же день пришлось довольно решительно отвадить двух воздыхателей, на нее покосились, поворчали и оставили в покое. А ей только это и нужно было. Она подолгу бродила по пляжу, уходила в горы и каждое утро, не обращая внимания на непогоду, купалась, неизменно собирая на берегу завистливых зевак.

И вот однажды, придя на свое любимое место, Ирина увидела Алексея — он стоял, раздетый до пояса, обнажив руками худые плечи, и, поеживаясь, ждал ее приближения. Ирина нахмурилась, но, встретив спокойный, дружелюбный взгляд, вдруг улыбнулась и насмешливо спросила:

— Что, ждете, когда море потеплеет?

— Нет, я вас жду,—ответил он и стал неторопливо раздеваться.

— Меня? — опешила Ирина.

— Ну да,—невозмутимо подтвердил он и, сделав жалобное лицо, протянул: — Вы думаете, очень приятно одному лезть в этот жидкий холодильник?

Ирина засмеялась и, стягивая через голову платье, посоветовала:

— А вы не лезьте.

— Не могу,—серьезно сказал он, окидывая ее одобрителем взглядом, и — странное дело — ей вовсе не был неприятен этот оценивающий мужской взгляд. — Слово себе дал. Как-то неприлично быть на море и не искупаться.

— Вот приезжайте летом и купайтесь на здоровье.

— Мудрый совет. Жаль, исполнить не могу.

— Что так? — вежливо поинтересовалась Ирина.

— Да так уж...

Ирина натянула шапочку и пошла к воде. Алексей неуверенно двинулся за ней и, опасливо окунув в воду одну ногу, нерешительно остановился, скрестив руки на груди.

— Ну, что же вы? — задорно спросила Ирина, стоя по пояс в воде. Ей вдруг захотелось, чтобы он не передумал и поплыл с ней. — Вы же слово дали.

И то верно, — вздохнул Алексей и шагнул в воду. Ирина расхохоталась, глядя на его отчаянное лицо, и, набрав пригоршню воды, плеснула в него. Он смешно ойкнул, попятился было назад, но Ирина еще раз окатила его водой и сказала:

— Да окунитесь вы поскорее, сразу теплее станет!

— А, была не была... — махнул рукой Алексей и бросился в воду.

Ирина, не оглядываясь, поплыла вперед, не сомневаясь, что он последует за ней. А когда оглянулась — увидела, что он барахтается у самого берега, и крикнула:

— Плывите сюда!

Ответа она не расслышала и повернула к берегу. Приглядевшись к его неловким движениям, она изумленно спросила:

— Да вы что, плавать не умеете?

— Почти, — с трудом выговорил Алексей, и Ирина испуганно сказала:

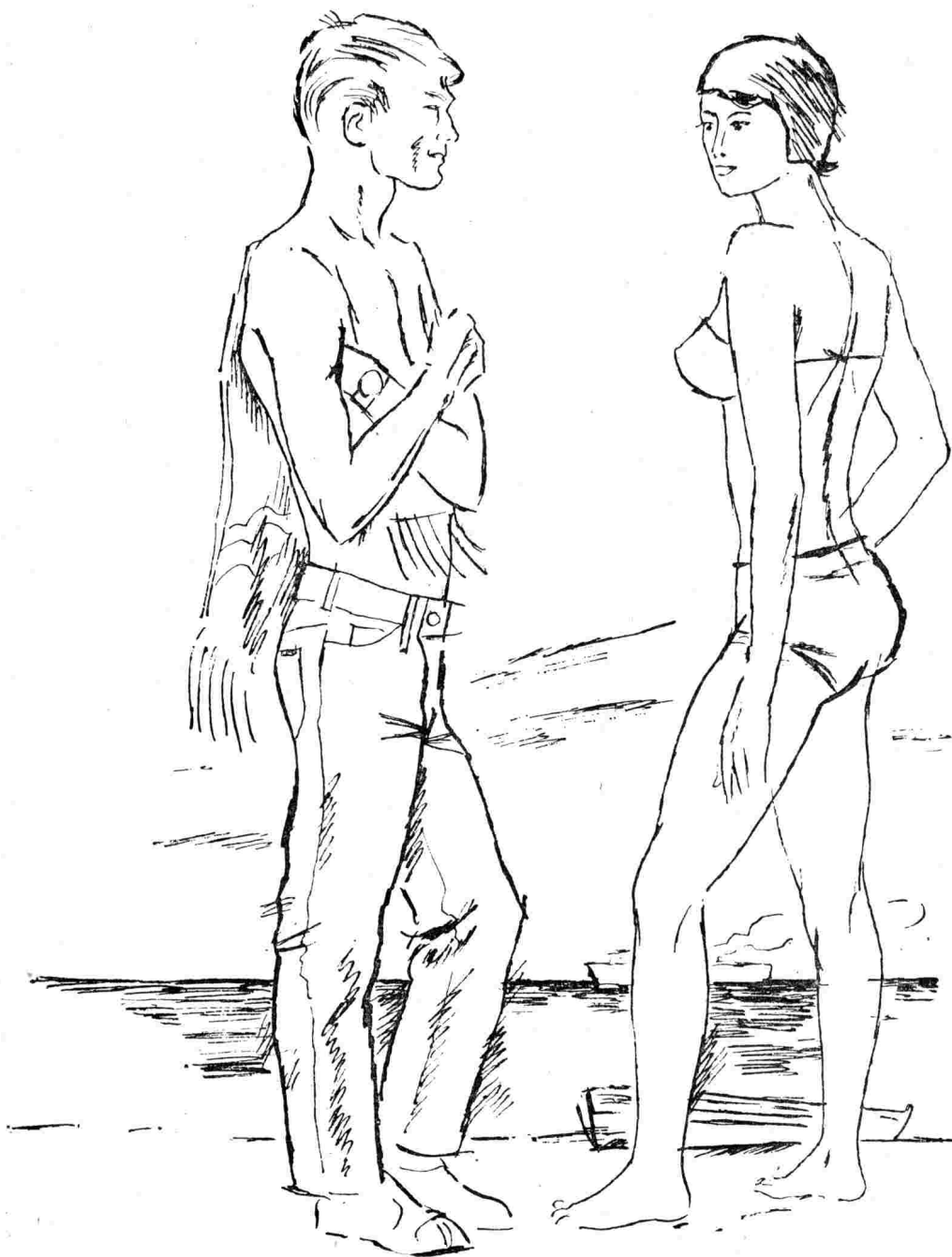
— А ну, марш на берег!

— С-су... с-су... с удовольствием, — еле выговорил он, сотрясаясь от крупной дрожи.

На берегу Ирина принялась растирать его полотенцем — сам он почти не мог шевелить руками.

— Да разве можно так! — сердито сказала она ему. — Кстати, как вас зовут?

— Алексей.



— С чего это вам вздумалось корчить из себя моржа? Мужское самолюбие заело?

Он отрицательно мотнул головой и признался:

— Я не думал, что это так... скверно. А искупаться и в самом деле хотелось. Один бы я не решился, а с вами...

Его все еще била дрожь, и Ирина приказала:

— Бегите в кабинку, выжимайтесь.

Он послушно заковылял к кабинке. Ирина с жалостью посмотрела на его худую, нескладную фигуру, огорченно подумала: «Простудится...»

Когда Алексей вернулся, Ирина озабоченно осмотрела его — выглядел он просто жалко. Он еще пытался улыбаться, но и улыбка вышла жалкая, кривая.

— Живо одевайтесь, — сказала Ирина и направилась к кабинке. — И подождите меня.

— Слушаюсь.

Ирина быстро переоделась и вернулась к нему.

— Идемте, вам надо чего-нибудь выпить.

— Это идея, — охотно согласился Алексей и очень похоже скопировал ее: — Опять же кстати — как вас зовут?

— Ирина, — улыбнулась она, а он серьезно спросил:

— А скажите, Ира, откуда берутся такие женщины, как вы?

— Это как понять?

— Ну, почему я, мужчина, царь природы, — он ду-

рашливо стукнул себя кулаком в грудь, — так оскандалился с этим купанием, а вам оно только на пользу?

Ирина покосилась на него и сердито сказала:

— Так вам и надо, не лезьте куда не следует.

— Вы не ответили на мой вопрос.

— Вы что, хотите, чтобы я похвасталась перед вами? — насмешливо спросила Ирина.

— Да нет, что вы... Я серьезно спрашиваю.

— Ах вот как, вы серьезно...

— Ну да...

Он остановился и, втянув голову в плечи, сказал:

— Я уже два дня наблюдаю за вашими купаниями и, ей-богу, завидую вам. Этому трудно научиться?

— Вот уж не знаю, — сказала Ирина. — Наверно, это просто случайное стечение обстоятельств. Я родилась и выросла на Севере да и сейчас там работаю.

— И что вы там делаете?

— Я геолог.

— Снимаю шляпу, — без тени улыбки сказал Алексей. — Впервые вижу женщину-геолога. А впрочем, и вообще геолога. В нашем городе таких специалистов не водится.

— А что это за город?

Он сказал. Ирине это название ничего не говорило, для нее это был один из десятков провинциальных городов, и только.

Они пошли в ресторан, и Ирина с удивлением увидела, что после первой же рюмки коньяка Алексей как будто опьянел — глаза у него заблестели, движения стали широкими, размашистыми. А он, заметив ее удивление, сказал, смеясь:

— Я еще не пьян, но скоро буду. Не то чтобы очень, а так, средненько. Из меня, знаете ли, питух примерно такой же, как и пловец.

— При чем тут петух? — не поняла Ирина.

— Не петух, а пи-тух, — раздельно сказал Алексей. — От слова пить. Так говорит моя бригадная шантрапа.

Жаргонные словечки казались неестественными в его речи, да они и были такими, как потом убедилась Ирина.

Вообще же в первые минуты ресторанного застолья Алексей произвел на нее впечатление несколько странное и не совсем благоприятное. Неприятно покорибила Ирину та легкость, с которой он бросался деньгами: Алексей зачем-то заказал все закуски, значившиеся в меню, и, наконец, принес из буфета огромный ананас.

— Послушайте, Алексей, — довольно сухо сказала Ирина, — к чему такие купеческие замашки?

— Купеческие? — удивился Алексей, и Ирина подозрительно посмотрела на него: удивление казалось искренним.

— Да, — она показала на густо уставленный тарелками стол. — Во-первых, мы просто не в состоянии все это съесть...

— Не беда, — отмахнулся Алексей. — Хотя бы попробуем.

— А во-вторых, все это приготовлено довольно скверно.

— Очень может быть, — согласился Алексей. — А в-третьих?

— У вас что, очень много денег?

— Много, — сказал Алексей так просто, что Ирина недоуменно подумала: «Разыгрывает он меня, что ли?» Алексей, глядя на нее, сказал просящим тоном:

— Только, бога ради, не подумайте, что я собираюсь поразить вас толщиной своего кошелька. Дело в том, что я впервые за довольно-таки долгое время оказался в таком непривычном положении: никаких забот, уйма свободного времени и денег... В общем,

отдыхай в свое удовольствие. Но, к сожалению, отдыхать я не научился и большого удовольствия от этого пока не испытываю. Или это тоже выглядит как хвастовство?

— Нет, почему же, — смягчилась Ирина, разглядывая его. — Вид у вас действительно довольно усталый... Послушайте, а ведь у вас температура, — сказала она, заметив красные пятна на его щеках.

— Это уж точно, — с каким-то непонятным удовольствием согласился Алексей. — Тридцать восемь, не меньше.

— А ну-ка...

Она тронула его за руку — Алексей тихо засмеялся, и Ирина с недоумением спросила:

— А чему вы радуетесь? Тому, что простудились?

— Ну, допустим, не этому... Хотя и печалиться здесь тоже нечему. Отлежусь день-два — и все.

— Вам надо поскорее лечь в постель.

— Успеется.

— Не храбрится, хватит на сегодня. Допивайте свой коньяк, и пойдем.

— А вы проводите меня?

Ирина внимательно посмотрела на него и смутилась: в глазах Алексея было такое открытое ожидание, нежелание расставаться с ней, что она отвела взгляд и тихо сказала:

— Если хотите...

— Очень хочу, — сказал он так естественно и просто, что Ирина, не чувствуя больше никакой неловкости, спросила:

— Какие-нибудь лекарства у вас есть?

— Никаких, разумеется. Зайдем по пути в аптеку и купим.

— А где вы остановились?

— В «Эльбрус».

Ирина знала, что «Эльбрус» — фешенебельный дом отдыха, и недоверчиво посмотрела на него. Но еще больше удивилась она, когда Алексей привел ее в просторный номер с телефоном и ванной, уставленный тяжелой роскошной мебелью.

— Вы что, один занимаете эти апартаменты?

— Да.

— Надо полагать, вы важная шишка, — насмешливо сказала Ирина.

— С чего вы взяли?

— А как же вас угораздило попасть сюда?

— А, вон вы о чем... Нет, разумеется. И поверьте, если бы я знал, что такое этот «Эльбрус», то предпочел бы другое место.

— Почему?

— Да вы представить себе не можете, какая здесь тоска! Тут же одни старики — важные, чинные, скучные. Да и смотрят они на меня как на белую ворону. Я уже успел поцапаться с одним тут. И из-за чего, вы бы думали? Он, видите ли, нашел, что я слишком быстро хожу по коридору, и решил сделать мне внушение. Видимо, удивляется: что это за тип объявился среди них?

— А в самом деле, что вы за тип? — засмеялась Ирина.

— Что вы имеете в виду?

— Ну, хотя бы вашу профессию.

— Я инженер, — сказал он таким тоном, что Ирина не стала больше расспрашивать его и сказала:

— Раздевайтесь — и в постель. Может быть, вызвать врача?

— Ну, это лишнее. С вашего позволения, я на минутку выйду.

Алексей вышел в ванную, а Ирина стала с любопытством оглядывать стол с книгами. Книг было много, половина из них на французском и, кажется, на итальянском языках, все больше стихи. А из русских книг — библия, сборник рассказов Леонида Андрее-

ва — дореволюционное издание, «История умственного развития Европы» какого-то Дрэпера, год издания 1873, «Тотем и табу» Фрейда, томик писем Пушкина. «Однако,— подумала Ирина,— если он и в самом деле инженер, то...» А что «то», она не додумала — вернулся Алексей, и она сказала, не оборачиваясь:

— Укладывайтесь, я не смотрю на вас.

— Слушаюсь.

Он лег в постель и снисходительно разрешил:

— Можно смотреть.

Ирина обернулась и невольно засмеялась: Алексей лежал, смирно вытянув руки поверх одеяла, и с обреченным видом смотрел на нее.

— Лекарство выпили?

— Да,— вздохнул Алексей.

— Вам еще что-нибудь нужно?

— Да. Чтобы вы позвонили вечером.

— Хорошо,— согласилась Ирина.— А теперь попытайтесь заснуть.

— Когда вы позвоните?

— В шесть.

Ирина ушла, долго бродила по берегу, вернулась в свой дом отдыха — и с удивлением обнаружила, что ждет шести часов. Рассердившись на себя, она выдержала лишних двадцать минут. Алексей тут же взял трубку.

— Это я,— сказала Ирина.

— Да, это ты,— медленно сказал он неожиданные слова.— Почему ты опоздала?

И Ирина, почему-то не удивившись ни этому «ты», ни его словам, сказала, улыбаясь черной телефонной трубке:

— Наверно, потому, что мне самой хотелось позвонить.

— Ты придешь?

— Да.

— Я жду.

Алексей встретил ее неудержимо-радостной улыбкой, и Ирина улыбнулась ему в ответ.

— Как твоя температура?

— Хорошая температура,— весело сказал Алексей, глядя на нее улыбающимися, блестящими глазами.— Тридцать восемь и три.

— Однако,— неодобрительно качнула головой Ирина.— А горячая вода в этом люксе имеется?

— В этом люксе все имеется.

— Тогда снимай-ка рубашку.

— А что ты собираешься делать?

— Поставлю горчичники.

— А это обязательно? — жалобным тоном спросил он.

— Да.

Алексей вздохнул и покорно стал снимать рубашку.

И, прикасаясь к его горячему телу, Ирина уже не удивлялась своей нежности к нему, возникшей неизвестно откуда и почему, и, когда Алексей осторожно взял ее руку и прижал к своей щеке, она не только не отняла руки, но и положила другую ему на лоб и серьезно сказала:

— Хоть руки у меня и не совсем похожи на женские, но если тебе так нравится, я ничего не имею против.

— У тебя замечательные руки.

— Если не считать того, что они шершавые.

— Самую малость. Тебе приходится возиться с тяжестями?

— Иногда.

— И мужчины позволяют тебе это?

— Почему же нет?

— Вот этого я не понимаю... Ты расскажешь мне о своей работе?

— Да. Потом.

Он посмотрел на свои ладони и огорченно сказал:

— А вот я типичный белоручка. Даже от ручки чехомодана у меня может вскочить волдырь.

Он поморщился, и Ирина спросила:

— Очень жжет?

— Да.

— Сейчас сниму.

— Если нужно, я могу потерпеть,— неуверенно сказал он, и Ирина засмеялась:

— Не нужно, хилое дитя двадцатого века.

— Ну, не такой уж я хилый,— нарочито обиженным тоном возразил Алексей, но, заметив, что она смотрит на часы, встревоженно спросил:

— Ты уже собираешься уходить?

— Нет.

— Сколько ты можешь пробыть здесь?

— Долго,— не сразу сказала она.

— Ты замужем?

— Нет,— сказала Ирина и растерянно подумала: «Да что это со мной? Он говорит так, словно уже решил, что мы будем принадлежать друг другу, а я почему-то принимаю это как должное...»

Она еще не знала, что уже завтра, когда наступит ночь, она останется в номере Алексея, и, когда он предложит ей это, она не только не удивится, не только не оскорбится и не вознегодует, но просто скажет ему «да». И так было: они сидели в сумерках, Алексей был уже почти здоров, и Ирина встала, чтобы зажечь свет, пошла мимо него, и Алексей осторожно, но властным движением взял ее руку и тихо сказал:

— Может быть, это и опрометчиво с моей стороны, но я не вижу причины, почему я не должен говорить об этом. Я не хочу, чтобы ты уходила отсюда. И ты тоже не хочешь.

И она сказала:

— Да.

И была их первая ночь — одна из тех ночей, которые запоминаются навсегда, ночь, наполненная лаской, любовью, нежностью и минутами, когда вдруг кажется, что все это во сне, потому что такого не только никогда не было ни у него, ни у нее, но и не верилось, что такое может быть, и становилось грустно и страшно при мысли о том, что ничего этого больше не будет. И когда пришла первая минута такого страха, Ирина вся сжалась и вздрогнула, услышав тихий голос Алексея:

— Что с тобой, родная моя?

И она не удивилась, как он мог заметить ее страх — ведь в комнате было темно, — и промолчала, и тогда этот страх передался Алексею, он включил лампу над изголовьем и, наклонившись над ней, быстро спрашивал, глядя на нее тревожными, умоляющими глазами:

— Что ты решила? Ведь ты не уйдешь от меня, скажи, не уйдешь?

— Нет,— солгала она так естественно, что Алексей поверил ей и радостно сказал:

— Ну, конечно, что это взбрело мне в голову...

И хотя она знала, что ей придется уйти от него — кончится ее отпуск, придется возвращаться в Москву, а весной отправляться в очередную экспедицию, — она улыбнулась и, прижав его голову к своей груди, зашептала ему в ухо:

— Ну, конечно, тебе все это померещилось... Как можно уйти от тебя, глупышка, худышка... И почему ты такой худой? — И вдруг с изумлением сказала: — А я даже не знаю, женат ли ты...

Он засмеялся тихим, легким смехом:

— Иринка, Иринка, любимая моя... Ну как я могу быть женатым?

И она вздрагивала от наслаждения, чувствуя при-

косновения его губ, и не то что слушала — жадно впитывала в себя его слова, не понимая их смысла, — каждое слово само по себе было необыкновенно важным и значительным только потому, что это были его слова, произнесенные его голосом, и обращены они были к ней....

— Какая ты большая и красивая... Где ты была раньше? Почему мы встретились только сейчас? Сколько людей смотрели на тебя, разговаривали с тобой за эти годы — почему меня не было среди них?

И еще какие-то слова на понятном только им двоим языке.

Они заснули под утро, и Ирине снилось, что Алексей обнимает ее, и ей не хотелось просыпаться. А когда проснулась и сразу не увидела, — почувствовала, что Алексея рядом нет, разочарование остро кольнуло ее, но она тут же услышала плеск воды в ванной и тихо, счастливо засмеялась. Она неторопливо оделась и подошла к столу, снова стала смотреть книги, и то, что среди этих книг не было ни одной, которую бы она читала, заставило ее тревожно подумать: «Я совсем не знаю его...»

На следующий день она спросила его:

— Почему ты стал инженером?

Алексей помедлил:

— А кем я должен был стать? Филологом, языковедом, историком или еще чем-то в этом роде?

— Это было бы естественно.

— Ты так думаешь? Почему?

— Ну, как почему? — неуверенно спросила она. — При твоих знаниях и способностях к языкам...

— Твой вопрос вполне естествен, когда-то и для меня он был очень непростым. Но я довольно рано понял, что все человеческие дела можно разделить на две категории: на созидание чего-то и на описание этих созиданий. На первичное и вторичное. Шекспировский «Гамлет» — всего лишь одна из его трагедий. Но с тех пор о ней написаны тысячи работ. Я, возможно, мог бы написать еще одну, но не вижу, зачем это нужно. Не потому, что это вообще не нужно, а просто потому, что меня это не устраивает. Я не отказался бы писать новых «Гамлетов», но бог не дал таланта. Поэтому я предпочитаю делать машины. Как видишь, все очень просто. И это, кстати, очень интересно...

Но это было на следующий день. А тогда, услышав шаги Алексея, она, не оборачиваясь, стала ждать, когда он подойдет и обнимет ее, и, когда он сделал это, она закрыла глаза и сказала:

— Скажи какое-нибудь слово из тех, что ты говорил мне ночью.

— Любимая, — прошептал он, и Ирина обернулась и накрыла его губы ладонью.

— Хватит... Я просила только одно слово...

Алексеем. Это не было ревностью — к кому она могла ревновать в то утро, когда он обнимал ее и она повернулась, чтобы накрыть ладонью его губы и сказать: «Хватит... Я просила только одно слово...»? Что заставило Ирину спросить его, когда он поцеловал ее и отстранился, разглядывая ее:

— Слушай, а что ты за человек?

Она хотела, чтобы вопрос прозвучал шутливо, и с удивлением убедилась, что шутки не получилось. А он как будто совсем не удивился ее вопросу, серьезно сказал:

— Я? Как тебе сказать... Сам я скорее честен...

— Честен? — недоуменно переспросила Ирина.

— Да... И все же я мог бы обвинить себя в таких вещах, что лучше бы моя мать не родила меня на свет; я горд, мстителен, честолюбив; к моим услугам столько преступлений, что мне не хватает мыслей, чтобы о них подумать, воображения, чтобы придать им облик, и времени, чтобы их совершить...

— Хороший способ ускользнуть от объяснений, — засмеялась Ирина. — Откуда это?

— Из «Гамлета». Тебе не бывает обидно, что очень многое — если не все — из того, что ты могла бы сказать и подумать, уже кем-то сказано?

— Я как-то не задумывалась об этом, — призналась Ирина.

— И правильно делала, — неожиданно похвалил Алексей, и это заставило ее подумать: серьезно он говорит или шутит?

Потом, когда они ходили по набережным и разговаривали и, как и вчера, говорил больше Алексей, а она слушала, не переставая изумляться разнообразию и глубине его знаний, это беспокойство вновь овладело ею, и Ирина уже понимала, что беспокоит ее не только то, что его внутренний мир неизмеримо более богат и сложен, чем ее собственный, но и то, что она не всегда может понять отношение Алексея к тому огромному богатству, которым он владел. Он, казалось, с одинаковым увлечением говорил о культуре Полинезии, Ордене иезуитов, дружбе Горького и Андреева, о Ницше. Некоторые имена и названия она вообще слышала впервые.

Ирина молча шла рядом с ним — Алексей вдруг показался ей: далеким, чужим, и неприятно было думать, что она до конца так и не сможет понять его. И тут Алексей остановился и положил ей руку на плечо:

— Ира...

— Да?

Она подняла на него глаза.

— Давай вернемся в нашу комнату.

Она сразу согласилась:

— Хорошо.

И с радостным удивлением подумала: «Ну вот, и совсем не надо ждать ночи...»

Потом, положив голову ему на плечо, Ирина спросила:

— А откуда ты так хорошо знаешь французский?

— Ну, в этом нет никакой моей заслуги. Меня воспитывала бабушка, а она говорила по-французски не хуже, чем по-русски.

— А родители?

— Я их не помню.

Ирина приподнялась на локте.

— Совсем не помнишь?

— Да. Отец умер, когда мне было два месяца.

— А мать?

— Когда мне не было еще и года. Она простудилась и умерла от воспаления легких. Так по крайней мере мне всегда говорила бабушка.

Ирина поцеловала его в плечо и тихо сказала:

— Милый мой.

13

Ровный тугой гул двигателей убаюкивал ее, но Ирина не спала и знала, что не заснет, как всегда, в последние часы перед встречей с Алексеем. Эти часы всегда волновали и беспокоили ее, и она каждый раз принималась убеждать себя, что причин для беспокойства нет и не может быть. И все-таки это беспокойство, начавшееся еще тогда, в то утро после их первой ночи, никогда не покидало ее. Ирина могла неделями не вспоминать о нем, но потом оно обязательно приходило, вставало за строчками его писем, в воспоминаниях о какой-нибудь фразе, случайно оброненной

Алексей улыбнулся.

— А бабушка у меня была замечательной женщиной. Когда мать умерла, бабушке было пятьдесят шесть лет, и ни одного родственника, представляешь? Жили мы тогда в Москве. Комнатушка была маленькая. Потом война, эвакуация, голод. Она ничего не умела делать, даже разжечь примус, и никакой специальности, кроме знания четырех языков. Ей всему пришлось научиться. Потом я даже подсмеивался над ней, говорил: «Для образованной интеллигентки ты слишком хорошо владеешь метлой и лопатой», — ей довольно долго пришлось работать уборщицей. Жили мы с ней душа в душу. Знания у нее были энциклопедические, и она передавала их мне так естественно, что я даже не замечал этого. Попросит, например, почистить картошку, сама сидит рядом, шьет и как бы между прочим преподнесет мне увлекательнейшую лекцию и расскажет о картошке все, что известно. И языкам я выучился легко, словно играючи. Еще в школу не ходил, а по-французски и итальянски болтал свободно.

— А еще какие-нибудь языки знаешь?

— Да, английский и испанский, и тоже от бабушки.

— Она жива?

— Нет. Умерла девять лет назад. Иногда мне кажется, что она прожила бы еще лет десять, если бы знала, что я не смогу без нее обойтись. Но я тогда уже встал на ноги, и она за какой-то год сдала совсем. Для меня ее смерть была страшным ударом... — Алексей повернулся к Ирине и обнял ее. — Потом я как-нибудь расскажу о ней... А сейчас спи.

— А ты?

— Я тоже буду спать.

Ирина заснула и, когда открыла глаза, увидела, что Алексей лежит рядом и смотрит на нее.

— Ты не спишь?

— Нет, — улыбнулся он. — Я смотрел, как ты спишь.

— Как же я сплю?

— Наверно, ты спишь красиво, — медленно сказал Алексей. — Я просто не думал об этом. У тебя было такое лицо...

— Какое?

Он приподнялся и наклонился над ней. Глядя ей прямо в глаза, он очень серьезно сказал:

— У тебя было такое лицо, что я понял: я должен видеть, как ты спишь, еще много раз, иначе... — Он помедлил и спросил: — Ты выйдешь за меня замуж?

— Да, — сказала Ирина и повторила, закрыв глаза: — Конечно, я выйду за тебя замуж...

А сама с отчаянием подумала: «Да как же это сделать? Что же дальше будет?»

И Алексей понял ее и больше не заговаривал об этом. И потом оба вели себя так, словно каждый про себя вел счет не только оставшимся дням, но и часам и минутам, и инстинктивно избегали всего, что могло омрачить их счастье, так неожиданно-негаданно пришедшее к ним...

Однажды у Ирины невольно вырвалось:

— Ты мог бы перебраться в Москву?

— Да, — не сразу сказал Алексей. — Но сейчас этого лучше не делать.

Ирина покраснела и опустила голову. Алексей наклонился к ней, положил руки на плечи и засмеялся:

— Ирка, ты сейчас совсем как девчонка после первого поцелуя... Даже не верится, что ты командуешь оравой грубых мужиков и они еще и подчиняются тебе... Это правда или ты все выдумала?

— Ну, конечно, выдумала, — улыбнулась Ирина. — Чтобы показаться оригинальной и чтобы ты сильнее любил меня. Тебе ведь не нужны заурядные женщины, да?

— Мне никакие женщины не нужны, — сказал

Алексей, глядя прямо на нее. — Никакие, кроме тебя. А сейчас я тебе объясню, почему мне пока нельзя уезжать из этого города, а потом мы вместе подумаем, как нам быть. Видишь ли, я хотя и довольно много говорил тебе о своей работе, но главного, пожалуй, не сказал. Дело не только в том, что мне трудно найти замену и я очень нужен заводу... Мне этот завод нужен еще больше, чем я ему, и только там я смогу делать все, на что я способен...

— Я понимаю, — торопливо начала Ирина, но Алексей мягко остановил ее:

— Подожди, Иринка, сейчас ты действительно все поймешь. Вычислительные машины — это необыкновенные машины, но вовсе не потому, что они сложнее любых других. Появление их можно сравнить разве что с открытием электричества и расщеплением атома. Не думай, что я просто возвожу на пьедестал то дело, которым занимаюсь. Поразмысли-ка вот о чем. Ведь все машины, которые до сих пор знало и изобретало человечество, предназначались только для того, чтобы как-то облегчить или заменить физический труд людей. А вычислительная машина — первый инструмент, который способен заменить — в какой-то мере, конечно, — человеческий мозг. А это, в сущности, означает качественно совершенно новую ступень не только в развитии техники, но и в самом человеческом мышлении. Без всякого преувеличения можно сказать, что эти машины должны перевернуть многие наши обычные представления. Должны, но, к сожалению, этого пока почти нет. Большинство смотрит на них просто как на усовершенствованные арифмометры — а это все равно что стрелять из пушки по воробьям. Машина по самой своей сути — не конкретная машина, конечно, а вычислительная машина — вообще явление крупномасштабное, предназначенное для объединения целых отраслей хозяйства в единую, жестко работающую систему, и подход к ней нужен особый. Понимаешь, в чем тут дело...

Алексей с досадой щелкнул пальцами и заходил по комнате.

— Жаль, если я не сумею тебе объяснить... Оставим пока в стороне чисто научные задачи, где машина является достаточно автономной, хотя и тут возможности открываются грандиозные. В математической физике, например, есть тип многомерных задач, к которым без машины и приступать бесполезно — для решения только одной такой задачи даже машине, делающей два миллиона операций в секунду, требуется полтора-два года. Но машина способна на большее! В Соединенных Штатах, например, семьдесят процентов всех решаемых задач относятся к типу так называемых транспортных. Если примитивно объяснить, то это значит решить, как из пункта А в пункт Б доставить какой-то груз с наименьшими затратами, учитывая все обстоятельства — скорость передвижения, вид транспорта, состояние дороги и прочее в том же духе. А теперь вообрази, что пунктов не два, а несколько десятков, грузов — сотни наименований, и все это связано друг с другом порой самым неожиданным образом. Экономический эффект от решения только одной такой задачи — по меньшей мере несколько миллионов рублей. Но чтобы ставить и решать такие задачи, нужны специалисты высочайшей квалификации. Ну, специалисты в конце концов будут — российская земля талантами никогда бедна не была, научимся и это делать. Да только мало этого! Надо еще добиться, чтобы сотни людей, работающих в этих десятках пунктов, осознали всю важность своего дела. Ведь информация обо всех этих пунктах, наименованиях, условиях должна быть возможно более точной, полной, своевременной, только тогда она имеет смысл. Нужно проде-

лать огромную предварительную работу по сбору этой информации. Нужно, чтобы каждый, кто связан с этим делом, хорошо понимал, что даже незначительная его ошибка может привести к неисчислимым последствиям. Нужно, наконец, чтобы руководители этих десятков предприятий смотрели хотя бы чуть дальше собственного носа... Ох, как многое еще нужно! А что пока получается? Даже мы сами, кто занимается этими машинами, не можем еще избавиться от безалаберности, невнимательности, привычки работать на «авось». О, вот тебе простенькая, но весьма наглядная иллюстрация...

Алексей бросил на стол тоненькую книжку, заполненную ровными плотными колонками цифр.

— Это сборник программ для наших машин. Над этой тощенькой книжицей работали несколько десятков человек в течение года. Это единственный способ объяснить с машиной, без такого переводчика она совершенно беспомощна. Программы эти отпечатали, разослали по машинам, а вскоре оказалось, что половина из них не работает. Почему? Да сущий пустячок, по нашим обычным представлениям. Вот, посмотри на пометки. В одной программе вместо шестерки была семерка, в другой — выпала одна цифра, в третьей две строчки поменялись местами, ну и прочее в том же духе. Ерунда? А программа из-за этого полностью непригодна, и на местах ее исправить невозможно — там ведь не знают логики составителей этих программ, да и знаний, как правило, не хватает. А можно было обойтись без таких опечаток? Теоретически да, а на практике вряд ли. Ведь все давно привыкли к тому, что в любом деле возможны какие-то ошибки. Но если, допустим, какой-то конструктор в описании работы, к которой он приступает, прочтет «изменение», это действительно ерунда, на которую не стоит обращать внимания, он-то отлично знает, что это слово означает «изменение». И девять человек из десяти наверняка даже не заметят этой опечатки. Но для машины-то такое «изменение» — нонсенс, бессмыслица! И она сразу скажет «стоп, дальше не поеду» или выдаст такую ахинею, что глаза на лоб полезут! Вот тебе результат — прошло еще полгода, пока из этой книжки вылавливали блох, потом перепечатывали, снова рассылали, а машины-то в это время работали вполсилы, кормить их было нечем! А в следующей книжке все равно были опечатки, и опять все сначала! Представляешь?

— Да, — покачала головой Ирина.

— И ведь как трудно ломать этот психологический барьер! — продолжал Алексей. — Потому что вся предыдущая техника основывалась на системе допусков — плюс-минус туда-сюда. А вычислительная машина никаких допусков не приемлет, ей нужно все абсолютное, стопроцентное, ничего хоть сколь-нибудь неопределенного, она ведь не может разобратся, что это за ошибка — то ли опечатка, то ли кто с похмелья загнул такое, что все сооружение завалится... Да если бы только в этом было дело! Сплошь и рядом те, кто приобретает эти машины, понятия не имеют, на что она способна, что ей нужно, что она может делать и чего не может. Дело до анекдотов доходит. Поехал я прошлой весной в один городок сдавать машину. А там раньше еще одна наша же машина была, года за полтора до этого поставили. Зашел туда посмотреть, как дела. Оказалось, что работает она часа два в сутки, инженеры плохонькие... Стал смотреть, что же они решают на ней — и за голову схватился: такая ерунда, которую на двух «рейнметаллах» сосчитать можно. Спрашиваю руководителя этой конторы: «Зачем вы машину покупали?» Даже обиделся: «Что мы, хуже других?» И тычет мне какое-то постановление о всемерном

внедрении вычислительной техники. А мне ребята с машины проговорились, что они больше музыкальные программы крутят, чем счетом занимаются...

— Музыкальные программы? — удивилась Ирина.

— Ну да, разве я тебе не рассказывал о них?

— Нет.

— В общем, чепуха несусветная, ребята из КБ на досуге развлекались. Понимаешь, там динамик введен, чтобы на слух контролировать тесты и ход решения задач. Ну, кто-то ради хохмы запрограммировал сначала «Полонез» Огинского — делается это просто, — потом еще что-то, в общем, составили целую библиотеку таких, простите за выражение, музыкальных номеров. Голос у машины монотонный, — обертона она не воспроизводит, да и незачем, — и, по-моему, довольно противный, но экскурсанты обычно рты до ушей разевают, когда услышат этукую «чуду». Но самое-то смешное, что машина вообще на ладан дышать может, — а там, в этом городке, так и было, — а музыку эту будет выдавать отменно, для нее это пустячок. Ну, еще и рисовать ее обучили — слонов там всяких, свиней. Цирк, да и только! Так вот, этот обидчивый дядя, по-моему, и клюнул на все эти финтифлюшки, а машина им вовсе ни к чему была. И ведь не спросишь с него: поди докажи что-нибудь, он тут такое словоблудие разведет, что хоть святых выноси!

Алексей, рассказывая ей это, все больше раздражался, размахивал руками, быстро дымил сигаретой.

— Но это, конечно, уникальный пример головотяпства со взломом, я все-таки добился, чтобы эту машину другим передали...

— А говоришь, что ничего доказать нельзя, — невольно улыбнулась Ирина, но Алексей сердито нахмурил брови.

— Знала бы ты, чего мне это стоило! Одних комиссий штук пять было, пуды бумаги исписали, пока удалось доказать, что черное — это черное, а не белое. Но ты думаешь, это самая главная беда? Вот, возьмем опять эти же программы... Уж всем, кажется, ясно, что без них машина никуда, — а что из этого? Программ катастрофически не хватает, и черт знает, когда их будет хватать! Это же все равно, что нарывать кучу голопузых младенцев и в январский мороз выставить их на улицу, авось, перебеются...

Ирина засмеялась. Алексей недовольно покосился на нее:

— Что тут смешного?

— Ой, Алеша, ты так говоришь...

— А! — махнул рукой Алексей. — Ну, ладно, тут еще как-то можно понять — машины эти многих захватили врасплох, не мудрено и дров наломать. Начинать всегда трудно, это всем известно. Не так-то просто быстро создать целую армию новых специалистов. Но ведь и сейчас можно было бы многое делать, надо только пошире смотреть, чуть-чуть от старых инструкций отступить.

Алексей до того разволновался, что у него задергалось веко, и Ирина сжала его руки:

— Ну что ты так? Успокойся, Алеша...

Он виновато улыбнулся.

— Да не могу я спокойно говорить об этом. Теперь ты понимаешь, что значит для меня моя работа, почему я сейчас не могу уехать отсюда?

— Да, милый...

— А скоро вообще времена наступят нелегкие. Тут еще такая проблема стоит, что и не знаю, как мы выкарабкаемся...

— Что такое?

— Видишь ли, наш завод был первым и до сих пор дает примерно половину всех машин, и пока что они лучшие. Но дело в том, что вычислительные машины вообще очень быстро стареют, есть даже

такой термин — «моральное старение», ты, может быть, слышала...

— Да.

— Так вот, наши машины морально уже устарели, их надо снимать с производства и запускать новые модели, полупроводниковые. На других заводах такие модели уже разработаны и скоро будут выпускаться. А мы пока не можем этого сделать, потому что машин мало и от нас их требуют все больше, и пока другие заводы не наладят производство своих моделей, перестроиться нам не удастся. Вот и получается, что в один прекрасный день из передовых мы окажемся в хвосте, а потом попробуй догони. Надо заранее готовиться к такой перестройке. А кто же это будет делать? Вот мы и дерем горло на всяких созвездиях, пишем бумаги, доказываем очевидное...

— Кто это «мы»?

— А ты думаешь, один я такой умный? — покосился на нее Алексей. — Странников у нас немало, а противников еще больше, даже на нашем же собственном заводе.

— А они-то почему против?

— Да потому, что старые машины выпускать и надежнее, и спокойнее, и прибыльнее. А новые пока до ума доведешь... Вот и отбрасываются: мы когда-то первыми были, теперь пусть другие помучаются, не все за нашей широкой спиной отсиживаться. Это верно, что помучились мы немало, пока не научились надежные машины делать, — да ведь надо же не только о сегодняшнем дне думать. В общем, драчка предстоит пресерьезная, и не на один день... Ну ладно, хватит об этом, заговорил я тебя...

— Ну что ты, это же так интересно... Да и мне нужно об этом знать. Я хотела бы все о тебе знать, — тихо сказала Ирина, обнимая его. — Все, понимаешь? Ты еще расскажешь мне?

— Да... Все, что ты захочешь...

14

Казалось тогда Ирине — жизнь у нее началась новая, неудержимо отдаляющаяся от той, прежней, представлявшей теперь все более незначительной. Она признавалась Алексею:

— Знаешь, только с тобой я по-настоящему почувствовала себя женщиной. Даже не верится, что когда-то я уже была замужем — ничего не вспоминается, кроме каких-то пустых разговоров и житейских мелочей.

— А почему вы разошлись?

— Да ведь я выскочила-то по глупости, мне же двадцати еще не было, что я тогда понимала? А, да и не хочу я вспоминать об этом, так давно это все было.

Отпуск Алексея подходил к концу, и Ирина все чаще думала: что же делать? И минутами казалось ей, что все так должно и кончиться: они разведутся и больше никогда не встретятся. Но она тут же гнала от себя такие мысли и однажды совсем было решила, что бросит свою работу, уедет с Алексеем, а там видно будет...

А решилось все очень естественно и просто. Они сидели в ресторане, и Алексей сказал:

— Я взял билеты на двадцать четвертое.

— Билеты? — переспросила Ирина.

— Ну да, билеты. Рейс пятьсот девяносто два, в одиннадцать сорок пять, места двенадцать «а» и «б».

Ирина промолчала, и Алексей продолжал:

— Даже если тебе придется уехать пятнадцатого, мы успеем зарегистрироваться.

— А что потом? — вырвалось у Ирины.

— А что потом? — спокойно спросил Алексей.

— Ты же не захочешь, чтобы я бросила свою работу.

— Разумеется, нет.

— И что получится? Сколько времени нам придется быть вместе?

— Не так уж мало. Отпуск у тебя два месяца.

— Из которых месяц уйдет на твои командировки, — напомнила Ирина.

— Не всегда. К тому же у меня тоже есть отпуск.

— Ты хорошо все обдумал?

— Нет, — как-то странно посмотрел на нее Алексей. — И думать не хочу.

— Милый, не надо так шутить.

— Я не шучу.

— Тебе будет очень трудно.

— А тебе?

— Тоже.

— И что же ты предлагаешь? Расстаться?

— Нет, — быстро сказала Ирина. — Ты же знаешь, что я не хочу этого.

— Тогда о чем разговор?

— Алешенька, милый мой, — тихо сказала Ирина. — Я сама не перестаю думать об этом. Конечно, я поеду с тобой и выйду за тебя замуж, хотя с регистрацией можно и не торопиться...

— Нет, мы зарегистрируемся сразу, как только приедем.

— Хорошо, хорошо... Но ты вряд ли догадываешься, как тяжело тебе будет. Гораздо тяжелее, чем мне.

— Почему?

— Ты мужчина, и ты не умеешь ждать.

— Ты права, — сказал Алексей. — Я уже сейчас не могу думать о том, что ты куда-то уедешь. Но я справлюсь с этим. Я научусь ждать.

— Это трудно.

— Наверно. И все-таки я научусь ждать.

— Помни, Алеша, — серьезно сказала Ирина. — Если тебе станет слишком тяжело — ты в любую минуту можешь уйти от меня.

— Да, я запомню это. И ты тоже свободна. Но ты никуда не уйдешь.

— Нет, — сказала Ирина.

Они уехали вместе, и Ирина вышла за Алексея замуж.

15

Самолет начал снижаться, и Ирина придвинулась к окошку и стала смотреть вперед, ожидая, когда появится город. Но его еще долго не было видно — тянулись внизу бесконечные серые поля, изрезанные уродливыми узорами оврагов, покрытые редкими пятнами зелени. Наконец появился город — как всегда, окутанный дымом и пылью, и сверху он казался особенно неприглядным и грязным. Город встретил Ирину духотой, длинными очередями на такси и автобус, вялой перебранкой утомленных, измученных жарой людей. Ирине с трудом удалось втиснуться в автобус, и потом она почти час стояла в плотной массе людей. Перегруженный автобус тяжело подвигался на подъемах, торопливо проезжал мимо остановок, оглябая толпы людей, бросавшихся ему навстречу, и, наконец, облегченно умолк, начал выбрасывать из дверей помятых, едко пахнущих потом пассажиров. Ирина пересела на другой автобус, такой же переполненный, и, улыбаясь, подумала о том, что через пятнадцать минут увидит Алексея. Когда она вставляла в замочную скважину свой ключ, у нее дрожали руки. Она еще

не верила, что наконец-то кончились ее дороги и сейчас она увидит Алексея.

Но его не было дома. Ирина не сразу поверила этому, обошла комнаты, кухню, зачем-то заглянула в шкаф, словно Алексей мог прятаться там. И все-таки его нигде не было. Это было настолько неожиданно, невероятно, что Ирина села на диван и заплакала. Это было жестоко и несправедливо: она так рвалась к нему, а его нет. Где он может быть? Первое и самое страшное, что пришло ей в голову: Алексей в командировке. Но это было уже так неприятно, что Ирина замотала головой и вслух сказала:

— Нет, нет!

Ну, конечно же, нет. Ведь сегодня двадцать второе, и он должен быть здесь. Никогда в конце месяца он не ездил в командировки. Да ведь и последнее его письмо было из Челябинска, и это было в начале месяца. Она огляделась и радостно подумала: конечно, нет. Вот лежит свежая газета — значит, сегодня он был дома. Дома! Тогда где же он может быть? На работе. Ну конечно же, на работе! И она бросилась к телефону и стала набирать номер. Длинные гудки ритмично подсказывали ей: «не-е-т, не-е-т, не-е-т». На работе его нет. И не должно быть — она вспомнила, что сегодня суббота. Где же тогда? Поехал купаться? Ирина лихорадочно стала осматривать квартиру и сразу нашла ключи от машины, брошенные на подзеркальнике. Значит, машина здесь, в гараже, а это могло означать только одно: Алексей пошел ужинать. В ресторан, и больше никуда, иначе бы он поехал на машине. Господи, как все просто... Сейчас она сядет в машину и поедет разыскивать его. Это будет совсем нетрудно — Алексей бывал только в двух ресторанах. Но сначала она вымоется как следует и переоденется. Ирина поднялась и пошла в ванную. Через полчаса она вывела из гаража машину и, поворачивая в замке тугий ключ, вдруг подумала: Таня. Ведь Алексей пошел в ресторан наверняка с ней. Что, если она увидит что-то такое, чего ей лучше не видеть? Ирина на секунду застыла, тряхнула головой и решительно села в машину. Не может этого быть. Не может у Алексея с Таней быть что-то такое, чего она не может видеть. Он любит ее, Ирину, только ее...

Ирина, как и предполагала, нашла их в «России», они сидели в дальнем конце зала, в углу, и не видели ее. Ирина несколько минут стояла перед стеклянной дверью, не решаясь войти. Чего ждала она, что хотела увидеть, понять? Странная робость овладела ею. Она смотрела на лицо Алексея, видела, как он улыбается, обращаясь к Тане, и мучительно раздумывала: что связывает его с этой женщиной? Что она значит для него? Узнает ли она об этом когда-нибудь? «Алешенька...» беззвучно прошептала Ирина. — Какой ты? Я знаю, ты очень любишь меня, когда я с тобой, но что ты делаешь, когда меня нет? Как ты живешь? О чем ты сейчас говоришь этой красивой женщине, с которой проводишь большую часть времени? Два дня ты будешь со мной, но ведь потом опять вернешься к ней, и еще не раз будешь вот так сидеть с ней, ездить с ней в командировки, в которых ты не разлучаешься с ней, будешь улыбаться ей и, может быть, целовать ее? Ты будешь отдавать ей то, что по праву принадлежит мне... По праву? Почему все так нелепо устроено у нас? Если бы можно было сейчас увезти тебя и никогда больше не отпускать от себя... А что мешает? Ну вот, ты опять наклонился к ней... Так близко, что ваши головы почти касаются. Зачем это, Алеша? Не надо... А какие пышные волосы у нее, как она красива сейчас, в этом открытом платье, какие красивые у нее

плечи... Ведь все это для тебя, Алеша. Я женщина, я знаю, что так одеваются только для любимого человека... А ты? Ты любишь меня, только меня, я знаю это, но тогда зачем тебе эта женщина? Какие у вас отношения? Узнаю ли я об этом когда-нибудь?»

— Вы кого-нибудь ждете? — вежливо спросил у нее старик швейцар.

— Нет-нет, — торопливо сказала Ирина и решительно толкнула стеклянную дверь.

Она шла между столиками, не замечая сидящих за ними людей, ей надо было пройти через весь зал, мимо всех жующих, пьющих, разговаривающих, разглядывающих ее, — но все это не существовало для нее, она видела только один столик в углу, ей оставалось пройти всего каких-нибудь тридцать-сорок шагов, но это расстояние показалось ей сейчас больше, чем двести двадцать километров таежной дороги, чем тысячи километров пути до Москвы и полтора часа полета до города. Потому что эти тысячи километров нисколько не приблизили ее к Алексею и значили поэтому неизмеримо меньше, чем эти тридцать шагов, отделявших сейчас его от нее. Ей хотелось, чтобы Алексей увидел ее раньше, чем она подойдет к столику, — и Алексей увидел ее, когда ей оставалось идти метров десять, и посмотрел на нее так, что Таня, заметив этот взгляд, похолодела и все поняла, еще не видя Ирины. Оставалось еще десять метров, несколько секунд, и Таня, сцепив под столом руки, приготовилась встретить Ирину вежливой улыбкой — а что еще оставалось ей делать? И она заранее улыбалась, потому что ни Алексей, ни Ирина не смотрели на нее. Они смотрели только друг на друга, и когда Ирина подошла, Алексей поднялся и обнял ее на виду у всего зала, а Таня осталась сидеть, всеми забытая и никому не нужная, и улыбка так и не появилась на ее губах.

— Вот ты и приехала, — низким голосом сказал Алексей, разглядывая Ирину, и она ответила:

— Да, я приехала.

Они стояли, глядя друг на друга, и не видели ни этого огромного зала, ни Тани, сидевшей рядом, — никого и ничего.

— Пойдем? — сказала Ирина.

— Да, конечно, — ответил Алексей и уже собрался было идти, но вспомнил о Тане и посмотрел на нее, и она наконец-то улыбнулась этой приготовленной улыбкой, жалкой и натянутой, и поспешно сказала:

— Ну, конечно, идите, я еще посижу здесь.

Ей совсем не хотелось сидеть здесь, но не идти же вместе с ними, не смотреть же на их счастливые лица, да ведь и надо рассчитаться с официанткой, и Таня повторила:

— Идите, идите.

Как будто им нужно было ее разрешение...

Они ушли, даже не попрощавшись с ней, и Таня старалась не смотреть на них, но все-таки не выдержала и повернула голову, и увидела, как Алексей придерживает дверь, пропуская Ирину, — точно так же, как он придерживал дверь два часа назад, пропуская ее, — и тут же отвернулась. «Ну вот, — со спокойным отчаянием подумала она, машинально скатывая хлебные шарики, — так всегда и будет. Придет эта женщина и уведет его, самого необходимого ей человека, и он покорно пойдет за ней, даже не оглянувшись в ее сторону, как будто она сразу перестает существовать для него... А может быть, так оно и есть? Тогда зачем все это?» И — как уже не однажды представляла она — Таня подумала о том, что можно уехать и забыть Алексея. А что же тогда останется? Дочь, муж — но что они значат по сравнению с Алексеем? Зачем они, если Алексея не будет?



Ей не хотелось сидеть в душном, прокуренном зале, за столом, где все напоминало о недавнем присутствии Алексея. Не хотелось идти и домой, где ее ждет муж, и бесполезно было выжидать до вечера и надеяться на то, что он уснет до ее прихода, — он никогда не ложился спать до ее возвращения. И Таня подозвала официантку, расплатилась и неторопливо пошла домой. И муж действительно ждал ее — чисто выбритый, пахнущий одеколоном, в свежей пижаме, и Таня знала, что все это делается для нее — и бритье, и одеколон, и ежедневный душ по вечерам. Она усмехнулась и подумала: а разве сама она не наряжается каждый вечер для Алексея?

— Есть хочешь? — спросил Константин.

— Нет, — нарочито резко сказала Таня. — Я очень устала и хочу спать.

Он, конечно, все понял, все заметил — и то, что она вернулась слишком рано, и что она пришла пешком и Алексей не провожал ее, — Таня не сомневалась, что он часто стоит у окна и смотрит, не идет ли она, — но сейчас это не имело никакого значения.

Таня прошла в свою комнату, посмотрела на спящую дочь, потом небрежно сбросила платье и надела халат. Очень не хотелось идти в ванную мимо мужа, не хотелось разговаривать с ним, но она все-таки пошла — очень быстро, с каменным, неподвижным лицом, и Константин ничего не спросил у нее. Таня заперлась в ванной и разделась. Разглядывая свое тело, она вдруг заплакала — тихими, неслышными слезами. Она видела, что красива, — а что останется от ее красоты через десять—пятнадцать лет? —

и не понимала, почему Алексею не нужна ее красота, почему он не любит ее? Таня знала, как глупо задавать себе такие вопросы — но разве жизнь во многом не состоит из таких глупых вопросов и банальных ответов на них? Наплакавшись вдоволь, она стала под душ и долго стояла, пока не начала дрожать от озноба. Выйдя из ванной, она неприязненно покосилась на широкую спину мужа и сухо бросила:

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — отозвался он, не поднимая головы от стола.

Но ночь ей предстояла далеко не спокойная: Таня знала, что еще долго не заснет. Не было еще и десяти часов, за окном светлели сумерки, и она села на постели, обняв колени руками, и смотрела прямо перед собой. Очень хотелось курить, но для этого пришлось бы просить у Константина сигареты и идти на кухню, и она отказалась от этой мысли. Она сидела и думала о том, что же делать дальше. Бывали у нее минуты, когда создавшееся положение казалось ей невыносимым. Пришла такая минута и сейчас, и Таня опять думала о том, что надо уезжать, и знала, что Константин в любую минуту согласится на это. Но даже и в такие тяжелые минуты она знала, что никуда не уедет, пока Алексей здесь, пока есть хоть какая-то надежда на то, что он когда-нибудь уйдет от Ирины. Но надежда эта была больше в ее воображении — так же хорошо знала она, что Алексей не оставит Ирину — он слишком любит ее... И она задумалась об этих сложных и мучительных для нее отношениях, стала вспоминать годы знакомства с Алексеем...

С чего все начиналось? Она, с новехоньким дипло-

мом, на котором едва высохли чернила, пришла на этот завод, в конструкторское бюро, ей поручили разработку каких-то простеньких узлов, но как же неинтересно все это было, и она при первой возможности уходила на сборку. Тогда не было еще никаких бригад, сборочный цех только строился, и на испытательном стенде стояла одна машина — самая первая, еще не работающая, и наладчиков было всего семь или восемь человек. Завод жил тогда ожиданием, когда же заработает эта машина, вокруг стоек постоянно толпились всякий народ, и наладчики нервничали, порой грубо обрывали тех, кто хотел что-то спросить... На Алексея Таня тогда почти не обращала внимания, он был самым молодым и, как ей казалось, самым неопытным, — она знала, что у него еще и диплома нет. И то, что она нравилась ему — а Таня видела это по его взглядам, — заставляло ее иногда только хмуриться...

А однажды произошло у нее неприятное столкновение с одним из наладчиков, Поляковым, тем самым, что был сейчас бригадиром.

Увидев Таню, Поляков небрежно подозвал ее:

— Идите-ка сюда, девушка.

Поляков отлично знал, как ее зовут, и Таня, увидев в его руках схему, которой недавно занималась в КБ, подошла, ожидая неприятностей.

— Ваша работа? — спросил Поляков, показывая на схему.

— Моя...

Таня сразу увидела ошибку, непростительную даже для новичка. Она покраснела, не зная, что сказать, а Поляков издевательски протянул:

— Чем это, интересно, вы думали? Вот уж поистине женская логика...

— Извините, — пробормотала Таня.

— Извините? — повысил голос Поляков. — Мы не на светском рауте, а на работе. Если уж дипломированный специалист с такой мелочью не может справиться... — Он театрально развел руками.

Алексей стоял в двух шагах, разглядывал что-то на экране осциллографа и вдруг повернулся к Полякову и спокойно сказал:

— А ну-ка, Юпитер, дай сюда.

И, взяв из рук Полякова схему, посмотрел на нее и положил перед собой.

— Ты что? — опешил Поляков.

— А ничего, — так же спокойно сказал Алексей. — Займись чем-нибудь другим, я это сам сделаю.

И, повернувшись к Тане, мягко сказал:

— Не обращайтесь на него внимания, он просто хам — от рождения и по воспитанию, а это уже не исправимо.

— Ну, знаешь ли... — задвигал желваками на скулах Поляков.

— Что я знаю? — резко, всем корпусом повернулся к нему Алексей. — Я знаю, что, если бы я тебя вот так же тыкал носом в твои ошибки, он у тебя давно бы уже вспух!

И Поляков, к удивлению Тани, опустил глаза и молча отошел в сторону. Она потянулась к схеме, робко сказала:

— Я сегодня же переделаю.

— Не надо, — остановил ее Алексей, — я сам исправлю. Это же мелочь. Просто будьте в другой раз повнимательнее, чтобы лишних разговоров не было.

И он занялся своей работой, не обращая на нее внимания.

А потом, спустя три месяца, был день, когда машина наконец-то заработала и к стенду толпами валил народ, изумляясь этому долгожданному чуду. Машина раз за разом решала короткую восьмиминутную задачу, отстукивая колонки цифр на широкой бумаж-

ной ленте, и эту бумагу тут же разрывали на клочки и бережно прятали в карманы, собираясь хранить годы, — ведь это была первая решенная задача на первой машине... Директор завода, сияя всеми морщинами своего старого лица, приказал принести ящик шампанского, и его распили тут же, около машины, под странные завывающие звуки, которыми сопровождалось решение. Алексей, смеясь, протянул Тане бутылку, она отпила из нее и передала кому-то, а он наклонился к ней и сказал в ухо:

— Хочешь быть наладчиком?

Она кивнула и тут же забыла об этом — наладчиками хотели быть сотни человек, и не ей, с ее куцым опытом, ни разу не державшей в руках щупа осциллографа, было надеяться попасть в число немногих счастливых. Но через три дня были официально утверждены списки трех бригад, и Таня с изумлением увидела в одном из них свою фамилию и, не веря себе, кинулась к Алексею.

— Алеша, это правда?

Он, улыбаясь, смотрел на нее, а она спрашивала:

— Нет, правда, это правда?

— Правда...

И Таня, поверив ему, едва не расплакалась от радости...

Что было потом?

Годы совместной работы. Отчаяние, когда казалось ей, что она так и не научится разбираться в этих сложнейших машинах, — и постоянная готовность Алексея прийти ей на помощь. И порой недоверчивое изумление оттого, что один человек может так много знать и уметь.

Она долго не понимала отношения Алексея к ней. Сначала казалось ей, что он просто влюблен в нее, — иначе чем объяснить его постоянное внимание к ней? А потом — минута жестокого разочарования и стыда, когда она почти прямо сказала ему, что не любит мужа, собирается уйти от него и что делает это ради Алексея. А он не только не обрадовался, но даже как будто почувствовал раздражение и довольно неловко попытался свести все к шутке. Таня оскорбилась, вволю наплакалась, попыталась вести себя гордо и независимо, но чуть ли не дрожала под его взглядами, радовалась каждому ласковому его слову и то впадала в полнейшее отчаяние, узнавая о каких-то его встречах с другими женщинами, то не скрывала своего ликования, когда он уходил от них и ей казалось, что Алексей начинает любить ее. Иногда она с трудом сдерживала себя, чтобы прямо не спросить его: «Почему ты не любишь меня? Что тебе нужно?» И уже не думала ни о какой гордости — до гордости ли тут, если от одного его неласкового взгляда иной раз чуть ли не в истерику готова удариться...

И от мужа она не ушла, хотя давно объявила ему, что не любит его и жить с ним не будет. И уже совсем решено было, что им следует разойтись, но развод так и не состоялся: ни Таня, ни Константин не могли лишиться дочери. И вот жили под одной крышей двое чужих, не любящих и не понимающих друг друга людей, предельно корректных и вежливых друг с другом, и только неясное ожидание каких-то перемен да забота о маленьком человеке — единственное, что было общего между ними, — удерживали их от всплесков грубости и ревности. Таня не переставала надеяться, что у Константина появится какая-нибудь женщина, и тогда все решится самым естественным образом: она возьмет к себе дочь и уйдет от него. Но, если у Константина и были какие-то женщины, он ничем не выдавал себя. А возможно, что никого у него не было.

Стало темно, и Таня зажгла торшер, прикрыв его газетой так, чтобы свет не падал на Светлану. Раздался тихий стук в дверь, и она так же тихо сказала:

— Да, входи.

Когда она увидела красивое, холеное лицо мужа, его робкую улыбку, тут же встало в памяти лицо Алексея — резкое, худое, слепленное, казалось, из одних острых углов, — ей захотелось, чтобы Константин немедленно ушел, не говоря ни слова. Но он не ушел, сел на постели и дружелюбно спросил:

— У тебя какие-то неприятности?

— С чего ты взял? — вызывающе спросила Таня.

— Я же вижу.

— А что ты еще видишь?

— Что тебе плохо, — спокойно сказал Константин и вдруг положил руку на ее обнаженное плечо, и Таня инстинктивно дернулась — так неприятно было ей это прикосновение. Константин сделал вид, что ничего не произошло, спросил:

— Приехала Ирина?

— Допустим. Что из этого? — зло бросила Таня, натягивая на плечи ночную сорочку.

— Ничего, — ровным голосом сказал Константин. — Если, конечно, не считать того, что все это... несколько униительно для тебя.

— Униительно? — засмеялась Таня. — Почему же это? Разве в любви может быть что-то униительное?

Она с расчетливой жесткостью бросила эти слова — и с удовлетворением заметила, как помрачнело лицо Константина.

— Он же не любит тебя, — глухо сказал Константин.

— Зато я люблю его! — отрезала Таня.

Он покачал головой.

— Не верю я в эту любовь.

— Даже так!.. — насмешливо сказала Таня. — А во что же ты веришь? В то, что я вернусь к тебе?

Константин промолчал, но Таня видела, что угадала, — да, она знала об этом и раньше, и ей стало вдруг жаль его.

— Слушай, Костя, нашел бы ты себе какую-нибудь женщину, а? На мне свет клином не сошелся. — Она покосилась на спящую Светланку. — Иди на кухню, я сейчас тоже приду, там и договорим.

Константин поднялся и пошел к двери. Таня подождала, когда он выйдет, надела халат и тоже пошла на кухню.

Константин, сгорбившись, сидел на стуле.

Когда она вошла, он поднялся перед ней во весь свой внушительный рост и заговорил зло, с надрытом:

— Я не хочу, чтобы ты путалась с Алексеем. Не хочу сидеть по вечерам дома и знать, что ты таскаешься с кем-то по ресторанам. Не хочу быть посмешищем для всего завода. Не хочу, чтобы на меня показывали пальцем!

— Это все? — спросила Таня.

— Нет. Я еще не сказал, чего я хочу. А хочу я не так уж много — чтобы мы жили нормально, как муж и жена, у которых есть ребенок. Хочу, чтобы у нас еще были дети. Чем я тебе плох? Некрасивый, неполноценный, пьяница, плохой отец? А ты только посмотри на Светланку — какая девочка, сколько нам завидуют, глядя на нее! Что тебе нужно? Чем я тебе плох, скажи на милость?

— Ничем ты не плох, — вздохнула Таня. — Но ведь я уже говорила тебе, Костя: не люблю я тебя, Алексея люблю. Ну что тут еще объяснять?

— Нашла в кого влюбиться, — злобно проворчал Константин. — Одни мысли торчат.

— Эх ты, человек! — с горечью сказала Таня. — А тебя-то за что любить, думал ты об этом? За твою аккуратность, что ли? За красоту? Еще за что? Нашел довод — одни мысли торчат... Да ведь это только глупые двадцатилетние девчонки на смазливую физи-

ономию бросаются — им красоту подавай. А я не девчонка — четвертый десяток уже пошел.

— А раньше было за что меня любить?

— Раньше я дура была.

— А теперь поумнела?

— Да, Костя, поумнела... А вот ты каким был, когда мы поженились, таким и остался. Ничего в тебе не прибавилось, а ведь девять лет прошло. А сколько жить-то тебе еще — ты думал об этом? А ведь ты, пожалуй, уже и не изменишься, таким вот, двадцатилетним, и умрешь... А еще спрашиваешь, за что я Алексея люблю. Да тебя и сравнивать-то с ним смешно...

— Это все потому, что он четыре языка знает? Французские романы в подлиннике читает? Итальянскими стихами тебя охмурил?

— Эх ты, — в сердцах сказала Таня. — Нельзя же быть таким глупым! Только то и видишь, что на поверхности лежит. При чем тут четыре языка? Нельзя так, Костя...

— А как можно? — совсем уже не владея собой, спросил Константин, сжимая кулаки.

Таня помолчала и тихо сказала:

— Давай разведемся.

— Пожалуйста, — ухмыльнулся Константин. — Подавай заявление хоть завтра. Но Светланка останется со мной, ни один суд тебе ее не отдаст.

— Ну зачем она тебе? — с болью сказала Таня. — Ведь наверняка вскоре женишься, другие дети у тебя будут... А нет, так еще хуже — как она будет расти без матери?

— Дочь я тебе не отдам, — твердо сказал Константин.

— Значит, так и будем жить?

— Пока да.

— Будешь ждать, когда я к тебе вернусь?

— Да, буду ждать.

— Ну, жди.

Таня поднялась и сказала:

— Я хочу спать. Если у тебя все, я пойду.

— Иди.

Она поднялась и собралась уйти, но Константин вдруг робко тронул ее за руку.

— Подожди, Таня.

— Что еще?

— Сядь.

И когда она села, он сбивчиво заговорил, глядя куда-то вбок:

— Ты извини, что я так... Я не хотел. Но, понимаешь, я уже совсем не могу без тебя... Может быть, все-таки попытаемся как-то наладить жизнь? — Он жалко посмотрел на нее и заторопился: — Подожди, ничего не говори. Ну, если не получится, уйдешь, когда захочешь, держать не буду, я понимаю, что... Но ведь ты же сама знаешь, что Алексей от Ирины не уйдет, я видел их вдвоем, я же не дурак, тоже понимаю. Ведь жили мы как-то и раньше, помнишь, совсем уже решили разойтись, а потом опять вместе были... А другие-то, — торопился Константин, — думаешь, все только по любви живут? Мы тоже сможем... Пойдем, Таня, я...

— Замолчи, Костя, — спокойно прервала его Таня. — Тебе потом самому будет стыдно за свои слова. И вспомнил ты совсем не то и некстати, там другое было, Алексея я тогда не любила. А на будущее запомни: буду я с Алексеем или нет, уйдет или не уйдет он от Ирины — это только для меня может что-то значить, но не для тебя. С тобой у меня уже ничего не может быть...

— Что, так и будешь соломенной вдовой жить? — с почти прежней злостью спросил Константин.

— И это тебя никак не касается, но могу еще сказать, что для меня любовь далеко не к одной только

постели сводится, как-нибудь и без этого обойдусь. А ты попытайся трезво взглянуть на вещи и постарайся понять, что единственный возможный для нас обоих выход — разойтись по-хорошему, по-человечески, без таких вот... мелодрам. Не надо втаптывать в грязь то хорошее, что у нас было. Надо же быть еще и мужчиной, наконец, и не унижаться до таких просьб... И хватит об этом. И впредь постарайся избавить меня от таких сцен.

И Таня пошла в свою комнату.

Когда она разделась и улеглась в постель, дверь тихо отворилась, и высокая фигура Константина появилась в светлом проеме.

— Ведь я люблю тебя, Таня. Ты слышишь?

Таня промолчала, и Константин осторожно прикрыл дверь. А она еще несколько часов промучилась без сна.

16

Как всегда в первые дни после разлуки, Алексей просыпался рано и долго лежал неподвижно, стараясь не потревожить сон Ирины.

Он осторожно встал, сел за стол и начал писать. За этим занятием и застала его Ирина. Проснувшись вскоре после него, она сквозь узкие щелочки между ресницами наблюдала за ним. Ей очень хотелось спать, но жаль было тратить на сон драгоценные часы, отпущенные ей. Она попыталась осторожно повернуть руку и разглядеть циферблат — по таежной привычке она не снимала часы на ночь, — но Алексей все же заметил ее движение и всем корпусом повернулся к ней. Ирина совсем открыла глаза и улыбнулась.

— Доброе утро, мой математик. Что ты там вычисляешь?

— Я не вычисляю, — тоже с улыбкой сказал Алексей. — И я не математик. Пора бы уже знать, чем занимается твой муж.

Он сел на постель и поцеловал ее.

— А что же ты делаешь?

— Да так, печки-лавочки.

— Ну вот и расскажи мне о печках-лавочках. А то сама встану и посмотрю, какие там у тебя секреты от меня.

— Никаких секретов там нет.

— А здесь? — Ирина приложила ладонь ко лбу Алексея.

— Здесь тоже.

— Хорошо, что тоже, — серьезно сказала Ирина.

— А тебя это смущает? — с тревогой спросил Алексей.

— Иногда, — призналась Ирина, притягивая его голову к себе. — Но пусть это тебя не волнует. У каждого могут быть какие-то свои маленькие секреты, но большие... — Она вспомнила вчерашнюю встречу и Таню и сказала: — Я ведь тебе писала, что я женщина и не могу не ревновать... Который час?

— Скоро шесть.

— Как еще много времени! Целый день и целый вечер...

Она заметила, что Алексей вдруг помрачнел.

— Ты что? — не поняла она.

— Ты приехала на один день?

— А, вот ты о чем!.. Нет, я должна уехать только в ночь на вторник. Так что у нас еще два дня и полторы ночи.

— И только? — без выражения сказал Алексей, и Ирина поняла, как он разочарован.

— Милый мой, — тихо сказала Ирина. — Но ведь и

этого «только» могло не быть. Я сама не понимаю, как мне удалось выбраться, да еще на целых три дня.

— У тебя неприятности?

— Нет, что ты! Обычная деловая поездка. А ты сегодня ночью поедешь на работу?

— Всего на несколько часов. Ты будешь спать и даже не заметишь, как они пройдут.

Ирина посмотрела на него и вздохнула.

— Спать, может быть, я и буду, но даже во сне очень хорошо чувствуется, что тебя рядом нет. А тебе разве все равно?

— Нет, конечно, — сказал Алексей и поцеловал ее.

— Еще, — сказала Ирина и потом, закрыв глаза: — Если бы ты знал, сколько раз мне снилось, что ты целуешь меня!.. А если бывает, что во сне ты уходишь от меня, я просыпаюсь заплаканная...

— Почему я должен уходить от тебя?

— Но это же во сне.

— Не хочу, чтобы тебе снились такие сны.

— Но иногда они снятся.

— Не надо, — сказал Алексей.

— Ну хорошо, — засмеялась Ирина. — Я скажу им, чтобы они не приходили.

— Показать тебе мои печки-лавочки?

— Если хочешь, — лениво потягиваясь, сказала Ирина.

Алексей подал ей бумажки. Ирина стала читать вслух:

— «Романы кончаются тем, что герой и героиня женились. Надо начинать с этого, а кончать тем, что они разженились, то есть освободились. А то описывать жизнь людей так, чтобы обрывать описание на женитьбе, это все равно, что, описывая путешествие человека, оборвать описание на том месте, где путешественник попал к разбойникам».

— Ничего себе печки-лавочки, — засмеялась Ирина. — Что это такое?

— Выдержка из дневника Толстого. Но ты читай дальше.

— «Тридцать семь дней в ноябре и декабре, тринадцать в феврале, четыре в марте...»

Она с недоумением взглянула на Алексея.

— Я же говорил — печки-лавочки, — сказал Алексей, отбирая у нее бумажки.

— А все-таки?

— А ты не догадываешься? Вдруг вздумалось подчитать, сколько мы женаты и сколько дней пробыли вместе.

— И что же получилось?

— А вот что. Женаты мы девятьсот шестьдесят три дня, а были вместе... — он помолчал, — что-то около двухсот. А точнее, по моим подсчетам, сто восемьдесят шесть дней.

— И что же делать? — спросила Ирина.

— Да ничего, господа, — с наигранным удивлением засмеялся Алексей. — Я ведь не зря привел изречение Толстого.

— Как это понимать? — по-прежнему серьезно спросила Ирина.

— А вот как...

Он стал целовать ее и приговаривать:

— Немедленно вставай, лентяйка, и одевайся, поедем купаться, и ночью тоже, там ни одной души не будет, и мы будем плавать в чем мать родила...

И он целовал ее и ласкал до тех пор, пока Ирина не засмеялась:

— Ой, хватит, встаю, встаю... Иди включай утюг, я пока немного сполоснусь.

Она встала и босиком прошла по теплему полу.

— Как приятно идти босиком!..

Алексей посмотрел на нее и ничего не сказал.

Через полчаса они выехали на Черное озеро. И

когда уже собирались ехать обратно, Ирина, закалывая волосы, как бы между прочим спросила:

— А все-таки что ты хотел сказать словами Толстого?

— А разве это не ясно?

— Приблизительно. Ты что, считаешь, что наш брак был бы неудачным, если бы мы все время были вместе?

Алексей покачал головой:

— Ничего я не считаю. Но мудрый старец, я думаю, был не так уж неправ. Стоит только вспомнить семьи наших знакомых...

— Выходит, что нам повезло, что мы так редко видимся?

Он как-то странно посмотрел на нее.

— Не думаю.

Ирина подошла к нему и прижалась щекой к его еще не высохшему плечу. Ей захотелось вдруг сказать, что она беременна и скоро совсем вернется к нему,— об этом она подумала вчера, когда шла по ресторану и видела его рядом с Таней,— но заговорила о том, что думалось долгой таежной дорогой:

— Родной мой... Я очень понимаю, как тебе трудно, но ты уж потерпи. Мне нужно еще два года, чтобы закончить свою работу. Я постараюсь при первой же возможности приезжать к тебе. И ты всегда сообщай мне о своих передвижениях, особенно когда летишь на восток. Помнишь те курганские встречи?

— Да,— сказал Алексей, не оборачиваясь.— Я, кажется, помню все сто восемьдесят шесть суток, что были у нас...

— И знай, Алеша, если тебе будет совсем трудно, ты скажи только одно слово, и я брошу все и приеду к тебе. Насовсем...— Ирина остановилась — ей вдруг так захотелось, чтобы он сказал это слово,— но Алексей молчал, и она тихо продолжала: — Я рожу тебе ребенка — обязательно девочку, как ты хочешь, и мы вместе будем следить за тем, как она растет. Ты будешь очень нежным и заботливым отцом, я знаю.

— Почему ты так думаешь?

— Я ведь вижу, как ты относишься ко мне.

В машине он сказал:

— Я заглянул в твой саквояж и обнаружил там кучу денег. Ты слишком неосторожна.

— А,— беспечно отмахнулась Ирина,— ничего с ними не станется. Часть этих денег моя, а остальные — зарплата для всего отряда. Я ведь, кроме всего прочего, еще и кассир и бухгалтер. Оставлять их в лагере тоже небезопасно: народ там всякий. Я хотела положить их к Неделину в сейф, но забыла.

— Как он поживает?

— Неважно. Много пьет, еще больше работает. Я все пытаюсь сосватать его, да куда там...

Когда они въехали во двор своего дома, Алексей остановил машину и повернул голову к Ирине:

— Что будем делать?

Она вздохнула и посмотрела на часы.

— С ума сойти, уже три часа прошло... Надо, наверно, приготовить завтрак, но я просто не могу...

— Не надо готовить завтрак. Потом съездим куда-нибудь.

— Да. А сейчас идем наверх, к себе, к нам...

Потом, целуя его, Ирина говорила, улыбаясь:

— А Толстой по меньшей мере в одном прав.

— В чем?

— Если бы мы все время были вместе, не было бы таких ночей и дней и нам бы ничего не запомнилось...

— Я сам тебе говорил об этом.

— Может быть, нам и повезло, что мы так редко

видимся. Уже одно ожидание встречи с тобой наполняет меня таким счастьем, что мне кажется, многим оно просто недоступно. Нехорошо так говорить, да?

— Нет, почему же...

— Тебе очень тяжело бывает без меня?

— Да, очень. И все-таки я никогда не скажу тебе того единственного слова. Я даю тебе не два года, а всю жизнь... И ты вольна прожить ее так, как тебе захочется.

— Наверно, это самый ценный подарок, который один человек может сделать другому... Я никогда не забуду этого.

И они еще долго лежали молча, и часы на руке Ирины отстукивали уходящие секунды. Наконец она догадалась снять их и бросила на ковер.

Она стала засыпать, но тут зазвонил телефон, и она невольно вздрогнула и с ненавистью посмотрела на белый аппарат с черными круглыми пятнами цифр. Эта противная вздрагивающая коробка могла сейчас все нарушить. Ирина почему-то была уверена: звонят только для того, чтобы сообщить Алексею, что он должен куда-то ехать. И она хотела сказать ему, чтобы он не отвечал, но Алексей уже снял трубку. Из разговора Ирина поняла, что звонит Емельяненко, главный инженер, только что приехавший откуда-то, и требует от Алексея, чтобы он что-то срочно сделал и завтра к трем явился на заседание техсовета.

— Хорошо, Александр Георгиевич... Да... Сделаю... До завтра.

Алексей нажал на рычаг, но почему-то не клал трубку, вслушиваясь в частое прерывистое гудение.

— Что это он от тебя требует? — спросила Ирина. — Опять все та же война?

— Да, опять...— Алексей положил трубку и улыбнулся.— Но на этот раз, кажется, война закончится. Во вторник приезжает комиссия из Москвы и окончательно определит, готов ли завод к выпуску новых машин.

— А завод готов?

— Более или менее. Наши милые «консерваторы» постараются доказать, что менее, а мы, «новаторы», — Алексей шуточно ударил себя кулаком в грудь, — что более.

— И это вам удастся?

— Почти наверняка. Дело принимает слишком уж серьезный оборот. Похоже на то, что даже те машины, что мы делаем сейчас, придется, возможно, списывать раньше срока, а это пахнет весьма круглыми цифрами убытков.

— А на что же надеются ваши консерваторы?

— Хотят выторговать еще год.

— И есть у них какие-нибудь шансы?

— Я же сказал — почти никаких, хотя завод действительно не совсем готов. Но сейчас положение уже таково, что выгоднее вообще на несколько месяцев остановить завод, чем выпускать эти машины. Не нам, конечно, выгоднее — для нас это сплошные неприятности, — а государству, и в министерстве наконец это поняли. А нам придется туговать, года на два жизнь нам обеспечена несладкая.

— А что ты должен сделать на завтра?

— Да так, кое-какие цифирьки проверить, это всего часа на два работы, — успокоил ее Алексей. — Завтра последняя драчка — и за дело.

— Можно подумать, что до сих пор ты бездельничал, — усмехнулась Ирина и невесело подумала: «На цифирьки два часа, да завтра четыре, да ночью уедет...» И опять пришла вчерашняя мысль — не идти в больницу, доработать сезон, а зимой родить и остаться с Алексеем...

— Ты что приуныла? — обнял ее Алексей, и она улыбнулась и прижалась к нему.

— Да так, печки-лавочки...

И думала: «Почему этого не сделать?» И доводы, которые еще несколько дней назад она приводила себе и Неделину, казались ей уже не такими вескими...

17

Таня долго стояла у окна, отгороженная от цеха высокими стойками еще ни разу не включенной, холодной и мертвой машины. Ее никто не видел, и она могла как угодно выражать свое горе — тихо плакать, шептать злые слова. Но ничего этого она не делала, она просто стояла у окна, смотрела на темную зелень двора, освещенную желтым прожектором луны и белым светом фонарей, и ждала, когда появится машина Алексея.

Но Алексея все не было, и она подумала о работе и о бригаде. Вчерашняя ночь прошла почти впустую — работа застыла сразу, как только Алексей уехал, и хотя они до утра продолжали биться над неполадками, сделать ничего не удалось. Ко всему прочему Митя Рубцов задрал барабан — только этого сейчас не хватало... Он умолял Таню, чтобы она сама сказала Алексею — как будто царапина могла от этого бесследно исчезнуть. Таня обещала — все знали, что на нее он никогда не повысит голоса, а потом Алексей отойдет.

«Волга» наконец выкатилась из-за механического корпуса и, почти не снижая скорости, круто повернула и поехала к сборочному цеху. Таня отвернулась от окна, пошла к своей машине.

— Что, едет? — тревожно спросил ее Митя Рубцов. Таня кивнула.

Все разошлись по местам, занялись работой, — вернее, делали вид, что работают. Особенно усердствовал Митя Рубцов — он так старательно возился над барабаном, что, только оттолкнув его в сторону, можно было заметить блестящую белую царапину, идущую по всей коричневой окружности магнитного слоя. Лишь один Гильманов продолжал сидеть и безмятежно насвистывать — ему-то что, последние денечки отработывает, а там — путь-дорога в солнечный Ташкент.

Алексей шел по проходу хмурый, неприветливый, и по бригаде прошелестело: «Шеф нынче не в духе». Бригада чувствовала себя виноватой за вчерашние потерянные часы. Митя Рубцов совсем было сник, Александр Иванович, низко наклонив голову, возился с перфоратором, — он еще не знал, окончательно ли обошлось у него, не уволит ли его Алексей...

Алексей поздоровался со всеми, помолчал, закуривая. Потом посмотрел на Таню:

— Идем, поговорим.

Так уж установилось в бригаде, что обо всех делах, а тем более неприятных, докладывала Алексею Таня.

И сейчас они прошли в свой угол, сели.

— Ну? — повел головой Алексей. — Как дела?

— Да какие там дела, — вздохнула Таня. — Ничего не сделали, как ты уехал.

— А ты не могла что-нибудь придумать? — сразу зло вскинулся на нее Алексей.

— Значит, не могла, — сдержанно сказала Таня.

— Ну ладно, — устало сказал Алексей. — Что еще?

— Митя барабан задрал.

— Это как же так? — протянул Алексей.

— Да так уж... Говорит, продул воздухом, все пы-

линки чуть ли не языком слизал, да какая-то дрянь все-таки попала.

Алексей молчал, курил.

— Я думаю, — осторожно сказала Таня, — в мастерскую отправлять поздно, там только провозят. Сами закрасим, а головки пока перебросим на запасные.

— Сразу надо было сделать это.

— Уже сделали, осталось только закрасить.

Алексей покосился на нее, помолчал, спросил на всякий случай:

— Что-нибудь еще?

Таня молчала. Она боялась, что расплечется, и с отчаянной решимостью выговорила, сама еще не понимая смысла своих слов:

— А еще то, что я уезжаю.

И с радостью увидела, как растерялся Алексей.

— Уезжаешь? — переспросил он. — Куда?

— Да куда-нибудь, господи!

Она все-таки заплакала, кусая губы, встала и отвернулась от него, прислонившись к теплому боку машины.

А он стоял рядом, молчал, не решаясь сказать что-нибудь.

— Иди, — сказала Таня, не оборачиваясь. — Я сейчас тоже приду.

Но он не уходил, и она повернулась к нему, повторила:

— Иди.

— Ты действительно решила уехать?

— А тебе нужно, чтобы я не уезжала?

— Да.

— Зачем?

Алексей молчал.

— Зачем? — повторила Таня.

Алексей опустил голову и, сгорбившись, пошел к пульту управления.

Три часа работы были необычно тяжелы для него; мозг, казалось, был занят только одним — поисками ошибок, но где-то за всеми логическими построениями стояла мысль о Тане, упорно пробивалась через бездушные размышления о машине. И не только нельзя было отделаться от этой мысли, но эта мысль росла и представлялась ему неизмеримо более важной, чем эта машина и горящие сроки сдачи ее. Машин в конце концов у него было много и раньше, будет еще больше, но Таня — истинный друг — была одна, и если она действительно уедет, это будет большая потеря... И сегодняшний взрыв Тани представлялся ему первой трещиной в прочном фундаменте их отношений, и хотя фундамент казался незыблемым, он стал искать способ заделать эту трещину.

И вдруг пришла минута, когда он в растерянности остановился и подумал: да разве можно так? В какую-то секунду он с такой беспощадной ясностью представил всю невозможность, нелепость ее положения, что поразился своей слепоте: почему раньше он не видел, не понимал этого? Как можно было так бездушно вести себя с ней? Что из того, что он не давал ей никаких обещаний, не оставлял надежд на будущее? Что из этого? Ведь она любит его! А для чего она нужна ему? Разве только как спасение от одиночества в то время, когда нет Ирины? Нет... Но ведь когда Ирина здесь, для него никто больше не существует, никто не нужен — и Таня тоже...

Владимиров не понимал, почему Алексей так долго смотрит на эту примитивную осциллограмму, и со смехом спросил:

— Ты не заснул, шеф?

Алексей не ответил, переставил щуп осциллографа и вспомнил вопрос Тани: «Зачем?» Действительно, зачем ему нужно, чтобы она не уезжала? Что он



может дать ей, кроме того, что давал все эти годы? Ничего... Ничего... Все, что у него есть, принадлежит Ирине...

— Да что с тобой, Леха?

Он коротко взглянул на Владимирову и бросил щуп осциллографа:

— Антракт.

И пошел к Тане.

А она, раскаиваясь в своей вспышке, возилась в своем уголке, варила кофе и встретила его робкой улыбкой:

— Садись, я сейчас все приготовлю.

И Алексей не мог посмотреть ей в глаза, и, только когда уже собирался уезжать, сказал, трудно выговаривая слова:

— Таня... я... очень виноват перед тобой... Если ты собираешься уезжать...

— Я никуда не хочу уезжать, — торопливо перебила его Таня. — Извини меня за эту бабью истерику. Если я действительно нужна тебе, я никуда не поеду. А ведь я нужна тебе, да?

— Да.

— Хорошо, что ты мне сказал это... Понимаешь, мне очень нелегко бывает с тобой. Может быть, и в самом деле лучше было бы для меня уехать, но... я просто не знаю, что я буду делать без тебя.

Ей очень хотелось посмотреть ему в глаза, но Алексей молчал, опустив голову.

— Я ничего не требую от тебя, ничего не жду, но, понимаешь, мне иногда кажется, что я совсем не

нужна тебе, и сегодня... вот тоже показалось, потому я и сорвалась. Но уезжать я не хочу. Если уж совсем плохо мне будет... тогда уеду, а пока нет. Ну все, я больше не буду, ты иди, я тут еще останусь, поработаю...

И Алексей, ничего не сказав ей и даже не взглянув на нее, уехал к Ирине.

18

А Ирина давно ждала его. Вечером, проводив его на работу, она попыталась заснуть, но и на минуту не сомкнула глаз. И так обидно ей было, что даже в эту последнюю ночь Алексей не сможет остаться с ней, что она не сумела скрыть эту обиду и потом всячески ругала себя, вспоминая, как расстроился он из-за этого. Уже совсем было собравшись уходить, Алексей вдруг посмотрел на нее и, швырнув на диван ключи, угрюмо сказал:

— Никуда я не поеду.

— Почему? — потерянно спросила Ирина.

Она знала, что не ехать ему нельзя — иначе он сразу бы сказал об этом, — и чуть не заплакала.

— Алеша, извини меня, я просто дура... Не обращай на меня внимания, поезжай.

Но Алексей молча снял ботинки и сел на диван, уперев локти в колени. Ирина присела перед ним на корточки и заглянула в глаза.

— Алешка, не сердись на меня... Ну что взять с

43

такой глупой женщины? Поезжай, тебе ведь нужно ехать...

— Нет.

— Ну как так нет? Я же знаю, что если в срок не сдадите машину...

— Плевать я хотел на машину! — со сдержанной яростью прервал ее Алексей. — Не сдадим — я сам себя разберу на куски, запакуюсь в ящики и отправлюсь медленной скоростью! Хоть отдохну в дороге, отосплюсь как следует... Чего улыбаешься? Я сам скоро превращусь в машину! Только и знаешь, что ищешь ошибки, ошибки, ошибки, и все быстро, срочно, немедленно! Я уже стал форменным кретином, я ничего не читаю, никуда не хожу, я даже с женой последнюю ночь провести не могу! Я не могу позволить себе и одного часа отдыха, потому что даже во сне я ищу эти проклятые ошибки! Можно подумать, что весь мир, вся вселенная, вся материя — это сплошные ошибки! — Он выругался и, перехватив ее взгляд, неловко отвел глаза в сторону. — Извини... Но ведь мне самому до бешенства обидно, что я не могу побыть с тобой.

— Я знаю, Алеша. А тут я еще со своими глупостями... Ну, прости, пожалуйста...

Он осторожно высвободился, встал и заходил по комнате.

— Ей-богу, — с каким-то мстительным чувством говорил он, вновь раздражаясь, — сдам эту тряхомудрию — напьюсь, как сапожник, чтобы хоть на один вечер забыть об этих проклятых машинах. А то ведь я уже заговариваться стал... Веришь, на днях захожу в магазин и спокойно говорю: дайте мне килограмм сбросов... Это я вместо абрикосов так сказал. На меня такие шары выкатили — я думал, сейчас за психиатром побегут. И ведь хоть головой об стенку бейся, а не думать об этом не можешь, пока не докопаешься, в чем тут дело. Так и крутятся в голове все эти схемы, цепочки, сбросы, стробы и прочая галиматья. И никогда не знаешь, какое машина колесце на следующий день выкинет! А спрашивается: какого черта ей нужно? Ведь все машины из одних и тех же деталей сделаны, а за семь лет я и двух похожих не видел! У каждой свой норов: одна это не любит, другая то, третьей птичьего молока подавай, — у них, видите ли, у каждой своя индивидуальность! — зло отчеканил Алексей. — А я не индивидуальность, я аморфное существо со стальными нервами, я должен, как орангутанг, прыгать по этим логическим джунглям и невозмутимо скручивать этим индивидуальностям головы, вгонять их в стандарт! И ведь такая собака иной раз попадет, как будто нарочно над тобой издевается, да еще и подмигивает: накося, выкуси! Ух, так и дал бы ей по физиономии!

Ирина невольно улыбнулась. Алексей заметил это и серьезно сказал:

— Чего смеешься? Думаешь, я преувеличиваю? У них действительно у каждой своя физиономия. Они же почти как живые, только по-человечески не разговаривают, да и этому скоро научим. А что? Читать, писать, рисовать, петь они умеют, в шахматы давно уже играют, в преферанс тоже учат; осталось только бальным танцам да ругательствам обучить — и напарник для проведения досуга, — Алексей сделал ударение на «о», — хоть куда!

Ирина не выдержала и расхохоталась. Улыбнулся и Алексей, подождал, когда Ирина успокоится, и продолжал:

— В общем, одно слово — кибернетика... Смехотой смехом, но иногда такие чудеса бывают, что прямо хоть в мистики записывайся. Как-то запустили задачу, и пошел я на другую машину. Тут же приходят: иди, сбивается. Прихожу, запускаю снова —

идет. Постоял минут пять — работает. Только отошел — опять сбилась. Подхожу — снова все в порядке. Так я час около нее простоял — и хоть бы раз остановилась! А стоило отойти — и опять сбилась. Потом весь цех над нами ржал: тебя, говорят, боится, хозяйка чувствует, а с другими шуточки откалывает...

— И в чем же дело было?

— А черт ее знает! Наверно, контакт какой-то барахлил; постучали мы ее, ячейки подергали — и все пошло.

Алексей взглянул на часы и вздохнул.

— Ну, поспиховали — и будя. Поеду... Постараюсь вернуться пораньше. А ты спи.

Но заснуть Ирине никак не удавалось. Все настойчивее думалось о том, что так дальше нельзя — надо наконец пожить нормально. «Нормально? Но он как будто и не считает, что мы живем ненормально... Или только не хочет так считать? «Я даю тебе не два года, а всю жизнь, и ты вольна прожить ее так, как тебе захочется...» Почему он это сказал? Господи, да что я такое говорю...»

Ирина испугалась, что снова начинается приступ ревности, и попыталась думать о другом: «А чего мне хочется? Не вообще, а именно сейчас? Быть с ним. Родить ребенка, да и пора уже, все-таки тридцать лет: если ждать еще два, не будет ли слишком поздно? А как же работа? На кого ее оставить?»

Если бы Ирина была начальником обычной поисковой партии, все решилось бы просто: Неделин нашел бы ей замену, и на работе это почти никак не сказалось бы. Но то была ее работа, ее и Владика, вынашивалась и готовилась она не один год, и, как думалось Ирине, результаты ее должны быть значительными. И она стала думать, нельзя ли сделать так, чтобы в ее отсутствие работа не пострадала.

И получалось, что нельзя. Заменить ее мог бы только один человек — Владик, но при его полнейшей неспособности к организационным делам это значило бы наверняка все завалить, да Владик и сам не взялся бы за это. Конечно, можно было бы найти человека, который легко бы справился с обычными обязанностями начальника партии, а Владик был бы при нем научным консультантом. Но Ирина знала, что такие союзы хороши лишь в теории, а на деле очень легко могло получиться так, что начальник партии взял бы всю власть в свои руки и все делал бы так, как сам считал нужным. «И что же делать? Ждать еще два года? А где гарантия, что за два года все удастся закончить? Это же только мои предположения, а не слишком ли они оптимистичны? Да и два года — это очень много...»

Она вспомнила, каким нервным был Алексей в эти дни, вспомнила его письма, в которых порой за обычными строчками легко угадывалась его тоска по ней, а может быть, не столько по ней, а вообще по женщине? Ну вот, опять ты об этом... Неужели я не верю ему? Почему я боюсь этой Тани? А ведь в самом деле боюсь... Если бы только знать, о чем они говорят и как говорят... А вот у него и тени сомнения в моей верности не возникает...

Она вспомнила разговор, вскоре после замужества. Алексей, только что вернувшийся из командировки, принес вместе с газетами и письмо для нее и, подавая ей, шутиливо сказал:

— А ты быстро обзавелась здесь корреспондентами. Уж не свет ли моей популярности отражается на тебе?

Ирина сразу увидела, что это анонимка, и, покраснев, сердито разорвала письмо и бросила его в корзину. Алексей удивленно посмотрел на нее:

— Однако как прикажете это понимать?



Ирина не нашлась, что ответить. Алексей, глядя на ее расстроенное лицо, догадался.

— Что, наши обыватели почтили тебя своим вниманием?

— Да.

— И часто они это делают?

Она промолчала, и Алексей серьезно спросил:

— Надеюсь, мне не нужно комментировать это послание?

— Ну что ты! — не очень естественно улыбнулась Ирина. — Конечно, нет. Неужели ты думаешь, что я верю этому?

— Думать так я не могу, — по-прежнему серьезно сказал Алексей. — Но, откровенно говоря, мне не очень нравится, что тебя так задевает эта...

— Да что ты, Алеша, — торопливо остановила его Ирина. — Нет, конечно, не задевает, просто... противно...

— Именно это я и имею в виду... Кажется, мне нужно все-таки кое-что объяснить. Видишь ли, я так уж воспитан, что издавна приучен не обращать внимания на то, что думают и говорят обо мне люди, которых я не знаю или знаю мало, а потому мнение их обо мне совершенно безразлично для меня. И такое высокомерие объясняется вовсе не моим пренебрежением к человечеству, а, наоборот, большим уважением к свободе и ценности человеческой личности вообще. А так как я к тому же еще и имею привычку говорить то, что думаю, то неоднократно имел неосторожность публично высказывать и эту еретическую мысль, чем, конечно, немало уязвил самолюбие тех людей, для которых такое «общественное» мнение значит весьма много... Я не слишком косноязычно выражаюсь?

— Нет, — невольно улыбнулась Ирина. Она уже знала эту манеру Алексея говорить.

— Отлично. Попутно надо сказать, что обыватель может простить все, что угодно, но только не пренебрежения к его мнениям и сомнений в его непогрешимости. А заодно уж выскажу и еще одну крамольную мысль, весьма близко соприкасающуюся с первой. По причине, вероятно, того же не совсем обычного воспитания для меня само собой разумеющимся является то, что отношения между людьми — а особенно людьми близкими — должны строиться на абсолютном доверии и уважении к человеческой личности, таком уважении, которое начисто исключает всякую подозрительность... Ирка, не перебивай, это к тебе никак относиться не может, ты слушай теорию... Так вот, в поведении каждого человека могут быть какие-то моменты, которые другому, возможно, покажутся несколько странными и непонятными... Я все еще исхожу из того, что каждая личность — это особый, неповторимый мир, живущий во многом по своим особым законам, и не всегда и не всем дано понять эти законы, но уважать их должно. И вот я, представь себе, почему-то считаю, что я вовсе не должен всегда объяснять эти странности — отчасти потому, что я сам не всегда понимаю себя, да и человеческий язык не настолько совершенен, чтобы всегда можно было словесами оформить то, что делается там. — Алексей пальцем показал себе на грудь. — Ну, а еще и по той простой причине, что человек, уважающий меня, должен верить мне... Это не чрезмерное требование?

— Нет, — засмеялась Ирина.

— Еще раз отлично, — улыбнулся и Алексей. — А теперь от голы теории перейдем к практике. Я действительно даже мысли не допускаю, что ты могла поверить этому... эпистолярию. Но ты права, читать это, должно быть, не слишком приятно. Отсюда мораль, что читать этого не следует. Тем более, что

мои дорогие сограждане, вероятно, еще не скоро оставят тебя в покое. Так что волей-неволей придется тебе вырабатывать иммунитет против столь агрессивного желания открыть тебе глаза на истинное положение вещей... А то может получиться чепуха, — серьезно закончил Алексей.

И сейчас, вспомнив этот разговор, Ирина даже покраснела от стыда за свои подозрения. «Господи, какая я дура!.. Неужели я верю сплетням? Нет, конечно, это было бы слишком уж унижительно. Тогда чего я боюсь? Мне нечего бояться, совсем нечего... Хватит, надо спать...»

Но заснуть ей так и не удалось. И когда Алексей приехал, он увидел, что она сидит на постели и смотрит на него.

— Ты не спала?

— Нет.

— Почему?

— Ждала тебя.

— Сколько у нас времени?

— Всего сорок минут.

— Я не мог раньше приехать.

— Я знаю... Какое у тебя усталое лицо...

— Да... Но это ничего.

— Конечно. Ты ведь сильный... Сядь со мной.

— Сейчас, только умоюсь.

— Не надо.

— Почему?

— Слишком мало времени. А это займет несколько минут.

— Да, ты права.

— Вот так... Дай сюда руки. Не надо меня целовать, а то я не смогу уехать.

— А ты не смотри на меня так.

— Не могу... Не надо смотреть на часы.

— Хорошо, не буду... Почему ты плачешь?

— Потому что я люблю тебя. И я счастлива... Не надо ничего говорить...

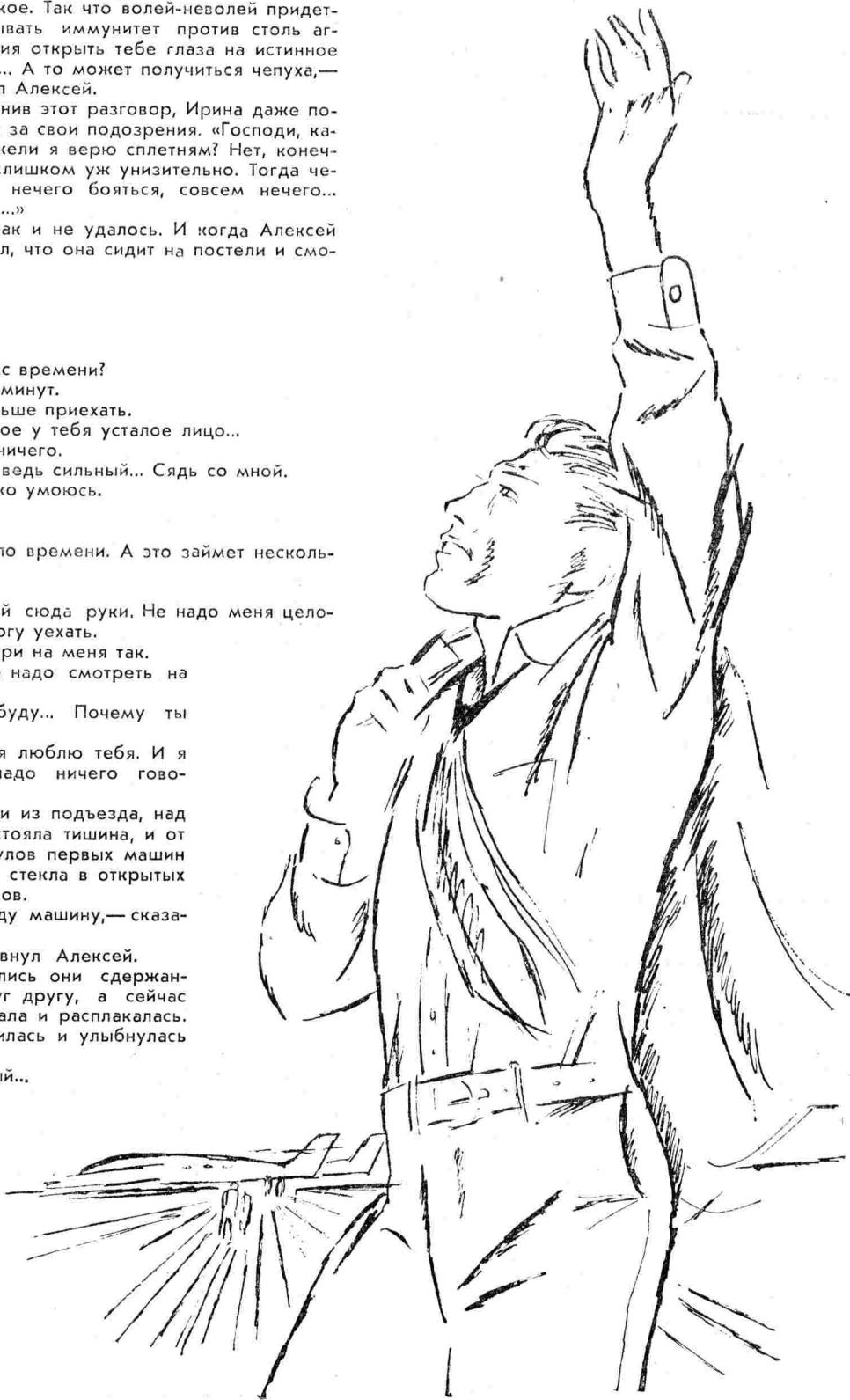
Когда они вышли из подъезда, над пустым городом стояла тишина, и от редких громких гулов первых машин тонко вздрагивали стекла в открытых окнах спящих домов.

— Я сама поведу машину, — сказала Ирина.

— Хорошо, — кивнул Алексей.

Обычно прощались они сдержанно, улыбаясь друг другу, а сейчас Ирина не выдержала и расплакалась. И тут же спохватилась и улыбнулась Алексею:

— Ну все, милый...



А увидев из окна самолета его высокую, резко очерченную солнцем фигуру, Ирина поняла, что не надо ни о чем больше думать, ничего решать, не надо идти в больницу, и с облегчением вздохнула: «Вот чуть не сглупила... И о чем я только думала?»

И когда самолет поднялся, она откинулась на спинку кресла и спокойно заснула.

19

«Ну вот, любимая моя, ты и уехала, и бывают минуты, когда я не совсем уверен, была ли ты вообще и не приснилось ли мне все это. Каждый день я думаю о том, когда мы снова увидимся, неужели только осенью? Ты все-таки подумай насчет Иркутска, хотя сейчас у меня еще меньше уверенности в том, что удастся поехать туда. На работе полнейший завал — и у меня и в других бригадах. Жара не спадает до глубокой ночи, и мы работаем всего по пять-шесть часов. Когда мы со всем этим справляться будем, не знаю. Если не будет похолодания, наверняка провалимся. А пока жара и духота невыносимые. И как же все-таки это бесчеловечно — заставлять людей работать в такие ночи. Я не о себе говорю — я привык и страдаю меньше других. Но ребята прямо с ног валятся, и я никому не могу дать передышки. Из Куйбышева вести тоже неважные — машина скверная, и мне сразу придется вылететь туда, как только сдадим эту машину. Так что пиши мне туда по обычному адресу: почта, до восстановления.

Как ты добралась? Ох, боюсь я иногда за тебя! Так боюсь, что начинают кошмары сниться. Все-таки единственная женщина среди трех десятков мужчин... Все еще не могу представить себе, как это. Ну ладно, не буду... Думаю о том, что мы будем делать зимой. Только как еще далеко до нее... Куда мы поедем? Может быть, в Бакуриани — помнишь, собирались еще два года назад? Но только именно поедем, а не полетим: мне осточертели самолеты, мутит уже от одного вида их.

А у меня приятная новость. Наконец-то закончилась эта долгая война. Сегодня было довольно бурное заседание техсовета вместе с московской комиссией — и решение, разумеется, было принято наше: снять машины с производства и приступить к освоению новых, — конечно, только с нового года. Поздравь меня, все-таки в этом деле есть и мой немалый вклад. И мы не лыком шиты, начальники! И кстати, это означает, что ночным работам конец: новые машины можно будет отлаживать днем даже и летом. Просто не верится этому.

Где ты сейчас, любимый мой человек? Что-то спокойно мне, и всегда кажется, что ты что-то недоговорила тогда, что-то было у тебя такое, о чем ты не хотела рассказать мне. Или мне это только кажется?

Почаще пиши, мне так нужны твои письма! До свидания. Целую. Твой Алексей.

Р. С. Только что принесли твое письмо — и я все еще не могу поверить, что это правда. Ничего лучшего ты не могла бы для меня сделать... Значит, в феврале? Но как же ты теперь будешь работать? Я ничего не понимаю в этом, но ведь теперь тебе надо думать и о маленьком: не вредно ли ему это? Пожалуйста, будь осторожна, прошу тебя, обязательно еще раз сходи к врачу, прежде чем уйти в маршрут. Знаешь, теперь я могу признаться: мне не раз хотелось попросить тебя сделать это. И каждый раз я заставлял себя думать о том, что у тебя

есть свое дело, и я не вправе мешать тебе. А теперь...

Я не могу писать, у меня трясутся руки. Иринка, любимая моя, красивая, умная, добрая... Ты хоть понимаешь, что ты такое для меня?»

В тот день, когда Алексей писал это письмо, Ирина стояла у подъезда зала Чайковского и тоскливо смотрела на счастливых обладателей билетов. В этот вечер она должна была лететь на Север, и уже приехала на городской аэровокзал, готовясь за чтением скоротать недолгие минуты ожидания, как вдруг увидела театральную афишу и стала просматривать ее. А когда прочитала, что в зале Чайковского будет «Stabat Mater», она пошла к диспетчеру и попросила переправить билет на завтра, на первый утренний рейс. И хотя знала она, что вряд ли ей удастся попасть на концерт, а если попадет, поздно будет ехать домой и придется провести утомительную ночь в аэропорту, а потом будет много часов полета, но так велико было ее желание послушать музыку, что она, не задумываясь, отложила вылет, прикинув, что успеет на местный самолет, вылетающий из Красноярска через полтора часа после прибытия московского.

А билетов не было, и не помогали никакие ее просьбы, и вот уже почти час стояла она у подъезда и уже не спрашивала, нет ли лишнего билета, — просто ждала чего-то, и контролер — маленький сухонький старичок — с ласковой участливостью рассматривал на нее. Прошло уже пятнадцать минут после начала концерта, и наконец Ирина решила испытать последнее средство. Краснея и неловко оглядываясь по сторонам, она подошла к ласковому старичку и торопливо сунула ему в ладонь скомканную в шарик пятерку:

— Пожалуйста, возьмите, мне бы только где-нибудь у двери устроиться... Очень прошу вас...

Она боялась, что контролер откажется, но он так же ласково улыбнулся ей и без всякого смущения взял деньги, незаметно исчезнувшие из его ладони, снисходительно сказал:

— Ну, зачем же у двери... Все будет в лучшем виде, не беспокойтесь.

И, закрыв дверь, он провел ее в амфитеатр, сказав предупредительным шепотком:

— Сюда извольте.

И усадил ее в мягкое, удобное кресло.

На счастье Ирины, «Stabat Mater» давали во втором отделении. В перерыве она не двинулась с места, стесняясь своего измятого костюма, наспех надетого в уборной аэровокзала. А когда началось второе отделение, она подалась вперед и так просидела все время в неловкой, напряженной позе, и когда кончилось все и один за другим стали гаснуть огни и выходили из зала последние зрители, она встала и медленно побрела на улицу. Она жалела, что пошла на этот концерт — музыка утомила и почему-то разочаровала ее, и она с недоумением спрашивала себя: почему «Stabat Mater» была одна из самых любимых ее вещей. Впервые услышав ее много лет назад, она решила тогда: такую трагически прекрасную и в то же время светлую музыку мог написать только Перголези, умерший в двадцать шесть лет и знавший о том, что умирает. А сейчас музыка показалась ей слишком красивой, слишком изящной, и она вдруг подумала о том, что Перголези не знал, что такое смерть, и его собственный конец наверняка был страшным и мучительным, совсем непохожим на ту смерть, которую он избрал своей музыкой. Но почему только сейчас,

после десятков прослушиваний, пришла ей в голову эта мысль?

Может быть, догадывалась Ирина, потому, что ей нужно от этой музыки, от этого города ехать туда, где все настолько по-другому, что кажется просто несовместимым с этой оживленной вечерней жизнью, с театральными афишами, огнями кафе и ресторанов и с музыкой Перголези?

И вдруг вспомнила Алексея и с беспокойством подумала о том, что она сама ничего не знает о том мире машин, в котором живет он... Ничего... А Таня знает... А Таня знает, в страхе повторила Ирина. Она тоже живет в этом мире, и ей не надо никаких усилий, чтобы понимать Алексея, чувствовать его — чувствовать так, как не может она, Ирина... Это и привлекает его к ней? Но тогда с этим ничего нельзя поделать, и все ее упреки и ревность бессмысленны...

Но только ли это?

И она снова, в который уже раз, обрадовалась своему решению и теперь боялась уже тех нескольких месяцев, оставшихся до встречи с Алексеем, и снова ей стыдно было за свою неуверенность в нем.

«Неужели я просто глупая, ревнивая баба? Теперь-то, когда он знает, что я совсем приеду к нему, — теперь-то чего бояться?»

Ей вдруг тяжело стало среди тесной толпы чужих, равнодушных людей, и она заторопилась, выходя из нее, остановила такси и поехала на аэровокзал. Но и там, среди тихого гула и яркого света, было ей неуютно, тоскливо, и она отправилась в аэропорт.

Светало. Ирина стояла у ограды, смотрела на холодные белые самолеты, думала о том, что уже завтра прилетит в лагерь, а послезавтра уйдет в маршрут — каким-то он будет? Сзади заговорила «Спидола», Ирина невнимательно прослушала последние известия, а потом стали передавать погоду. Там, куда она летела, было холодно, шли дожди, и она передернула плечами, представив, как будет спать в тяжелом и влажном спальном мешке и слушать тупой звук падающего на брезент дождя. Но тут же подумала: и хорошо, что дожди, значит, не будет пожаров и удастся до холодов сделать все, что намечено. И она вспомнила свое первое лето в тех местах, когда пожары сорвали ее работу.

Пожары ей приходилось видеть и раньше, но такого, что было в тот год, не помнили и старожилы. Тайга загорелась в начале июня, почти одновременно в десятках разных мест и горела до самой осени, пока не пошли дожди. Ее отряд, набранный с большим трудом, перебросили на спасательные работы, и она осталась в лагере вдвоем с Владиком охранять имущество и продовольствие. Все отговаривали ее от этого: кому нужно в тайге ее барахло? Да и что они вдвоем смогли бы сделать, если бы огонь подобрался к лагерю? Но они все-таки остались, и каждый день взбирались на близкую сопку, осматривались кругом, не идет ли и к ним огонь. Горизонт дымился сначала только на западе, но через неделю вокруг не было уже ни одного просвета. Они успокаивали себя тем, что горит далеко и, может быть, еще все обойдется, а нет — они всегда успеют прорваться по реке до Белого Камня. Они знали, что могут рассчитывать только на себя; на сотни километров вокруг не было ни души: всех людей самолеты и вертолеты перебросили на юг, к леспрохозам, — там надо было спасать технику, жилье, людей. Только потом они узнали, какой опасности подвергались. А тогда

они не догадывались, что пожары перерезали реку в нескольких местах и она обмелела настолько, что плыть по ней было невозможно. Спасло их только то, что не было ветра, и пожары медленно проползли где-то в стороне, неторопливо сжигая все на своем пути. Но тогда они ничего не знали — даже рацию у них отобрали. И они полтора месяца жили в этой пустыне, отсчитывая медленные жаркие дни. Два раза они слышали, как где-то высоко в небе гудел самолет пожарного надзора, и отсюда, с дымной горячей земли, долго смотрели, как медленно исчезает из виду маленькая красная точка — бесполезная, как детский флажок около развороченных рельсов, на которые мчится скорый поезд. Но все обошлось в то лето, если не считать того, что была сорвана программа их работ, но это было такой мелочью по сравнению со страшными опустошениями, причиненными огнем. Потом Ирине не раз приходилось идти по гарям и страшно и больно было смотреть на мертвые, искаленные деревья, на их обугленные стволы, слышать жуткую, неестественную тишину...

А в этот год пожаров наверняка не будет.

Объявили регистрацию билетов на Красноярск, и, протомившись полчаса до посадки, Ирина села наконец в самолет и, как только поднялся он, заснула. А когда проснулась, оказалось, что Красноярск закрыт и им придется сесть в Новосибирске. Там продержали их три часа, и в Красноярск прилетели вечером, когда самолет, на который должна была пересест Ирина, уже улетел. Ирина обругала себя за вчерашний концерт, невесело побрела по залу ожидания. Задержка была не просто на один день: теперь она никак не могла попасть на рейсовый вертолет до лагеря, он уходил завтра утром, а это значило или ждать неделю в городе, что никак нельзя было, или опять ехать на «газике» до Белого Камня. И, примирившись с такой перспективой, хотя при одной мысли об этом у нее начинало сосать под ложечкой, она стала устраиваться на ночь. «Так тебе и надо, дура», — меланхолически обругала она себя еще раз. «Но дуракам, как известно, счастье», — через пять минут она со смехом говорила об этом Славке Костыреву. А услышав его густой бас где-то внизу, она опрометью кинулась вниз, еще не веря в свою удачу. Ее удача на полголовы возвышалась над толпой.

Славка — добродушный тридцатилетний увалень, с которым она часто встречалась в компаниях, и он с комическими воздыханиями ухаживал за ней, — был пилотом грузового самолета, приписанного к геологическому управлению. Ирина бесцеремонно дернула его за рукав. Славка обернулся и присвистнул от удивления.

— Иринка-калинка-малинка моя, как ты здесь?

— Ты к нам?

— Нет, в Африку, — заулыбался Славка.

— Я серьезно.

— К нам, конечно, куда же еще!

— Когда?

— Сейчас вылетаем.

— Возьми меня.

— С радостью, моя радость.

Ирина с облегчением вздохнула и засмеялась:

— С меня причитается.

— Ну, еще бы! — довольно ухмыльнулся Славка. — Где твои шмотки?

— Я сейчас.

Пять часов полета она продремала, согнувшись в узком проходе рядом с креслом второго пилота. Когда пошли на посадку, она взглянула вниз, и не

узнала города, и не сразу догадалась, что изменилось в ее отсутствие: ночь была не белая, а только чуть-чуть светлая.

Аэродром был тих и темен, зал ожидания так густо набит утомленным народом, что приходилось пробираться осторожно, чтобы не наступить на спящих людей.

— Тебя устроить на ночлег? — спросил Славка.

— Нет, я к Неделину поеду.

— На чем же это ты поедешь?

— Придется звонить, чтобы приехал за мной, — вздохнула Ирина.

Ей не хотелось тревожить Неделина, но другого выхода не было.

Неделин приехал минут через сорок, раздвинул губы в дружеской улыбке:

— Ну, пропащая душа, как дела?

— Нормально, — улыбнулась в ответ Ирина.

— Ну, идем...

Поговорили немного о делах. Ирина спросила, что слышно об ее отряде. Неделин сказал, что как будто все в порядке, что шофера он ей нашел, дожидается здесь вместе с «газиком». Ирина начала задремывать, просыпаясь на поворотах от толчков, и снова засыпала.

Когда приехали, она еще пыталась о чем-то говорить, но Неделин скомандовал:

— Отставить разговоры. Спать!

Ирина вздохнула и посмотрела на часы: спать ей оставалось меньше трех часов.

— Сигареты я тебе привезла.

— Спасибо. У тебя все хорошо?

— Да.

— Ну, спать.

Когда звон будильника вырвал ее из сна, было двенадцать, и Ирина испуганно вскочила. Увидела записку Неделина, на ней ключи от машины.

«Ты так спала, что будить тебя было бы бесчеловечно. Я сменю рейсы — полетишь в два. Еда в холодильнике. Дверь захлопнешь, разыщешь в аэропорту Володю Михайлова или Диму Елисеева, отдашь им ключи от машины, они пригонят ее обратно. Как встанешь — позвони, авось, я и буду на месте. На всякий случай — до встречи, недели через три наведаюсь к тебе. В.»

Она улыбнулась и стала собираться.

На аэродроме пилот — тот самый, что отправлял когда-то ее письмо Алексею, — зажмурил один глаз, словно прицеливаясь:

— Это не по твоей милости мне график поломали?

— Может быть, — неопределенно улыбнулась Ирина.

— Ну, садись, поехали.

Когда закачались под нею, выростая, дома и палатки лагеря, Ирина, стоя на дрожащем железном полу вертолета, подумала:

«Вот я и дома...»

И, не дожидаясь остановки винта, открыла дверь и прыгнула на высокую мокрую траву.



**Юрий
Воронов**

СТИХИ О БЛОКАДЕ

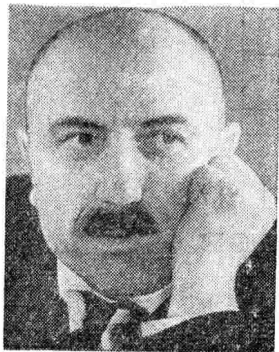
Надо жить

Когда живое все от взрывов гложло,
А он не поднимал ни глаз, ни рук,
Мы знали: человеку очень плохо.
Ведь безразличие хуже, чем испуг.
Мы знали: даже чудо не излечит.
Раз перестал он жизнью дорожить.
Но был последний способ — взять за плечи
И крикнуть человеку: «Надо жить!»
Приказом и мольбой одновременно
Звучал тот полупшепот-полукрик.
И было так: с потусторонним пленом
Вновь расставался человек в тот миг...
И если вдруг от боли или муки
Я стану над судьбой своей тужить,
Ты, как тогда, на плечи брось мне руки
И, как тогда, напомним: надо жить!..

31 декабря 1941 года

По Ленинграду смерть метет,
Она теперь везде, как ветер.
Мы не встречаем Новый год,
Он в Ленинграде незаметен.
Дома — без света и тепла,
И без конца пожары рядом.
От бомб сгоревшие дотла
Стоят Бадаевские склады.
И мы бадаевской землей
Теперь сластим пустую воду.
Земля та пополам с золой —
Наследье прожитого года.
Блокадным бедам нет границ:
Мы гложем под снарядным гулом,
От наших довоенных лиц
Остались лишь глаза и скулы,
И мы обходим зеркала,
Чтобы себя не испугаться...
Не новогодние дела
У осажденных ленинградцев...
Здесь даже спички лишней нет.
И мы, копилки зажигая,
Как люди первобытных лет,
Огонь из камня высекаем.
И тихой тенью смерть сейчас
Стоит за каждым человеком.
И все же в городе у нас
Не будет каменного века!
Кто сможет, завтра вновь придет
В промерзшие цеха заводов.
...Мы не встречаем Новый год,
Но утром скажем: — С Новым годом!..

Кайсын Кулиев



Перевел
с балкарского
Н. ГРЕБНЕВ.



Мне жизнененавистники грозили:
— Из чувств людских познаешь только гнев.
Ты будешь ненавидеть и в бессилье
Ни трав не станешь славить, ни дерев!
Я отвечал им: — Нету сил на свете,
Которые заставили б меня
Не славить трав, когда их треплет ветер,
Деревьев в свете солнечного дня!
Грозили мне враги всего живого:
— Мы свой еще исполним приговор,
Ты землю проклянешь, не скажешь слова
Во славу снега, и дождя, и гор!
Я отвечал: — С землею этой милой
Меня связала радость и беда.
Хотя она и будет мне могилой,
Не проклянью я землю никогда!
Грозили громогласно мне и молча.
Твердили: — погоди, сомкнется круг,
Ты волком будешь выть и жить по-волчьи,
Считать волками всех, кто есть вокруг!
И отвечал я, тем угрозам внемля:
— Я на земле не волк среди волков.
Я буду чтить, пока не лягу в землю,
Певцов земли, героев, мастеров!
Мир предо мною заслоняли тенью,
Так, что порой не видел я ни зги.
В мои надежды и в мои стремленья
Стреляли, как в заложников, враги.
Смерть у меня стояла в изголовье,
И все же я судьбу свою не клял
И землю, что своею красил кровью,
К груди еще сильнее прижимал.
Все, чем владел я, отнимает старость.
Но изо всех сокровищ с прошлых дней
Моя любовь — любовь к земле осталась,
К тем, кто живет на ней, почует в ней!



Когда-то, каждую весной,
Я цвел, во мне играла сила.
И солнце в небе надо мной
Всходило и не заходило.
Я песни девушкам слагал,
Я лстил, не думая о лести,
Им сердце под ноги бросал,

Распластываясь с сердцем вместе.
Я думал: молодость навек
Дается людям, как награда.
И таял, как весною снег,
Я от девического взгляда.
Теперь мой сад уже поблек,
И это понял я однажды.
Искавший некогда тревог,
Я их бегу, покоя жажду.
Но женщин все же иногда
Дарю я восхищеньем поздним,
И хоть зашла моя звезда,
Я рад чужим взошедшим звездам.
Пусть я, который стар и сед,
Теперь для женщин мало значу,
И нынче я смотрю им вслед,
Но раньше пел, теперь я плачу.
С кувшином девушка идет,
И в мире будто больше света,
И хоть из глаз моих течет
Слеза, спасибо и за это.
А девушка через века
Идет, несет красу земную,
Как будто бы из родника
В кувшине воду ключевую.



Рождается на свет дитя
И землю плачем оглашает.
Лишь после, много дней спустя,
Дитя смеяться начинает.
Был путь мой легок и тягел.
Я жил, как жил, а не иначе:
Я плача в этот мир пришел,
Я этот мир покину плача.
Я знаю: там, уйду куда,
Трава не упадет мне в ноги,
И полуночная звезда
Не озарит моей дороги.
Я знаю: камень и вода,
Цветенье ив, леса и реки —
Все было только здесь всегда
И здесь останется навеки.
И не окончится со мной
Ручьев журчанье, трели птичьей
И грешной женщины земной
Непостижимое величье.
Здесь был мне счастьем каждый шаг,
И снег, и дождь, и звон капели,
И дом, где теплился очаг,
И небеса, где звезды тлели.
Мое добро — лишь облака
Да каменистая дорога,
Река, цветение цветка,
Земная радость и тревога.
И я прошу, как пращур бога
Просил в прошедшие века:
«Продлись, мой путь, еще немного,
Не гасни, мой огонь, пока!»

Девушке

Когда идешь весенним днем
Ты по траве и пыли здешней,
Как хочется мне петь о том,
Что чуден мир порою вешней!
Стоишь ты летом на лугу,
И песню я пою о лете.
Ты рвешь цветы, и, как могу,
Я славлю все цветы на свете.

Я вижу след твоих шагов
 На тропах золотого сада,
 И я поклониться в том готов,
 Что чудно время листопада.
 По снегу ты идешь зимой,
 И как бы ни был мир завьюжен,
 Я говорю: «В стране земной
 Нет ничего прекрасней стужи».
 Пусть было бы все плоше сплошь
 И было б в мире больше злобы,
 Он был прекрасен все равно бы,
 Покуда в мире ты живешь.



Много было всяких дней,
 И ночей, и тропок торных.
 Белых я седлал коней,
 А порой скакал на черных.
 Как ни холодна зима,
 Все равно настанет лето.
 Брат с сестрою — свет и тьма,
 Нету ночи без рассвета.
 И нарушить не вольны
 Мы основы мироздания,
 Чей закон существованья —
 Вечное чередование
 Черноты и белизны.
 То, что черно, то, что бело,
 Не бывает без предела.
 Все на месте, и беда,
 Что, где черно, а где бело,
 Мы не видим иногда.



- Что составляет наше достоянье!
- Прекрасный мир, в котором мы живем!
- Что нам приносит большее страданье!
- Все тот же мир, в котором мы живем!
- Что может даровать нам утешенье!
- Работа наша, больше ничего!
- Что на земле достойно уваженья!
- Достойны мастера и мастерство!
- На свете горе большее какое!
- Без родины остаться, без друзей!
- Какое счастье самое большое!
- Жить на земле, не расставаясь с ней!

Яков

Хелемский



За лозняками блестит синева,
 Ветви над стрижнем сомкнулись, как своды.
 Вьются, на карте заметны едва,
 Скромные русла, негромкие воды.

Но прогремели на все времена,
 В памяти не обмелеют вовеки
 Сороть, Непрядва и Березина —
 Малые реки, великие реки.

Сакли на скалах в дыму и снегу.
 Облако, мягко вливаясь в ущелье,
 Входит в кунацкую, льнет к очагу
 У небожителей на новоселье.
 Нет, не присуща горам немота.
 Люди и камни достойно воспеты,
 Как завещали Махмуд и Коста —
 Малых народов большие поэты.

Медленный быт рядовых городков,
 Мир палисадников и голубятен,
 Весь, как звучанье забытых стихов,
 Для современников малопонятен.
 Но сквозь глубинную ту тишину
 С нынешним днем перекликнулся гений.
 И небоскребов сквозных современной
 Домик в Калуге и домик в Клину.



Подходит апрель-зимобор,
 Подточены льдины.
 Чернеет очнувшийся бор,
 Теряя седины.
 Темнеют и луг и река,
 Но в виде поблажки
 Завалены снегом пока
 Крутые овражки.
 Безветренный хмурый денек
 Возник молчаливо —
 Подчеркнуто скромный пролог
 Весеннего взрыва.
 В природе бело и черно,
 Куда вы ни глянете,
 Как в старом двухцветном кино,
 В немом варианте.
 Все будет — и щебет, и гром,
 И щедрость палитры.
 Но вязнут в суглинке сыром
 Начальные титры.
 И только ручей, как тапер
 В нетопленном зале,
 Безмолвную наперекор
 Бренчит на рояле.



Жесткий лист глянцевого лавра
 Громогласным литаврам под стать.
 Спутник модных, удачливых, славных,
 Он приучен победно блистать.
 Чуждый будням, по всей своей сути
 Устремленный к лучам торжества,
 Он изнежен. И, не обессудьте,
 Нам дороже иная листва.
 Пусть она терпеливей и проще,
 Нам служили всегда образцом
 Не парадные кущи, а рощи
 В повседневном убранстве своем.
 Может статься, за будни в награду
 Вдруг нагрянувший праздничный час
 Блеском рампы и громом парада
 Мимолетно порадует нас.
 Все равно утверждаем без позы —
 Нам венков триумфальных милей
 Сердцевидные листья березы,
 Листья кленов — ладони друзей.

СТАНИСЛАВ
РАССАДИН



1. «Ты жизнью отомстишь за все страдания»

У большого поэта Советской Армении Егише Чаренца есть стихотворение «Кудрявый мальчик». В этих стихах веселый и мерный топот пионерского отряда, шагающего по старой армянской дороге мимо заброшенного кладбища. И вдруг один мальчик выбегает из строя...

Он подходит к камням и, всмотрясь,
принимается скрестить их ногтями
и стирает присохшую грязь,
затянувшую надпись на камне.
И тогда: «Здесь покоится прах
Егише, — он читает, — Чаренца, —
И дочитывает второпях:
— Стихотворца, Маку уроженца». —
И, как бы объяснения ища,
он стоит, смотрит вдаль, размышляет.
И, сорвавши отросток плюща,
с ним покинутый путь продолжает.

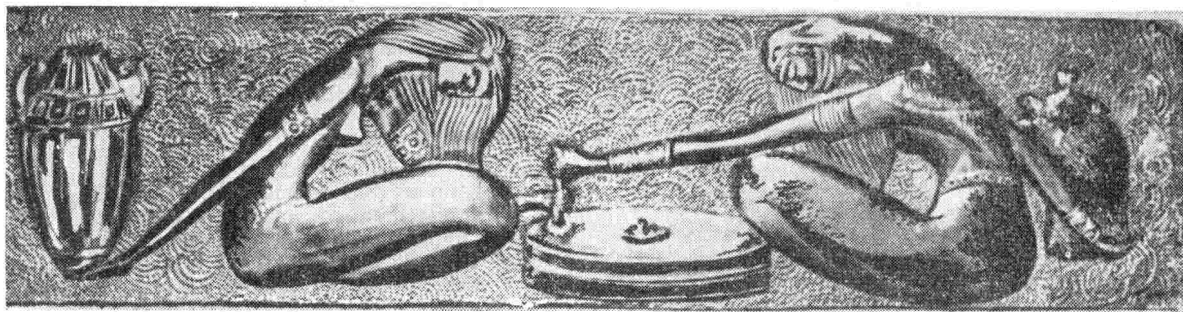
Картина эта — воображенная поэтом, а не реальная; но она уже загодя так мучительна для Чаренца, что в его словах, обращенных к мальчику будущего, звучат сегодняшние, сиюминутные страсть и тоска:

О, вернись, там ведь сердце мое!
Растопчи его, ножкам в забаву.
Ты, всех жажд моих ключ и питье,
наша будущность, мальчик кудрявый!
(Перевод Б. Пастернака.)

Поэту (и только ли поэту?) необходимо знать и верить, что между прошедшим и будущим не порвется «связь времен», что нынешние дела и слова отзовутся в делах и словах «младого, незнакомого племени».

Но обратим внимание: это обычное для человека и человечества желание связано у Чаренца с каким-то странным самоотречением. «Растопчи его, ножкам в забаву» — ведь это сказано о собственном сердце. Значит, забота не о себе. Продолже-

преодоление



Заметки
об армянской
поэзии

ние и восстановление связей так важны для Чаренца, что себя самого, свое сердце он даже готов принести в жертву.

Стихотворение «Кудрявый мальчик» написано в двадцатые годы. Но и в недавних стихах другого армянского поэта, Сильвы Капутикян, в стихах, обращенных к ее собственному «кудрявому мальчику», к сыну, и завещающих ему родную историю, родную культуру и родной язык, звучит похожее самоотречение:

И если мать забудешь ты —
Армянской речи не забудь.
(Перевод В. Звягинцевой.)

Чеканка
Рубена Шахбаза.

Здесь при желании можно уловить логическое противоречие. Ведь культура — это память не только ума, но и сердца. Уважение к Родине и к матери неразрывно. И невозможно стать подлинным человеком и подлинным сыном Родины, топча — «ножкам в забаву» — память о матери.

Что же, выходит, Сильва Капутикян не понимает этого?

Понимает, конечно. Понимает даже с особой остротой: она ведь не только поэт, она и мать. Но жажда видеть сына свято хранящим любовь к языку, культуре и истории народа так велика, что Капутикян готова — ради того, чтобы дорогая ей мысль прозвучала сильнее и громче, — пожертвовать правом матери на сыновнюю любовь. Даже вопреки логике.

Мне кажется, все это обусловлено историей Армении, страны, с величайшим трудом и с величайшими потерями отстаивавшей — и отстоявшей — право на жизнь, на родной язык, на хранение и созидание собственной культуры.

У каждого народа, дорожащего своим прошлым и, значит, будущим, есть пантеоны, где — хотя бы и после смерти, хотя бы и во прахе — собраны воедино те, кто прибавил народу славы. Пантеон Армении волей судьбы и злой силы разбросан по свету:

Наш пантеон не пышен, не просторен:
Всего лишь несколько простых могил.
О мой народ, богатый смертью, горем,
Где ж ты других великих схоронил?
Веками в горьких думах об Отчизне,
Они трудились от нее вдали:
Родного крова не нашли при жизни,
По смерти не нашли родной земли.
...А сколько их под острым ятаганом
В немой пустыне обрело конец!
Могилы их — сухой песок с бурьяном
Да боль живущих, раны их сердец.

(Сильва Капутикян. Перевод В. Звягинцевой.)

В сердце каждого армянина (это тот случай, когда слово «каждого» звучит без преувеличения) рядом с любовью к родному краю — боль за его прошлые беды.

Армяне веками жестоко страдали от завоевателей, но начало двадцатого века принесло им беду, невиданную прежде не только их историей, но историей всего человечества. Сперва султан Гамид, а потом, в 1915 году, и младотурецкая партия, пробившаяся в Турцию к власти, осуществили геноцид — сознательное и хладнокровное истребление целого народа, от мала до велика. Полтора миллиона армян погибло в том страшном пятнадцатом году от рук солдат Талаата-Паши, прозванного «великим убийцей», и подобных ему.

Да, это был геноцид, подавший пример Гитлеру. Тот и не скрывал, что резня армян и недолгая память мирового общественного мнения ободрили его на лагеря смерти и газовые печи.

Горький писал:

«Память воскрешает трагическую историю Армении конца XIX и начала XX веков, резню в Константинополе, Сасунскую резню, «великого убийцу», гнусное равнодушие христиан «культурной» Европы, с которым они относились к истреблению их «братьев во Христе», позорнейший акт грабежа самодержавным правительством церковных имуществ Армении, ужасы турецких нашествий последних лет, — трудно перечислить все трагедии, пережитые этим энергичным народом».

Вот армянский поэт Геворг Эмин рассказывает о пире в старом, дореволюционном Ереване, о пире, который чтится стать веселым: «Все, кто не в духе,

лучше уходите, и пусть ничто наш пир не омрачит!»
Но бесшабашное веселье длится недолго.

И грустные армянские глаза,
извечную печаль свою скрывая,
ждут радости, и молят, и взывают:
споем чего-нибудь повеселей!
— «Шел снег весной...»

— Нет, эта не годится —
она грустна, давай споем другую!
— «Ах, время, ах, безжалостное время...»
— Нет, что-нибудь давай повеселее!
— «Плачь о моем несчастье...»

— Не плачь, мне в пору плакать самому...
Смолкает смех.

Веселье иссякает.
И радость улетает безвозвратно,
как ласточка.

И снова «ахи», «охи»,
и мысли безутешные, и вздохи,
и речь идет о крови, о резне...

(Перевод Ю. Левитанского.)

Однако, быть может, эта постоянная боль не только возвышает, но и коверкает душу народа? Быть может, она заставляет его жить одной только ненавистью, сковывая страсть созидания?

Нет!

Свое большое стихотворение (или маленькую поэму) «Раздумья на полпути» Сильва Капутикян даже начинает горьким эпиграфом из армянского поэта Сиаманто, погибшего в 1915 году: «О человеческая справедливость, пусть плюну я тебе в лицо!» Да и в самом стихотворении говорится, что первая встреча поэтессы с историей своего народа показала ей мир в жутком свете: «и отравила горечью всю душу». Так что же делать? Забыть все, что было? Или, напротив, лишь ненавидеть и мстить?

Нет, мой народ!
Ты должен гнев избыть.
Чтоб успокоить страждущее сердце.
Не сеять смерть, не крови море лить —
Другое ты найдешь для мести средство.
О ты, который в траурную ночь,
Когда тебе вонзали в спину нож,
Когда глаза туманились от скорби,
Когда, казалось, гнев твой все затмил,
Ты смог достойно, молодо и гордо
Взглянуть на пробуждающийся мир
И за идеи равенства и дружбы
Оружье взять израненной рукой.
Нет, нынче не поднимешь ты оружие,
Ты путь возмездья выберешь другой!

История армянского народа совершила крутой поворот в дни Октябрьской революции, когда он встал «за идеи равенства и дружбы». В этом Сильва Капутикян видит источник своего исторического оптимизма и источник душевных сил народа:

Ты жизнью отомстишь за все страдания!
Отмстишь за разрушения — созиданьем,
Отмстишь за Ван сожженный — Ереваном,
За выселения — со всех земных широт
Вернувшись в Отчизну караваном!
Ты так живи!
Ты так живешь, народ!

(Перевод В. Корнилова.)

Это не декларация, рожденная одним только рассудком. Жажда выправления души, преодоления боли так явно и лично выстрадана Капутикян, что вот и я, русский читатель ее стихов, думаю сейчас о моей собственной давней боли; думаю об отце, убитом в ополчении в сорок первом году; думаю о том, что ведь не исключена в конце концов возможность моей встречи с неузнанным гитлеровцем (он и не

будет никогда узнать), убившим тридцатилетнего московского парня, которого я и запомнить-то как следует не успел; думаю и еще яснее понимаю: чем же отвечать мне на давнее зло, если не нынешним неприятием слепой ненависти, тупой узости, шовинизма?..

В «Раздумьях на полпути» Капутикян прикоснулась к извечной задаче поэта — преодолевать земные трагедии, открывать людям свет. А помогла ей в этом личная, лирическая, причастность к судьбе и характеру народа, к душевному его здоровью.

Сама Сильва Капутикян говорит об этой взаимосвязи прямо:

Посвящено все лучшее во мне
Твоим метаньям от стены к стене,
Твоим путям, где каждый поворот
От века был заляпьем закодирован,
И твоему спасенью, мой народ,
И возрожденью в мире нашем новом.

(Перевод М. Петровых.)

Мне кажется, она имеет на это право.

Даже в стихах о любви — чаще грустных и драматических — точнее, в лучших из них, Сильва Капутикян живет тем же стремлением к душевному обновлению, к преодолению боли.

«Судьба мне все дала, что я хотела, и лишь любви счастливой не дала» — это сознание могло бы наглухо замкнуть душу для всего мира. Но получилось иначе. Оказывается, и несчастье в любви можно осознать как своего рода дар, хотя и тяжелый дар. Дар понимания и сочувствия, умения открывать сердце чужим бедам:

Чтоб всех моих разбросанных по свету,
Неведомых, мятущихся сестер
Огни сердец, которым счета нету,
В моих стихах слились в один костер.
И чтобы в книгу книг моей земли,
Столетиями долгими увенчаны,
Волнения и вздохи женщины
Еще одной страницей легли..

(Перевод Б. Окуджавы.)

По-моему, это упрямое преодоление — черта не только личного, но и национального характера. А впрочем, разве может быть иначе? Разве характер формируется вне национальной среды?

Да еще характер поэта.

Да еще в Армении — с ее повышенным национальным сознанием.

2. «Недоступный для небытия»

Давно замечено: люди, познавшие трагедию, особенно дорожат жизнью. Миром. Природой.

Илья Эренбург сказал об армянах:

«Будучи людьми вполне современными, прекрасными физиками, астрономами, химиками, инженерами, в глубине домов, вернее, в глубине сердец они помнят язык горного ключа».

Поэзия Армении, как положено поэзии, воплотила в эту черту своего народа. Природа — ее постоянный и любимый герой.

Сильва Капутикян ищет в природе поддержки своим любимым мыслям, ищет черты всеобщего «обновления» (так стихотворение и названо): «А сад расцвел, хоть погибал от стужи и от дрожи... Людское сердце как земля, душа людская — тоже».

А Геворг Эмиц, обычно ироничный, эффектный и парадоксальный, становится нежным и тихим, мечтая написать слова на музыку дождя, зарифмовать ветер, понять мелодии осеннего леса.

И, быть может, как раз потому-то, что такое отношение к природе в армянской поэзии привычно и традиционно, резким диссонансом звучит в ней сти-

хотворение того же Эмина, в котором он гневно обрушивается на равнодушную природу как на согласная и соучастницу преступлений:

И — полумесяц!
Луч его сверкал!
Взлетел
На янычарском ятагане.
Покуда молча падали армяне,
Армянки
Умирали среди скал...
Наравне с преступником виновен
Свидетель —
Соловей или цветок,
А ятаган грешил с убийцей вровень,
И лунный серп,
Как янычар, жесток.

(Перевод Б. Слуцкого.)

Разумеется, я и не думаю укорять поэта. Диссонанс осознан. Больше того, он, по-видимому, и рассчитан на читателя, с особой нежностью относящегося к природе. Можно ли, в самом деле, дать армянину острее почувствовать, как страшны и преступны в современном мире безучастность и равнодушие, чем показав, что и сама прекрасная природа может оказаться зараженной ими?

По сути, это тоже проявление любви к природе. Только, так сказать, от противного...

Амо Сагиян, один из лучших поэтов современной Армении, тонкий и верный поэт ее природы, проявляет свою любовь откровеннее, естественнее и гармоничнее. У него с ней отношения родственно-близкие.

Причем эта родственность прямо-таки биографическая.

Уроженец высокогорного Зангезура, Сагиян вырос среди армянского камня и армянского дерева. В лес он входит, как в отцовский дом (так и сказано: «лес добрый, как отец»), а природу жалеет, как, наверное, жалел в детстве теленка или собаку. В любви его к ней — что-то крестьянское, изначально, родовое. Недаром старый утес, как шапку, нахлобучивший небо и всем вокруг припадающий подарком («голубю лесному — горстку зерен, а косуле горной — тишину»), поражает Сагияна сходством «с кем-то очень близким. Черт возьми, ну, конечно, с дедом Хачипапом...». А собственное терпение Сагиян сравнивает с рабочей крестьянской скотиной: «Терпение мое — мой вол, он тянет плуг, покуда может...»

Впрочем, ведь и у сугубого урбаниста Валерия Брюсова были строки: «Вперед, мечта, мой верный вол! Неволей, если не охотой!»

Да, но волеи эти разные.

Брюсов, этот «гений трудолюбия», наделяет свою мечту (даже мечту!) терпеливостью, которой традиционно отличен вол, символ трудолюбия и терпения. Заметим: символ! Амо Сагиян говорит как будто то же самое, но вол у него лишен символической абстрактности, он «надежда семьи бедняков», реальнейшее воспоминание собственного детства, во плоти и крови:

Сено, солому щипал из скирды.
Сам был ходячей скирдой доброты,
Жребий извечной терпел тяготы
И маеты.

Вечер... Темнею, как неба край.
Я — тот же вол. Плуг мой — песня моя.
Все же, хоть пот с меня льет в три ручья,
Тяну еще я.

(Перевод Т. Спендиаровой.)

Реальность, осязаемость, «вещность» того, с чем поэт сравнил собственное терпение, сильно меняет дело. Привычная метафора приобретает еще и живой запах опыта, мы не только понимаем мысль по-

эта, но и ощущаем его связь с этим непозабываемым опытом, с землей, с корнями.

Этим мог бы гордиться Амо Сагиян. Я говорю «мог бы», потому что поэтам, обладающим истинной связью с народными корнями, как правило, не до горделивого самоутверждения. Эта связь осознается ими скорее как ответственность, а не как льгота.

Что касается Сагияна, то он знает — притом с крестьянской основательностью: корни нужны затем, чтобы рождать плоды. И сама эта основательность не приковывает его ног к земле; она опора для прыжка, взлетная площадка.

Образы Сагияна нередко в своей основе фольклорны. Именно — в основе; ни меньше и ни больше. Беря тот или иной образ у народа, Сагиян возвращает его своим кредиторам в обогащенном, преображенном виде.

Армения — страна камня. И так же, как в русском фольклоре то и дело нежно поминается березка, в армянской народной поэзии другом и союзником предстает камень. Камень, из которого строят жилища и складывают очаги.

То же и в стихах Амо Сагияна. Он о себе самом говорит: «В семействе каменном вращен, усвоив каменный закон...», «Мне в колыбели камни пели...»

Однако это еще не свидетельство индивидуальности поэта и даже не свидетельство его национальной характеристики: подобное встречаешь у многих поэтов гор. Зангезурец Сагиян здесь, скажем, очень близок балкарцу Кулиеву. Интереснее другое: как трансформируется исконный образ, каким душевным и интеллектуальным опытом он обогащается.

Вот стихотворение Сагияна «Шиповник». Оно возникло на основе случайного наблюдения: над пропастью нависает утес, закрывший собою небо, а на нем вверх корнями растет куст шиповника — на одном граните, не видя неба и не зная земли.

Растет неприхотливое растение,
Вбирая влагу с тучи, как с руки,
И видя солнце лишь как отражение
От волн текущей в пропасти реки...
Он выше всех своих невзгод и тягот,
Он расцветает каждую весну
И сгустки крови — капли алых ягод —
Роняет осенью на крутизну...
В родимую скалу уйдя корнями,
Растет шиповник, мира не хуля,
Нет неба, нет земли, есть только камень,
И этот камень — небо и земля.

(Перевод Н. Гребневой)

Конечно, это сказано и о своем народе, сумевшем среди мертвого камня создать живую жизнь. И вообще о душе человека, умеющей гармонизировать мир, упорядочивать хаос, создавать небо и землю, находить границу между добром и злом...

Дело здесь не в примитивных аллегориях. Амо Сагиян, размышляя над судьбой бедного пасынка природы — шиповника, выросшего на голом камне, в полном смысле ищет духовной поддержки у «неприхотливого растения». Учится у него!

Ощущение родства с природой, с землей — тоже своего рода историзм. Человек, приобщаясь к истории Земли, уча язык праматери-природы, начинает чувствовать себя сильным, всепонимающим, даже вечным.

Армянину Сагияну, мне кажется, должен быть близок русский поэт Заболоцкий, сказавший: «И сам я был не детище природы, но мысль ее! Но зыбкий ум ее!» Сагиян сознает себя столь органично вошедшим в мир природы, что говорит о ней как бы изнутри ее самой. Именно так:

На склоне горном брезжит лунный серп,
Как сколок снега светло-синий,

А ледистый снег на каменной вершине —
Как лунный серп, идущий на ущерб.
Так сердце поздний разум набирает,
Иль помутился духом человек,
Что в образе едином совмещает
Небесный свет, наземный снег...

(Перевод А. Тарковского.)

То, откуда поэт черпает свои сравнения, свидетельствует о его глубинном опыте, об основах его характера. Маяковский, оценивая строчку начинающего поэта: «Ночь, грузная, как автобус», — сказал, что эта метафора — проявление современного мышления. Старый поэт написал бы: «Автобус, тяжелый, как ночь».

Сагиян сравнивает природу с самой природой: снег с луной и луну со снегом. И сам с некоторым даже удивлением сознает, как природа близка ему.

Геворг Эмин парадоксально обвинял «равнодушную природу». Амо Сагиян само это «равнодушие» понимает по-другому — в том смысле, в каком понимал его наш Пушкин:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Размышляя о природе, человек, а тем более поэт неизбежно начинает размышлять и о себе, о своей жизни, о собственной смертности и о бессмертии природы, мира, вселенной.

В гениальных пушкинских строчках, как будто говорящих о примирении с неизбежностью конца, вдруг вспыхивает отнюдь не смиренная ревность к тому, что переживает нас: «и равнодушная природа...». Прекрасно, что мир не уйдет вместе с тобой, — и до боли обидно, что величественная природа равнодушна к твоей смертности.

Противоречие? Если угодно — да, противоречие. Примерно такое же, что и в стихах Есенина, сказавшего: «И эту гробовую дрожь как ласку новую приемлю» — и опровергнувшего свое спокойное «приемлю» словосочетанием «гробовая дрожь», страшным, неприемлемым для живой души.

Это естественное противоречие — проявление душевной мудрости, сложных и одновременно простых отношений с миром.

У Амо Сагияна есть стихи, заставившие меня вспомнить эти «противоречивые» строки классиков.

Когда умру, прожив остаток лет,
Деревья шелестеть не перестанут.
На пятом этаже погаснет свет,
Твои глаза чуть-чуть темнее станут...

Так начинается стихотворение, в котором ясно звучит все та же самая ревность к «равнодушной природе», к деревьям, которые и проводив нас не оставят своего безучастного шелеста. Но вот размышления движутся дальше, поэт словно бы окидывает взглядом мир, который останется после него, видит птиц, детей, цветы — вообще жизнь, идущую своим чередом, и обида постепенно вытесняется душевным равновесием. Те же самые слова, расположенные в несколько ином порядке, несут в финале уже иную, на глазах у нас преобразившуюся мысль:

На пятом этаже зажжется свет,
Твои глаза опять искриться станут.
Когда умру, прожив остаток лет,
Деревья шелестеть не перестанут.

(Перевод С. Сорина.)

Как воскликнул когда-то Юрий Олеся: «Да здравствует мир без меня!»

Это душевное равновесие, это преодоление страха смерти дала Сагияну близость к душе природы

ды. Близость, о которой он сказал с достойным сознанием собственной правоты:

Самой природы зрение и слух,
я — дух ее, но ставший плотью — дух.
Ровесник и свидетель детских лет,
с природой рос и с ней вошел в расцвет.
Я — недоступный для небытия
двойник самой природы — вот кто я!
(Перевод Ю. Ряшенцева.)

3. «Нет, не уgomонимся!»

В стихах Амо Сагияна сказано о перелетных птицах:

Чувствуя зовы тысячелетий
И подчиняясь зовам,
Вы поднимаетесь на рассвете,
Мчитесь походом новым.
Как же ни ветер, ни лихорадка
Не изменили хода
Староклассического порядка
Вашего перелета?
(Перевод О. Чухонцева.)

Литературный термин неспроста вошел в стихи о природе. Это сказано о себе. Стих самого Сагияна, чуткий к современности, все же опирается на великую «староклассическую» традицию армянской поэзии.

А стих другого интереснейшего поэта Армении, Паруйра Севака, напротив, подчеркнуто современен. Вообще два эти поэта, Сагиян и Севак, во многом близкие, в то же время нередко словно нарочно спорят друг с другом хотя бы в отношении к той же природе.

«Самой природы зрение и слух», — говорит о себе Сагиян, «двойник природы». И почти повторяется: «стану я ухом лесной тишины». Или о камнях Армении: «На будущее буду впредь глазами вашими смотреть». У Севака же то ли человек — двойник природы, то ли природа — двойник человека: «Лес ли дышит моею грудью, я ли таю в его дыханье». А чаще поэт говорит о том же куда увереннее и прямее:

Нелеп, непонятен я?
Ну ничего.
Помогут — поймешь.
Непременно помогут...
Ведь каждое дерево — стокорневое
И тысячелестное истолкованье
Плодов моего вдохновенья.
Ведь каждый
Живой организм, даже будь то букашка, —
К собранию текстов моих комментариев.
Ведь каждый топор, каждый заступ и молот,
И каждый с горы покотившийся камень,
И каждый о берег разбившийся вал
Есть эхо мое.
Нет, вернее, я сам —
Их эхо...
Как видишь, помогут, читатель,
И ты непременно поймешь.
(Перевод В. Баласана.)

То есть сама природа — комментарий к человеку.

Конечно, не нужно так уж прямолинейно противопоставлять Сагияна и Севака. Да, Сагиян ищет растворения в природе, но он вовсе не теряет от этого своей человеческой индивидуальности. Здесь не просто влияние природы на человека, но взаимовлияние: принимая в себя человека, сама природа очеловечивается, осмысливается, гармонизируется им. Растворяясь в ней, человек даже утверждает себя — так, что сама смерть его начинает выглядеть пантеистическим бессмертием.

И, с другой стороны, Севак потому-то так смело и заявляет о том, что природа — двойник человека, комментарий к нему, что тоже ощущает родственную близость к ней.

Так что сходства не меньше, чем различия...

И все же в стихах Севака разум человека куда осознаннее, решительнее и упрямее очеловечивает природу, самоутверждается в ней, сообщает ей собственные черты, анализирует и расщепляет...

Нет ли тут избыточного рационализма, рассудочности — этого заболевания иных современных поэтов, у которых мир оказывается подчинен сухому рассудку и настолько расчленен, что теряет свое многообразие и многообразие?

Нет, тут совсем другое. Размышляя, Севак не отключает — за ненадобностью — сердца. Преобладающие мысли не в ущерб полноте бытия.

Уподобляя природу себе, человеку, Паруйр Севак не впадает в холодные умствования, а, напротив, как бы увеличивает количество своих болевых точек, обостряет сопереживание:

Прыгая через ущелья,
с утесов падая,
он калечится так,
как могло бы калечиться
наше с тобой существо.
И, чуть слышно стеная,
тихонько прихрамывая,
поднимает он пыль на дорогах...
А мы говорим о нем «ветер» — и только!..
О веселом, огромном
полотне многоцветной живописи,
что полсоток спустя
обращается черной гравюрой,
«день и ночь» говорим мы спокойно —
и только!..
И — горе мне и вам! —
после этого смеем
говорить о себе мы: «Поэт!»
(Перевод В. Гнеушева.)

Севак готов считать себя недостойным зваться поэтом, но не потому, что ему недостает изобразительности. Слово «поэт» поворачивается к нам своим нравственным смыслом, и стихи эти не тренировка экспрессивных возможностей, а акт сочувствия.

Севак — аналитик. Он любит разглядывать наш слитный мир в его частных, дробных проявлениях, он пишет стихи о неживых вещах, поворачивая их так и сяк, он и человека иногда разглядывает, как вещь. Одна книга его называется «Человек на ладони», и правда, словно бы человек в самом деле попал на ладонь великана-экспериментатора, пристально изучающего его. Как Гулливер в стране великанов.

Сравнение с Гулливером, мне кажется тем точнее, что, как и в романе Свифта, человек в книге Севака, попав «на ладонь», не становится меньше, чем он есть. Масштабы не меняются, наоборот, устанавливаются. А исследовательская дотошность не самоцель, а путь к познанию целого.

Критик С. Агабабян точно сказал о Севаке: «Каждое слагаемое человеческой сущности, отъединенное и рассмотренное отдельно, важно для понимания человека в целом. Этот взгляд и есть синтез в аналитической стихии поэзии П. Севака (здесь, пожалуй, нет парадокса), которая утверждает сильную, смелую, яркую личность...»

Да, человек, его личность — главный предмет размышлений Севака. Но какая личность? Может быть, она хоть и «сильная, смелая, яркая», но обособившаяся, эгоцентрическая?

Между прочим, так можно подумать, если не слишком внимательно проглядеть стихотворение Севака, которое и называется-то «Одинокое дерево».

И действительно, поэт сочувственно говорит о могучем дубе, возвышающемся отдельно от леса, об одиноком дереве, к которому лес относится неприязненно: «Стоящий стеною, шумящий листвою, весь лес со злорадством смеется над ним».

Но вот вывод стихотворения:

Отдельное дерево,
что оно значит —
никак недогадливый лес не поймет.
А дуб на холме —
громостовод.

(Перевод О. Чухонцева.)

Точно так же, как естествоиспытатель проводит опыт, помещая испытуемое вещество в критические условия, и таким образом узнает об этом веществе истину, Севак тоже берет крайнюю ситуацию: личность, не понимаемая окружающими. И вот оказывается: что бы там ни было, назначение человека не меняется. Он не для себя. Он для всех, для людей, для народа. Как дуб ловит молнии, предназначенные лесу, так истинная личность должна принимать на себя груз ответственности за все на свете.

Применительно к Севаку часто произносят: «Философичность». Можно сказать и так, хотя, мне кажется, в самом понятии «философская поэзия» есть несовместимость. Назначение философии — отвечать, поэзии — задавать вопросы. Стихи Севака — это как раз вопросы, постоянные, неиссякающие. Уставая от сложности, он лечится простым («Я соскучился по простым словам, по простым словам человеческим, пусть банальным, пускай затертым, но единственным, достоверным»). Но, прикоснувшись к простому, он уже в нем самом ищет пока не открытую сложность.

В поисках сложности, оттенков, полутонов — поиски и обретение цельности, поиски главного, поиски вечных, нестареющих истин. Поиски, не прекращающиеся независимо ни от усталости, ни от начинающего тяготить возраста:

Старею, Паруйр Севак!
Старею, дорогой!
Все меньше и меньше бродим —
не остается времени.
Редко грустим без причины —
слишком много причин.
Мало читаем — много пишем.
Много думаем — мало спим.

Потому-то слово «бессонница» стало для
нас панацеей,
чтобы хоть как-то нервы расшатанные
успокоить...

Так звучат эти стихи поначалу — грустно. А так
кончаются:

Старею, Паруйр Севак!
Старею, дорогой!
И все-таки, как мне кажется,
никак не утомимся!
Даже теперь удивляемся —
не можем не удивляться,
и назад переводим стрелки наших часов:
думаем, что успеем наши дела доделать,
и в безысходном мире ищем какой-то
мерим наш век надеждой, как Дон-Кихот ^{выход,}
этим высоким циркулем со стершимся ^{ногами,}
концом...
Старею, Паруйр Севак!
Но... нет, не утомимся!

(Перевод О. Чухонцева.)

Как не случайно вслед за словами «мерим наш век надеждой» в эти «ультрасовременные», а не «старо-классические», как у Амо Сагияна, стихи входит фигура сервантесовского рыцаря — тоже староклассическая, традиционная, вечная.

При этом Паруйр Севак даже подчеркивает ее традиционность, упоминая о «стершемся конце» циркуля, с которым он сравнивает долговязую фигуру великого чудака. «Стершимся» — значит, много пришлось потрудиться этому циркулю надежды. И сколько еще придется...

В чем иногда видят современность мышления? В обожествлении технического прогресса, в культе

относительности, в инфляции «простых вещей», даже в высокомерном отношении к искусству: мол, оно устарело, оно уходит в прошлое, у нас век техники...

Что ж, таково и в самом деле одно из огорчительных поветрий нашего сложного века. Но тем важнее, больше того, тем современнее тянуться к цельности, к нравственной прочности, к надежде; тем важнее сознавать истинность и непреходящесть человеческих ценностей, традиции гуманизма.

Севак современен в этом главном и подлинном смысле слова. Он стоит за преодоление инфляций и суесть, за победу духовности и гармонии. Он усвоил «раздробительный» анализ современного познания, но в его анализе — синтез, в его внимании к частностям — интерес к целому, в его исследовательской суровости — любовь и доверие к человеку.

Вспоминаю прекрасные слова Маршака, записанные Валентином Берестовым:

«Ученые меряют вещи мерою, которая ниже человека: физической, физиологической и т. п. Меряют высшее низшим. При этом всегда есть опасность свести высшее к низшему. Я враг идеалистической философии. Но я думаю, что когда-нибудь придут к иной мере. Мерить будут самым высоким — духовностью, поэзией, поэтическим воображением. Мерить низшее присутствием в нем высшего».

Это сказано об ученых, о науке. Что касается поэтов и поэзии, то их задачей всегда было мерить низшее и простейшее высшим и духовным.

...Я говорил здесь — конечно, кратко — о работе армянских поэтов так называемого среднего поколения: к нему принадлежат и Сильва Капутикян, и Геворг Эмин, и Амо Сагиян, и вчерашний «молодой» Паруйр Севак. Все они получили известность в первые послевоенные годы. Все находятся сейчас на зрелом уровне души и таланта.

Список мой, разумеется, не полон, но и отнюдь не случаен: мне кажется, в творчестве этих поэтов воплощено многое из того, чем живет сегодня поэзия Советской Армении. То, чего не могут миновать и молодые поэты.

Впрочем, не только не могут, но и не хотят миновать.

Берем наудачу традиционную подборку «Слово молодым» из журнала «Литературная Армения».

Вот уже знакомые нам, характерные раздумья Левона Закаряна: «Что такое родина? Тоска, которая мучает на чужбине и которая в конце концов возвращает тебя домой... И твой святой язык, который однажды открыл перед тобой целый мир».

Вот сожаления Геворга Карапетяна над сломанной акацией, перекликающиеся с принципиальным и нежным природолюбием Амо Сагияна: «Стала она учить их своей белизне и нежности — они обломали ветки и разметали гроздь».

Вот стихи Погося Абаджяна, явственно говорящие о его близости к Паруйру Севаку: «И очертанья дерев — точный слепок с меня».

Эта зависимость не удивительна; как говорит специалист по армянской поэзии Сурен Агабабян (ему и книги в руки), в поэтическом многообразии «наиболее четко выделяется, пожалуй, творчество А. Сагияна и П. Севака». Но, с другой стороны, пора миновать школу ученичества, чтобы традиционные прекрасные свойства поэзии Армении — историзм, мужество, нежность к природе и уважение к человеку — отливались в новых формах, выпевались новыми голосами.

Этого и ждет армянская поэзия от своих «кудрявых мальчиков»; ради этого дают молодым уроки поэты среднего поколения.

Плотное, поросшее пахучей ромашкой поле устлано длинным зеленым брезентом. На нем — белые капроновые полотнища и алые чехлы с лампасами.

И всюду, раздетые по пояс, загорелые рослые парни — солдаты.

Одни, присев на корточки, другие, стоя на коленях, попарно работают, превращая куски материи, пучки строп, лямки, тугие резинки в ту стройную систему, которая через день-другой опустит их с километровой высоты на землю.

Идет укладка парашютов.

Те, кто половчее, успевают завершить очередной этап укладки, дремлют здесь же, на брезенте, рядом с вытянутыми во всю длину парашютами.

— Седьмая рота, встать! Развязать нижнюю кромку от полотнища...

Знакомые слова команды прове-ряющего — офицера парашютно-десантной службы, знакомые теп-лые запахи брезента, разогретого июльским солнцем... И фигуры и лица тоже кажутся знакомыми... Валера Мельников, Толя Казанцев, Витя Ермихин, Володя Баданов — друзья, с которыми три года всё вместе... три года юности.

Мы летом спали в одной палатке, спасаясь от жесткости нар ту-го набитыми сениками, мы ели за одним столом, прыгали с одно-го самолета, стараясь успеть улыбнуться друг другу перед жел-тым сигналом команды « пригото-виться »...

И хочется крикнуть:

— Ребята!

...Но это не они. Это другие... Тоже молодые, тоже солдаты, то-же гвардейцы-десантники, но дру-гие...

Было начало шестидесятых годов, когда мы пришли в ту армию, которая пятнадцать лет назад победоносно завершила трудные сражения большой вой-ны.

Мы родились в сорок первом.

Время нашего призыва в армию тогдашний заместитель начальни-ка штаба армии США генерал-лейтенант Джеймс М. Гэвин загодя назвал временем, когда «...надо будет рассматривать нашу плане-ту, как единый театр войны». Статистами в этом театре генерал видел в первую очередь нас.

У нас был опыт.

Множество наших сверстников погибли под бомбами и артобстре-лами, умерли от голода, сож-



АЛЕКСЕЙ
ЧУПРОВ

завтра прыжки

Рисунки Н. Лемешева.



жены были в своих деревнях, за-душены в газовых камерах или просто расстреляны.

У нас был опыт.

В памяти остался счастливый вкус хлеба, и напряженный голос Левитана, читающего сводки Совинформбюро, и ожидание отцов, и игры в войну весь день напро-лет. На прогулке с детсадовской группой я шел в паре с Андрию-шей Кузнецовым по осенним ал-леям Нескучного сада; мы говори-ли об атомной бомбе. Я хорошо помню азарт нашего разговора и нашу убежденность в том, что ес-ли у американцев есть атомная бомба, то и у нас она тоже есть, только это не известно еще нико-му, оттого что тайна.

Интересно листать старые газе-ты, газеты того времени, когда ты уже был на земле, но еще не умел читать или умел читать, но не понимал смысла и потому не придавал значения коротким строчкам мелкого шрифта; пере-читывание этих строчек, вдумыва-ние в них сейчас похоже на чте-ние старых чужих писем, суть ко-торых причастна и к тебе.

И действительно, те события, которые скупо отражают газеты, так или иначе могли влиять — и влияли! — на твою судьбу.

И если бы в 1944 году не было напечатано в «Правде»:

«Три партизана-подрывника из отряда, действующего в Каменец-Подольской области, организовали крушение немецких воинских эше-лонов на важном участке желез-ной дороги...»

«По сообщению из Югославии в Граховском секторе гитлеровские войска были вынуждены отступить в направлении Книна. Части народно-освободительной армии вновь заняли город Боснаско-Грахово...»

«На Нарвском направлении бой-цы Н-ской части атаковали узел обороны противника. Небольшие группы стрелков и автоматчиков под прикрытием артиллерийского огня ворвались в укрепления врага и в рукопашной схватке истребили до 300 гитлеровцев» —

и если бы 25 сентября 1949 года в «Правде» не было бы напеча-тано:

«...Следует сказать, что Совет-ское правительство, несмотря на наличие у него атомного оружия, стоит и намерено стоять на сво-ей старой позиции безусловного запрещения применения ору-жия...» —

и если бы в июле 1953 года в «Правде» не было бы напечатано:

«...Стороны на переговорах о пе-ремирии достигли полного согла-шения о перемирии в Корею. Сторо-ны решили, что сначала соглаше-

ние будет подписано в Паньмыньчжоне в 10 часов утра по корейскому времени...» —

то есть, если бы события развивались иным образом, то и твоя жизнь могла бы пойти по-другому. Но для того, чтобы она была именно такой — счастливой в главном — в мирном своем течении, — необходимы были усилия миллионов людей, и не вообще миллионов, а и одного из тех подрыльников из отряда, действовавшего в Каменец-Подольской области, и той небольшой группы автоматчиков, что под прикрытием артогня ворвались в укрепления фашистов на Нарвском направлении, и тех ученых, которые дали нашей стране орудие противодействия атомному шантажу...

Я иду мимо укладочного поля вместе с Костей Зайцевым — сержантом, инструктором политотдела по комсомольской работе. Он хочет показать мне все сразу: вон там — новый крытый тир (и я вижу огромное сооружение, похожее на ангар); новая казарма-коттедж; а туда, дальше — учебный городок с семиметровыми стенами бастионов, рвами с водой (в них, по слухам, должны ловиться караси), с бетонными укреплениями — там тренируются разведчики...

Мы садимся на траву около уже уложенных, составленных в ряд парашютов. На остальных — этап затягивания строп. На клапане чехла основного парашюта есть специальные соты — два ряда резиновых петель, в них большим металлическим крючком продеваются пучки строп, вся длина строп укладывается на клапане для того, чтобы стягивание чехла с основного парашюта при прыжке шло равномерно, — это способствует правильному раскрытию купола и ослабляет динамический удар.

— Гляди, — показывает Зайцев, — интересный для тебя материал...

Я не успеваю его остановить, и к нам подходит чуть нахмуренный, загорелый, коротко остриженный парень.

— Здорово, — говорит он Зайцеву. — Ты, говорят, в люди вышел... Сачкуешь?

— Сам так пасачкуй, — обижается Костя. — Работы завал... Сейчас комсомольские собрания в батальонах... Потом...

— Ну-ну, — парень усмехается.

— А вот корреспондент, — показывает на меня Зайцев...

— Федотов Виктор.



— Алексей. А вы откуда?

— Земляк Кости — из Липецка... Десятилетку кончил, потом на тракторном слесарем работал...

— А где служите?

— Новая техника... Интересные машинки... — Он смотрит на Зайцева, и они улыбаются друг другу.

— Ясно, — понимаю я их. — А что после армии собираетесь делать?

— Танцевать...

— Танцевать?

— Он инструктором по танцам был, — радуясь моему удивлению, поясняет Зайцев, — по народным...

— И по балльным...

— Как со службой-то дела?..

— Нормально... Техника освоена...

— Стрельбы на «отлично»...

— Товарищи, почему никто не работает на этих парашютах? — кричит издали, раздетый, как и

все, по пояс, белесый, невысокий человек. Он сидит посреди укладочных строп на табурете и пришивает к гимнастерке подворотничок.

Все расходятся по местам.

— Майор Коротких, начальник парашютнодесантной службы части, — говорит мне Зайцев. — Отличный мужик, очень его уважают... Хоть ночью разбуди, — прыгать! — пожалуйста...

У Кости дела в подразделении.

Я захожу в казарму, где строгие ряды синих с белым гладких коек, тумбочек, табуретов, где в проходе два турника, и бруска, и несколько пудовых гирь, и закрытые засовами оружейные пирамиды. Заглядываю в класс, — пусто — перерыв. Вхожу и сажусь на «Камчатку», за последний стол...

В класс начинают заходить связисты. Они всего три месяца в армии — новобранцы, острижены под «ноль» и оттого поначалу похожи друг на друга.

Входит сержант. Все встают. Он говорит: «Садитесь...» И вдруг, несмотря на молодость, на то, что он почти ровесник тем, кто сидит сейчас перед ним, начинает занятие, как опытные пожилые учительницы в начальных классах:

— У всех все готово? Карандаши?.. Бланки?.. — говорит он спокойно и доброжелательно. — Сегодня мы закрепим передачу букв «о» и «с», попробуем отработать передачу букв «а» и «б», затем работа на прием тех знаков, которые изучали на прошлом занятии. Поднимите руку, кто на самоподготовке не повторил пройденного?

Никто рук не поднимает.

— Вот и ладненько. Начнем с разминки. Даем точки... Взялись за ключи... Чайковский, да сядь ты как следует... Слуха у тебя, вопреки фамилии, нет, это я еще могу понять, но ведь за ключ правильно братья можно...

— Развод ключей у всех нормальный?.. Начнем... и раз... и раз...

В классе раздается дружное туканье.

Я тоже берусь за ключ и стараюсь попасть в общий ритм, но срываюсь...

Сержант подходит ко мне.

— Давно не работали на ключе?

— Да уж лет восемь.

— А здесь, как со скрипкой, — тренировка и тренировка. — Он улыбается.

Солдаты тоже начинают улыбаться; в туканье появляется разнотон.

— Про... дол... жать, про... дол... жать, — в такт командует сержант. Я выхожу из класса.

В парашютном городке, где вышка и остоны планеров — макеты, проходят занятия по парашютной подготовке: тренировка отделения от самолета. От остова макета тянется железный рельс, к которому на колесах прикреплены лямки от макетов парашютов. Солдат надевает на себя подвесную систему парашюта, разбегается, прыгает вниз головой с четырехметровой высоты и, повисая на лямках, съезжает по рельсу к земле. Прыгать надо, плотно сгруппировав тело; это не всем удается, и приходится повторять по несколько раз.

— Прощайте, товарищи! — кричит кто-то, разбегаясь по настилу в макете планера.

— Кончай дурачиться, Максимчук! — кричит ему снизу сержант.

Ко мне подсаживаются двое ребят, которые уже выполнили упражнение, — Вадим Алексеев и Толя Снегирь. Оба этой осенью должны демобилизоваться, оба крупные, ладные парни. Алексеев спокоен и серьезен, Снегирь беспечен и весел.

— А ты что сюда приехал?

— В командировку... корреспондент... Я сам в ВДВ служил... в шестьдесят третьем демобилизовался...

— Разницу замечаешь?

— Еще бы... У вас сейчас срок службы — два года, техника новейшая... кого ни спроси — все с десятилеткой...

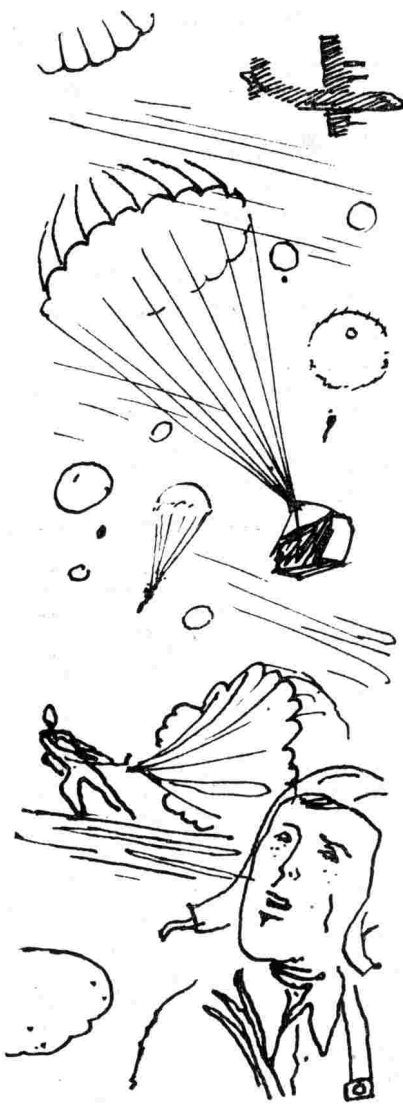
— Сейчас иначе нельзя, — говорит Алексеев. — Это как в самолете: скорость возрастает, и на каждый квадратный сантиметр нагрузка увеличивается, — и каждый выдержать должен... И у нас тоже в десантных так: стремительность действий; один человек — это целое подразделение; без образования здесь никак... оно широту мышления, самостоятельность его дает...

Начинает накрапывать дождь. Время предобеденное, и меня, по старой солдатской привычке, тянет поближе к столовой. Я иду и думаю: хорошо, если ребята закончили укладку, а то из-за дождя с неуложенными парашютами возни обычно много...

Неожиданно меня окликают. Я оборачиваюсь. Знакомое, очень знакомое лицо... лейтенант Волков... да! Мы служили в одном батальоне. Я помню, он часто бывал резок с солдатами, и его недолюбливали.

Но сейчас меня охватывает теплое чувство, словно мы давнишние и близкие знакомцы, — встретились после долгой разлуки.

— Здравствуйте, — говорю я,



протягивая руку, и смотрю на его погоны. — Здравия желаю, товарищ майор...

Дождь припускает сильнее, и мы заходим в подъезд казармы.

— Батальон! Смирно! — кричит дневальный, и где-то на втором этаже стихает шум. — Товарищ майор...

— Вольно, вольно, — бросает Волков. — Вот комбат здесь... А тебя какими судьбами?

Мы идем в штаб батальона — небольшую комнату, увешанную стендами; со стандартным шкафом, маленьким сейфом, столом и стульями. Садимся друг против друга; он снимает фуражку; я замечаю его поседелые виски. Мы начинаем перебирать прежних сослуживцев.

— Вот ведь прежде как люди запоминались, — говорит он. — Ты связистом был и ко мне вроде бы

отношения не имел, а помню... Да я почти всех ваших связистов помню... Золотарев, Мельников, Дорофеев... А сейчас не успеваешь запоминать лица, даже как-то не по себе, вроде на конвейере стоишь. Осенью один призыв, весной другой, — четыре месяца в году на одни заботы по обмундированию ухлопываешь... С боевой подготовкой, кажется, справляемся... Читал, может, про учения в Белоруссии, мы там тоже задействованы были... Но трудность еще вот в чем: многие из десятилетки прямо, от папы с мамой. Капризничают иногда... армия — первая в жизни трудность... Очень надо много внимания уделять... И с ними теперь на голом приказе не выедешь. Аргументы нужны... Перестраиваться трудно... но надо, для пользы дела... Самому приходится тянуться... но время, время! Некоторые из вузов приходят, куда там! Да ты в библиотеку сходи, посмотри, что читают. И ко мне вечером заворачивай, поговорим...

Я все-таки иду сначала в столовую.

К ней одно за другим с песнями строем подходят подразделения в лихо сбитых набекрень краснозвездных голубых беретах. Они идут под дождем чуть быстрее обычного, но перед самой столовой переходят на строевой шаг; и сапоги особенно четко впечатываются в мокрый асфальт.

Бiblioteca должна открыться через час, и я брожу под моросящим дождем, вижу и старые, мрачноватые казармы и только что построенную современную, светлую...

В библиотеке мало народу; обычно сюда приходят в «личное время». Столы со стульями, поставленные двумя рядами, портреты писателей в простенках между окнами делают зал библиотеки похожим на школьный класс.

— А вон один из самых активных наших читателей, — указывает мне библиотечарша.

В углу окна, удобно положив под себя ногу, сидит гвардеец. Он читает и что-то записывает. Мне и хочется подойти и колется — неудобно навязываться. Я делаю над собой усилие...

Сергей Кашицин. Ефрейтор. Служит второй год.

— Тему мне надо такую подготовить, о «зеленых беретах»... — Он постукивает ребром ладони о край стола. — Интересная штука... Их «гвардией Кеннеди» зовут... Вот здесь прочитайте: «И хочу еще раз подчеркнуть: никто здесь не

учил вас и не требовал от вас убивать пленных. Если вы излишне сентиментальны или слабы желудком, то совершенно непригодны для нашей работы...» Это из книжки Дональда Данкена «Новые легионы»... Кеннеди убрали, он кого-то в Америке не устраивал, а «гвардия Кеннеди» его убийцам и служит... Про Сонгми помните?..

Перед вечером развидняется. Из-под козырька тучи закатное солнце бьет в ряды казарменных окон; и они горят стеклянно и ослепительно. Несколько солдат сидят в курилке — на скамейках, сбитых вокруг вкопанного в землю обода полуторки.

— О-о, боксеры вышли...

Из дверей казармы, сопровождаемые болельщиками, идут на край спортивной площадки двое в тренировочных костюмах, в перчатках, надетых на руки, как два толстых глиняных кувшина.

Солдаты в курилке кидают сигареты в обод... Рядом со мной на скамейке остается младший сержант Жора Морозкин: приятное, мягкое лицо со щеголеватыми усиками, подтянутый, спокойный, пронырливый...

— У того, который в левой стойке, — второй разряд; и все равно силовой бокс.

— А вы чем-нибудь занимаетесь?

— У нас без спорта трудно... Так, понемногу... Раньше спортом серьезно занимался, на гражданке... Я в офицерское хотел... а потом как-то... — Он пожимает плечами. — Расхотелось... У нас с братом интересно получилось: он учился — просто удивительно, на олимпиадах по химии, по физике, по математике в области первые места занимал, в институт, естественно, поступил... и вдруг, как сорвалась: хочу в армию... мать плакала... а он — «хочу»... Ушел в офицерское училище, в радиотехническое... Сейчас на Севере служит — доволен... в академию думает податься... Меня в каждом письме ругает... А я служить кончу — снова в свой электромеханический техникум, на четвертом курсе прервался...

На его гимнастерке значки «Отличник Советской Армии», и «Парашютист-отличник», и маленький синий щит с золотой каемкой и цифрой «2» — классный специалист...

Мой сосед по квартире, Володя Лобанский, уже Владимир Степанович — строитель-монтажник... он двадцать третьего года рождения; когда ему было восемнадцать, подбили

его первый танк; он брал Берлин и освобождал Прагу, вернулся в сорок пятом, по нынешним понятиям, мальчишкой, с орденом Красной Звезды, с двумя Славами, с медалями.

Прошло двадцать пять лет, но иногда он кричит во сне: «Десятый, огонь! Огонь давай!» — и страшно ругается. Ему снится война, она засела у него в мозговых клетках, как пули в стволе дерева, навечно.

Война не забыта ни им, ни теми миллионами людей, которые были на фронте и вернулись, ни теми миллионами, чьи отцы, братья, мужья так и остались лежать в застылых земляных волнах братских могил по всей Европе.

Она еще в нашей крови, та страшная война.

Помнить о ней и говорить о ней надо не только, отдавая дань погибшим и живым воинам. В наше время, время оружия невероятной разрушительной мощности, понятие «мир», как состояние отношений между народами, и понятие «мир», как то пространство, которое занимает биосфера, в которой мы существуем, слились в единое целое, и это единое целое можно назвать — люди.

Многие говорят о любви к миру, рассуждают о том, как было бы хорошо, если бы в один прекрасный момент все сразу положили все оружие до последней пульки и показали бы друг другу раскрытые ладони...

Но мир нельзя любить платонически, абстрактно. Только действие! Только вещественные доказательства: голубь Пикассо, журавлики японской девочки, страстность Жюльо Кюри, слова папы римского Павла VI: «Мир, именно мир должен определять судьбы народов и всего человечества...» — сожжение американскими парнями повесток о призыве в армию, которая рассеяна по всему свету, как клятое зеркало троллей из «Снежной королевы»; и умение мое, рядового запаса, и сегодняшних десантников держать в руках оружие; ибо противостоять силам зла, давая Истории время для решения сложных вопросов взаимоотношений народов, может лишь это умение и только это оружие.

Вечер. Труба плавно разносит по военному городку сигналы отбоя. Гаснут в казармах ряды окон...

Завтра прыжки.



Иосиф Ржавский



Сердце Нади

В дни войны,
судьбу решая боя,
Бросившись на пламя,
на свинец,
Амбразуру
заслонил собою
И друзей
прикрыл собой боец.
Этот подвиг
нашего солдата
Враг, быть может,
так и не поймет.
Не снаряд, не пуля,
не граната —
Сердце
победило пулемет.
Не забылись,
хоть и стихли взрывы.
В наших окнах
мирные огни.
Но герои и сегодня живы.
Подвиги вершатся в эти
дни.
...В самолете никуда
не деться:
Вот он, враг,
и гибель — не мираж.
И девчонка
комсомольским сердцем
От свинца
прикрыла экипаж.
Ей,
прожившей мало так на свете,
Вечные признанья и любовь.
На ее пурпуровом билете
Запеклась
негаснущая кровь.
Жизнь идет!..
В ее неснищем шуме
Сердце Нади
слышно и сейчас,
Сердце,
что не смолкло над Сухуми,
А стучит, стучит
в груди у нас.



За окном моим гудит, не утихая, Москва. А в воспоминании — далекое заснеженное село. Почему же далекое?.. Километров двести поездом от Москвы, час-полтора автобусом от Рязани, — и дня не пройдет, как очутишься на широко разметнувшейся улице села Константинова. Но у обрыва над Окой, перед луговым простором, такими неблизкими кажутся гудящие города. А здесь, в Москве, все оглядываешься назад, словно чем-то неизъяснимым обязан этому селу, такому вроде бы и заурядному, «как сто тысяч других в России». Оглядываешься и почему-то очень далеко видишь крутящуюся селом поземку, вереницу изб вдоль Оки, озябшую березовую рощу, что осталась там, у дороги, позади умчавшегося автобуса.

Не знаю, не помню,
В одном селе,
Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...

ЛЕБЕДИ НА ЛУГУ



Линогравюры
Александра
Максимова.

Это началось так: мальчик вырос и стал знаменитым поэтом. Его стихи, «свежие, чистые, голосистые», зазвучали как песня весенней удачи народа, совершившего Революцию. Прошло много лет, поэта уже не было в живых, но любовь народа к своему поэту не иссякала. И начали люди спрашивать: где оно, село Константиново, в котором, говорят, родился и жил Сергей Есенин?

Сначала не многие приезжали в Константиново. Спрашивали: где дом Есенина? И вели их к обыкновенной избе напротив бывшей церкви. Выходила из избы пожилая женщина — мать Сергея Есенина — приглашала гостей в дом, рассказывала о сыне.

Потом все больше и больше людей стало приезжать в село. В иной летний день человек по двести встречала и провожала старая крестьянка — мать Сергея Есенина.

Так народ проложил незарастающую тропу в Константиново. Тропа стала дорогой, широкой и — со временем — асфальтированной: не только Москва — Рязань, но и Рязань — Рыбное — Константиново. У поворота на Константиново — большой щит, издали видный: «Добро пожаловать на родину Сергея Есенина!».

И еще одна дорога ведет в Константиново — водная, по Оке. Пристань теперь есть в Константинове, теплоходы прибывают, да иногда и не один раз в день. В иной месяц теперь Константиново посещают до 15 тысяч человек.

Давно уж, в 1917 году, в канун Октября, молодой, двадцатидвухлетний поэт написал стихотворение о своем ожидании радости — «дорогого гостя», который «промчится, шапку-месяц пригнув под кустом, и игриво взмахнет кобылица над равниною красным хвостом».

Много лет прошло, давно нет в живых Есенина, которого мы, «питомцы ленинской победы», признали родным своим поэтом. Много лет прошло с тех пор, как в ожидании «дорогого гостя» светловолосый сын просил мать и обещал:

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Рязань!..

Допустим, я не знаю, что население Рязани перевалило за триста тысяч, что там производят станки, кузнечно-прессовое оборудование, комбайны, искусственное волокно, счетно-аналитические машины, продукты нефтехимии, цветные металлы, теплоприборы, щиты для проходки тоннелей и многое другое... Быть может, я не знаю, сколь много в Рязани школ, техникумов, вузов, научно-исследовательских институтов, библиотек, театров, кино...

Но, едва ступив на асфальт Рязани, этого всего нельзя не почувствовать в гудящем ритме большого современного города. И мне кажется, такой Рязани «есенинское» еще нужнее, чем Рязани, какой ее знал Есенин.

Еще издали манит, зовется, стремительный шпиль колокольни рязанского Кремля. Пахнет весной первый снежок в парке у Кремля. А на богатырском холме, за аркой уносящейся ввысь колокольни, кто-то, опустив с неба, поставил на холм громадную пятиглавую палату Успенского собора. Успенский собор (1693—1699) — творение гениального Якова Бухвостова, зодчего из крепостных, — окружен, как свитой, еще несколькими прекрасными храмами. Все они вознесены холмом и глядят в открывающийся с холма простор. Тут Рязань как бы обрывается, а у подножия ее Кремля стелется луговина, вся уставленная стогами — белыми шатрами на белом поле...

Может, вместо зимы на полях
Это лебеди сели на луг.

Простор этот — есенинский. Идут эти луга, «молясь на копны и стога», вдоль Оки до самого Константинова и дальше.

На низком, просторном берегу — луга, а на высоком, обрывистом — Пощупово, Новоселки, Кузьминское, Константиново.

В луга смотрят с высоты большие, дворов по двести — триста, села, переходящие одно в другое. Смотрят они в луга и видят: там, за лугами, за Старицей, за озерами в лугах, подступают густые леса — Мещера.

В одном месте леса Мещеры вклинились полуостровком в луга, подошли прямо к Старице и торжественными соснами окружили холм, на котором расположилась Солотча...

Есенин бывал в Солотче. Ну, а за Солотчей, через мещерские леса, идет дорога в Спас-Клепики, где Есенин учился...

В Солотче сосны подобны соборам и кажутся такими же древними, как стены Солотчинского монастыря, основанного почти шесть веков назад.

Не одну лишь есенинскую музу дарила вдохновением Солотча.

Вот при дороге стоит какой-то таинственный, покинутый, обгорелый дом. Здесь когда-то жили Паустовский и Фраерман... У них гостил Гайдар...

Если выйти на берег Старицы, то откроется снежная луговина, которая, искривясь, уходит к Оке. А за ней — Пощупово, Новоселки, в нескольких километрах от Константинова. Как заманчиво пройти к Оке через эти укрытые снегом луга...

Дорога то и дело пропадает в снежных заносах, ноги увязают в сугробах. Зато красота открывается удивительная. Оглянешься — Солотча вся на холме. Впереди близится колокольня Богословского монастыря. Вокруг — вольная белая гладь.





Из снега торчат кусты шиповника с алыми замерзшими ягодами. Солнце то мгнется, то выйдет из облаков. Над равниной высятся там и сям стога: белые, запеленатые, сложившие крылья.

И вот Ока: полузамерзшая, с плывущим «салом» льдин, с оледенелыми берегами. Паром не работает, лодки не дозовешься, да и кто сейчас пойдет пробивать лед у берегов...

Обратно идти тяжелее. Зато какое плотное, физическое, всем существом ощущение простора. В награду зимнее солнце совершает истинное чудо: по обе стороны солнца вертикально, чуть в изгибе, встают две яркие, многоцветные радуги. Зимой я такого еще не видел.



Не удалось мне пройти в Константиново из Солотчи снежными есенинскими лугами. Пришлось возвращаться в Рязань и ехать в Константиново шумно урчащим быстроходным автобусом.

Но в Константиново запомнилась тишина. Ибо наступила зима — для туристов не сезон. Падали редкие снежинки да шли в разные стороны два прохожих по неправдоподобно широкой, пустынной улице села...

Но вот издали донесся «моторный лай», а вернее — рычание трактора. Оно медленно нарастало и наконец заполонило собой всю улицу. Огромный стог сена прополз по снежной колее, и снова — тихо...

Хорошо, что я приехал зимой, когда все вокруг покрыто белым благословением снега. Вот и Ока...

В ясном безветрии — под обрывом — замерзающая вода и продолжением ее льдов — снега, снега...

Снежный луг уходит к горизонту, темнея далекими окраинами леса.

Из глубины потянуло вечерней синевой. Чаше замелькали снежинки. Совсем засыпало тропу в дом, где жила «девушка в белой накидке».

Торчащие деревья — остатки давнего сада — задумались «под метель о лете». «Дом с мезонином немного присел на фасаде. Волнующе пахнет жасмином плетневый его палисад».

Зима, а кажется, действительно пахнет жасмином. Воспоминания окружают дом Кашиной, той, что преображена в Анну Снегину.

«Далекое милое было!.. Тот образ во мне не угас. Мы все в эти годы любили, но, значит, любили и нас».

Не придумать лучшего места для литературного музея, посвященного Есенину, чем дом Кашиных, восстановленный сейчас таким, каким он был когда-то. В нем музей и помещается. Обширную и интересную экспозицию художники разместили на декоративном фоне, от которого в глазах светло рябит берестой.

Когда я вышел из музея на широкую улицу, то не узнал неба. Оно успело и поглотить, и потемнеть, и налиться светом. Его синь с чернотой без единой звезды сияла и сверкала над Константиновом.

Под этим сиянием бесконечно тянутся вдоль Оки избы. Через широкую улицу — другой, тоже необозримый ряд изб. Среди них, почти напротив церкви, есть одна обыкновенная, даже поменьше других изба, отмеченная мемориальной доской.

Здесь родился и жил Сергей Есенин. Здесь, на этом месте, но не в этом доме. Того дома, в котором он родился, давно нет. А этого, нынешнего дома, Есенин и не видел.

И все же я испытываю подлинное волнение. Это дом, в котором жила, уже после смерти своего сына, мать Сергея Есенина. Этот дом — обыкновенная изба, «как сто тысяч других в России». В такой вот избе родился и рос Сергей Есенин, в такую вот избу он возвращался из своих странствий. Такие же избы стоят рядом. Это изба-символ, изба-памятник.

Каждый год, в тот октябрьский день, когда родился Сергей Есенин, к этой избе приходят тысячи людей. А недавнее 75-летие со дня рождения великого советского поэта было отмечено большим праздником. Выступали поэты Москвы, Ленинграда, Рязани; читались стихи Есенина; слова благодарной памяти произносились в честь «золотой бревенчатой избы»...

В этой избе — очень тесной по нынешним понятиям — все так, как тогда, когда здесь о своем сыне думала, вспоминала Татьяна Федоровна Есенина. И опять волнует, что «мемориальное» здесь — почти такое же, как в соседней избе, которая в истории, по всей видимости, ничем не будет отмечена. Да вот стоящая на столе керосиновая лампа возвращает в прошлое. Думается, сейчас придет хозяйка, зажжет лампу... Кажется, мать все еще ждет сына...

И в ответ этому ожиданию проносится порой над Константиновом еле слышный шелест слов:

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад...

Ст. ЛЕСНЕВСКИЙ



ДАВНИЕ СТИХИ

Трудно стать Фаустом при отсутствии Мефистофеля, но, допустим, мне снова 18 лет. Стучусь в двери «Юности», предлагаю только что написанные стихи. Сотрудники читают и прикидывают: «Для первокурсника неплохо, а к нам идут все больше тридцати- и сорокалетние. В стихах нет общественной жилки, разве что в «Шотландской песне», да ведь это вальтер-скоттовские времена, приключенщина. Но ведь молодо-зелено, у него, поди, одни девушки сейчас на уме, придет время, обтолкается. А сам парень как парень, и фамилия редкая, и фотография получится, опять-таки девушкам на съедение». Советуются с главредом, принимающим во внимание возраст и фото, а затем, махнув рукой, решают дать пресловутый «первый толчок». Наверное, так или приблизительно так произошло бы в фаустовском варианте с этими стихами.

Почему же так не случилось тридцать три года назад наяву, а не в допущении? Объяснить это тем, что я и мои товарищи не носили подобные стихи в журналы и газеты, было бы можно, ибо дело обстояло как раз таким образом. Но не носили мы не только из-за скромности, а в твердой уверенности, что накануне войны свой литературный путь надо начинать с других стихов. И такие стихи, стихи предгрозя и ожидания схватки, вскоре у нас появились. Мы их тоже тогда не печатали, но уже по другим соображениям: хотелось собрать подобные стихи в кулак, которым не один поэт, а целое поколение могло погрозить фашизму. Но тут грянуло 22 июня, и стране понадобились не наши строки, а наши пули.

Почему же я отдаю свои давние стихи в журнал «Юность» 1971 года? Прежде всего для того, чтобы расширить представление о своем поколении накануне войны. Мы не только стреляли по мишеням в тире и совершали парашютные прыжки с самолетов, а тосковали и радовались, влюблялись и целовались, как это и надлежало делать в 18—20 лет. И никакие грядущие события помешать этому не могли. Живые ребята, мы так яростно и отстаивали жизнь своей страны, потому что в ней были не только тир и парашюты, а и девичьи поцелуи, и слезы матерей, и мартовские лужи с блестящими звездами.

Отдаю я эти стихи и потому, чтобы лишний раз доказать необходимость писать стихи не только для печати, но и без оглядки на нее. Попадут они на журнальные страницы или не попадут, а свое дело сделают и для вас, и для любимой, и для всего вашего окружения. Хотя бы тем, что приучат вас быть отзывчивее друг к другу.

В заключение с улыбкой скажу, что эти стихи получили тогда премию на закрытом ифлийском¹ конкурсе. Мой девиз был «Северянка» — адресат моей тогдашней увлеченности. Но даже этот сатанинский успех не подвигнул меня на хождение по редакциям. Парень рассчитывал на большее.

С. НАРОВЧАТОВ

21.XI.70.

¹ ИФЛИ — существовавший в тридцатые годы Институт истории, философии и литературы.

Сергей Наровчатов



В Сокольников

Про нас с тобой Сокольников
Всю осень говорят,
Мол, с лекций, своевольники,
Уходим в листопад.

Октябрь листвою каленою
Засыпал черный пруд,
Соперничает с кленами
Кирпичный институт.

У первых встречных спросим мы,
Ветра ли навели
Широкой кистью осени
Багрянец на ИФЛИ!

Им любоваться издали
Предпочитаем мы,
Решив с академизмами
Не знаться до зимы.

Важней любой науки,
Всех альф и всех омег
Твои глаза и руки,
Мой лучший человек.

Чем дальше, тем бесстрашней
Мы смотрим общий сон,
Нездешний и домашний,
Он в явь перенесен.

И светишься ты в дымке
Стихов и облаков
От кружевной косынки
До легких каблучков.

Беспамятно влюбленными,
Нам об руку идти
И на совете с кленами
Решать свои пути.

Про нас с тобой Сокольники
Всю осень говорят,
Мол, с лекций, своевольники,
Уходим в листопад.

1938 г.

Северянка

Открыт ветрам мой дом пустой,
Кругом равнин широкий роскид,
И, забираясь на постой,
Ветра чердак разносят в доски.

В поселок путь смела пурга,
И слышно лишь по ночи мгlistой,
Как табуном встают снега
Под ветра уркаганский высвист.

Пускай буран колотит в дом,
Пускай зовет в белесый омут,
Но ни теперь и ни потом
Меня не выманить из дому.

Сорвется заржавелый крюк,
И дверь, распахнутая настежь,
Закличет из крутящих вьюг
Мое беспамятное счастье.

Рванет под перезвон крюка
Рука, исколотая вьюгой,
На юге сшитого платка
Концы, натянутые туго.

Я вздохом отдышу одним
Заиндевелые ресницы
И расскажу глазам твоим
О том, что им должно присниться.

Мы вместе встанем у окна,
Заучивая миг на память,
И все поэты в гости к нам
Пойдут через шальную заметь.

И до последней крохи
Грехи мы им простим тотчас
За те греховные стихи,
В которых сказано про нас.

Шотландская песня

Изодран твой плед, уходить в нем не след
Холодной февральской порою...
Куда ты сегодня собрался чуть свет!
— К Роб-рою, мама, к Роб-рою!

Вымокшим стогом сыреет восток,
Дорога грустна из поселка...
Надолго ли в горы уходишь, сынок!
— Надолго, мама, навсегда!

Далекой весной распрощался со мной
Твой отец, уходя не за тем ли!
За что же на бой поведет вас Роб-рой!
— За землю, мама, за землю!

И что тебе в том, чтоб идти за отцом
В такую тоску-непogоду...
И что же дороже, чем поле и дом!
— Свобода, мама, свобода!

А если когда и лихая беда
Глаза твои пулей закроет,
Куда твоим братьям податься тогда!
— К Роб-рою, мама, к Роб-рою!

Вечер

Шапку звезд на брови надвинув,
Шагает мартовский вечер
В пьянящее бездорожье
И неоглядную ширь.
Он шагает по черным лужам
Туда, где далеко-далече
Мне незнакомая девушка
Ждет этот вечер в глуши.

Набросив платок на плечи,
Выходит одна за околицу
И смотрит, как солнце нехотя
Гаснет за синей рекой.
И все, что она задумает,
Обязательно исполнится,
А девушке очень хочется
Быть близкой и дорогой.

И девушка просит вечер,
Чтобы он разыскал ей кого-нибудь
Непременно очень хорошего,
Себе и весне под стать...
Ручьи зазвенят под снегом,
Покатаются звезды по небу,
А вечер заломит шапку
И пойдет жениха искать.

И почти на полсуток позднее,
Оставив тайгу и горы,
Он войдет в кривые проулки,
Которыми славен Арбат,
Огни зажигая в лужах,
Он пройдет через шумный город,
Его я на Сретенке встречу
И окликну его наугад.

Он ко мне подойдет неслышно,
Обнимет мальчишку за плечи:
— Пускай среди всех ты не лучший,
Лучшим ты будешь с ней...
И домá запрокинут крыши
Ливням из звезд навстречу,
Но звезды в ответ запросят
Горячей руки моей.



**СВЕТЛАНА ИКОННИКОВА,
АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ**

трудно ли стать взрослым?

диалог

О МОЛОДЕЖИ

В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

ведут социолог

и журналист



Огромная наша страна живет сегодня ожиданием XXIV съезда КПСС. В индивидуальных и коллективных обязательствах рабочих, колхозников, инженеров, ученых, в широко развернувшемся социалистическом соревновании ощущаются рабочие ритмы новой пятилетки, перспективы которой будут обсуждаться на очередном партийном форуме.

Никого сегодня не застанет врасплох вопрос: «Что такое пятилетка?» «Новые города, заводы, электростанции», — скажет один. «Научные открытия, освоение необжитых земель» — таково будет мнение другого. «Увеличение сельскохозяйственного производства», — скажет третий. И каждый будет прав. Потому что понятие «пятилетка» прочно связалось в нашем сознании с серьезным экономическим успехом, с социальными переменами, с улучшением жизни... Ну, а если поставить вопрос так: «Чего вы лично ждете от новой пятилетки?» — ответы будут подчинены возрастной закономерности. Скажем, пожилой человек, между прочим, заговорит и о пенсии. Люди средних лет свяжут перспективу с повышением рабочего разряда, с переквалификацией, с возможными успехами в научной или творческой деятельности. Но, пожалуй, самым «урожайным» будет ответ семнадцатилетних. Всем им предстоит до 1975 года завершить среднее образование. Многим — поступить в институт или отслужить в армии. Серьезно определиться в выборе профессии. Возможно, завести семью. *Стать взрослыми.* Непростое пятилетие предстоит прожить молодым — такой напрашивается вывод.

Общество недаром рассчитывает, например, на то, чтобы в новой пятилетке удовлетворить потребности в рабочей силе за счет молодежи на 70—80 процентов. В этом расчете — опыт предыдущих пятилеток (сегодня мы говорим уже не только о молодежных бригадах, успешно решающих серьезные производственные задачи. Конструкторские бюро, тресты, целые промышленные отрасли, скажем, приборостроение, — молодежные). Есть в общественном расчете и другое. Уверенность, что молодой человек — с помощью, разумеется, общества, — станет взрослым быстро и безболезненно, способствуя тем самым успеху нашего общего дела. Эта уверенность реальна.

Но вот мнение семнадцатилетнего, который прислал в редакцию письмо:

«...Зовут меня Слава, фамилия — Ивашев. Живу в городе Курске. Может, вопросы мои незначительны и вызовут у вас только улыбку. Не знаю. Пишу вам потому, что мне кажется, вы поможет мне разобраться.

Я заканчиваю десятый класс. Раньше моя персона мало кого интересовала. Лишь бы учился без троек и не приносил записей в дневнике. А сейчас все словно сговорилось. Первого сентября, успели мы только прийти в школу, директор сказала: «Теперь вы люди взрослые. Десятый класс ответственный. Надо серьезно подумать о будущем...» Мамин знакомые при встрече спрашивают, куда думаю поступать после десятого. Моя мама врач. Она считает, что я буду врачом. Поэтому мне велено получать пятерки по химии и физике. Наша учительница по литературе советует мне поступать в университет на филологический (я по собственному почину изучаю французский, люблю стихи). А сам я? Меня ни одна профессия по-настоящему не увлекает, хотя нравятся многие. Я это твержу всем. Бабушка говорит, что

я капризничаю. Слишком жирно, она говорит, жить стали, много получили прав, глаза разбегаются: кем хочешь можно стать. Бабушка родилась в деревне и проработала в колхозе всю жизнь... А сосед по квартире Владимир Александрович, он инженер, смеется: «Найдешь себя, обязательно найдешь. Путем долгих проб и ошибок, как я...». Он окончил школу, институт. Пять лет был младшим научным сотрудником. Сейчас работает над диссертацией, а конца не видно. Моя бабушка ворчит: «До седых волос ему родители будут помогать... Хорошо, что своих детей не завел. Инженер!..» Я тоже думаю, не очень это здорово. Проучиться пятнадцать лет. Отслужить в армии. Просидеть семь лет в конструкторском бюро, в ожидании, когда кто-нибудь уйдет на пенсию. А тебя все молодым человеком называют!.. Владимир Александрович уже не смеется, когда я все это пытаюсь втолковать.

В общем, такая перспектива, где сколько проб, столько и ошибок, меня не греет... Я даже жалею, что послушался маму и после восьмого класса не пошел в техникум или в ПТУ, как мои друзья Борис и Венька. Во всяком случае, избавился бы от упреков домашних, которые считают, что пенсия бабушки и мамина зарплата «вбиваются» в меня: на брюки, рубашки, туфли... Венька, он сейчас маляр-штукатур, уже самостоятельный человек. Его не обихаживают, как меня. Но, с другой стороны, не останется же он маляром до конца дней! Уже решил — будет учиться. Это меня успокаивает: так на так и получится. Он работает сейчас, когда я учусь. И будет учиться, когда я уже буду работать. Хотя Венька говорит, что лучше раньше получить какую-нибудь специальность. Не понравится — есть время получить другую. И дорога в институт никогда не заказана. Ну, а если окончишь институт сразу после десятилетки и окажется, что специальность не по душе? Пробовать по-новому поздно. Так до конца жизни и не люби то, что когда-то выбрал по настоянию родителей. Закладыванный круг...

В общем, директор школы для красного словца сказала тогда, что мы уже взрослые. Трудно стать взрослым, самостоятельным, так, чтоб была от тебя польза всем людям. Трудно утвердиться в жизни, хотя бабушка и говорит, что сегодня кем хочешь можно стать. Может, я не прав, но я сам пришел к такому выводу. Хотелось бы знать ваше мнение...

Я ответил Славе. Написал, что сегодня выбор места в жизни действительно не прост. Однако не стоит приходить в отчаяние оттого, что ты еще не определился. Наше общество открывает перед каждым широчайший профессиональный выбор, предоставляя возможность развивать любые человеческие задатки и способности. Когда научишься судить о том или ином предмете не поверхностно и не понаслышке, а глубоко, разбираясь в самой сути — а именно этого требует время, — тогда и почувствуешь вкус к профессии, желание посвятить себя ей. А научиться этому можно только действуя, непосредственно участвуя в работе. Как это было у соседа, Владимира Александровича, которого Слава, может быть, и поторопился записывать в неудачники...

В таком духе был выдержан мой ответ. Но я не стал отсылать его. Мне показалось, что Славу беспокоит не только сложность профессионального выбора. И что вовсе не отчаяние заставило его написать такое письмо в редакцию, а великое нетерпение, желание как можно скорее включиться в общее дело, чтобы приносить пользу.

Я отложил ответ, надеясь при случае посоветоваться с людьми сведущими.

Такой случай скоро представился. Встретившись в очередной командировке, в Ленинграде, с доцентом ЛГУ, кандидатом философских наук социологом Светланой Иконниковой, я вспомнил о письме и выложил его на стол. Светлана прочла Славину исповедь и с места в карьер спросила меня: «Не кажется ли вам, что это письмо о затаянвшемся детстве?»

Я попросил пояснить, что здесь имеется в виду. С этого началась наша беседа.

— Сегодня каждый из нас может услышать, как вздыхают и сокрушаются взрослые, говоря о своих детях: «Мы в их возрасте ой сколько успели! А они?» Часто подобные реплики относят к извечной стариковской привычке побрюзжать. Ну, а всегда ли справедливо?

Напомню, что у наших далеких предков век был короток. Английские ученые Даблин и Макдонелл, изучая надписи на древнеримских надгробиях, установили, что большинство римлян жило 20—25 лет. И человек успевал за столь короткий отрезок времени пройти путь от детства к старости. Успевал выполнить все выпавшие на его долю социальные роли... Да что там римляне! Сотню лет назад российский «мужичок с ноготок» иногда справлялся с ролью кормильца семьи, имея семь-восемь лет от роду. Пусть эта роль была и вынужденной. Но никак ведь не сравнишь «мужичка» с сегодняшним первоклашкой, которого мама и бабушка пичкают деликатесами и водят в школу за ручку. А если взглянуть по-иному? «Какие нынче умные дети пошли!» — восклицают все те же взрослые. И в самом деле, по уровню знаний о мире, по степени умственного развития наш первоклашка, несомненно, опережает «мужичка с ноготок». Но явно проигрывает в другом: ему предстоит полностью включиться в круг общественного действия уже, так сказать, «перестарком» — к двадцати пяти — тридцати годам. Не обидно ли?..

Вот этим «не обидно ли?» проникнуто письмо Славы. Говорит ли он о соседе, который проучился пятнадцать лет и уже около десяти ходит у себя в КБ в «молодых людях». Или сетует на зависимость от родителей, «вбивающих» в парня свои невеликие средства. Или когда цитирует собственную бабушку...

Но ведь Славе, пользуясь его же выражением, будет «трудно стать взрослым» вовсе не потому, что на него наседадут родные, знакомые, учителя, предлагая каждый свой вариант будущего. Трудно стать взрослым по вполне объективным причинам: научно-техническая революция в девяносто случаях из ста требует от людей серьезной общеобразовательной и профессиональной подготовки. «Мужичка с ноготок» к станку с программным управлением не поставишь. Хочешь не хочешь, отдай, как минимум, пятнадцать лет на учебу в наше бурное «затехнизированное» время...

«А может быть, — подумал я, — обидя человека на исторический прогресс все же имеет свои резоны?» Затаившееся детство — выяснили — не «частная» Славина проблема. Сегодня каждый молодой человек вынужден долго и кропотливо аккумулировать знания, чтобы приноровиться к уровню общественного спроса. Ну, а вместе с тем увеличивается ли продолжительность жизни, которая бы компенсировала затаившееся детство, позволяла полнее реализовать

вать накопленные знания, активно воздействовать на общественную жизнь?

Я спросил об этом Светлану.

— Люди старше шестидесяти лет составляют сегодня примерно 8—12 процентов населения. В будущем — при благоприятных международных и социальных условиях — доля шестидесятилетних увеличится до 30—35 процентов. То есть научно-технический прогресс сколько «отобрал» у человека в молодости, столько примерно и «вернет» ему к старости... Но молодой человек в наши дни и в самом деле нетерпелив. Ему кажется, что он попусту теряет время, дожидаясь общественного спроса. И торопится предложить свои, порой «недозрелые» услуги. Это нетерпение вполне обоснованно. Генеральный директор ЮНЕСКО Рене Майо, выступая на Международной конференции по проблемам молодежи, между прочим, заметил, что техническая цивилизация — это цивилизация молодых. С каждым днем мы будем это чувствовать все острее и острее и будем вынуждены считаться с этим. Сегодня молодой человек, говорил Майо, знает больше, усваивает новое лучше, и происходит это потому, что новшество, изобретательство становятся основой нашей деятельности.

Плюс ко всему, динамизм общественной жизни требует от человека гибкости, быстроты реакции, способности принимать самостоятельные решения. А такие качества более присущи человеку молодому. Ведь в шестьдесят лет люди, как правило, уже на пенсии. Вот и получается, что прогресс, раздвигая границы человеческого детства и старости, делает самое деятельное и насыщенное время зрелости сравнительно коротким... Обижайся не обижайся, факт остается фактом.

Но под зрелостью, отметил я про себя, очевидно, подразумевается не только некоторый возрастной промежуток. Скажем, между двадцатью пятью и пятьюдесятью годами. Зрелость, кроме паспортных, имеет и определенные социальные приметы. Детство затягивается — до какого момента? Когда человека можно считать взрослым с точки зрения общества?

— Вспомним письмо Славы. В конце он написал, что директор школы для красного словца назвала ребят взрослыми. Слава, пожалуй, прав. Ребята могут быть одинакового возраста. Но один в глазах общества еще юноша, а другой — уже молодой взрослый. Грань между юношей и молодым взрослым определяется характером и содержанием деятельности. Слава учится, и с точки зрения общества он еще юноша. Его друг работает — он молодой взрослый. (Кстати сказать, Славино нетерпение наверняка подогревается еще и тем, что его сверстники уже как-то определились, а он вроде бы поотстал...) ...Существует еще понятие социальной зрелости. Оно окончательно определяет время человеческого взросления. Некоторые исследователи справедливо связывают это понятие с экономической эффективностью, экономической активностью молодежи на производстве. Максимум экономической активности падает на возраст 25—27 лет. Именно в это время все молодое поколение полностью включается в процесс производства, приобретает стабильную профессию, заканчивает профессионально-техническое или иное специальное обучение... Одна весьма существенная для нашего разговора деталь. Экономическая эффективность человека зависит от того,

насколько полно он может выразить себя в том или ином виде деятельности. И поэтому наше общество всерьез заинтересовано, чтобы каждый юноша выбрал для себя профессию, подчеркиваю, по призванию. Чтобы профессия не была человеку в тягость.

Но заинтересованность не всегда пока совпадает с реальным положением вещей. Молодому человеку сегодня предлагается около 30 тысяч профессий. Есть отчего глазам разбежаться. Однако трудность выбора объясняется вовсе не гигантским общественным спросом. Множество профессий вроде бы даже облегчает поиск работы по душе. Трудность-то в том, что сам молодой человек при нынешнем состоянии школьного обучения не в силах точно определить, есть ли у него к чему-нибудь призвание или нет такового. И потому часто путает призвание с увлечением, преходящим интересом... Все верно. Окончательно слово здесь принадлежит только опыту, только практической деятельности. Но ведь выбор предшествует опыту. Как тут быть? Чаше всего получается так, как это изложено в Славином письме. Учительница, заметив, что у юноши есть склонность к языкам, рекомендует ему поступать на филологический. Мама-врач уверена, что сын унаследует ее профессию. Сверстники предлагают Славе свои варианты будущего. А Слава не чувствует тяготения ни к одной из профессий, между тем как общество наверняка нуждается в его знаниях или рабочих руках... Случай, когда личность и общество пока не нашли друг друга. Но найдут — это несомненно. Найдут хотя бы потому, что молодой человек не может без конца оттягивать вступление во взрослую жизнь. Вот только какой ценой дается взрослость... Нелюбовь к специальности, избранной по настоянию или рекомендации, не принесут выигрыша ни личности, ни обществу. Вроде бы «заколдованный круг», как заметил Слава. Но выход, однако, имеется. На мой взгляд, он в точной профессиональной ориентации. Сошлюсь на эстонский опыт. 90 процентов (из числа опрошенных) молодых людей, которые воспользовались рекомендациями службы профориентации, выбрали удовлетворение избранной ими профессией.

Я тоже был знаком с эстонским опытом. Там, в Эстонии, действительно удалось несколько упорядочить стихию профессионального выбора — правда, не до конца, пока только со стороны общества. Школьники широко знакомились с промышленным и сельскохозяйственным производством, с массовыми рабочими профессиями. Были выпущены специальные брошюры и для родителей, и для учителей, и для старшеклассников. При школах с помощью предприятий-шефов создавались уголки и кабинеты по профессиональной ориентации. Местное радиовещание, лектории, факультеты народных университетов помогали родителям подготовить детей к сознательному выбору будущего... Но, думая об этом, без условно, положительном опыте, я вспомнил одно из выступлений председателя Государственного комитета ЭССР по трудовым ресурсам Энна Лехепуу. Он говорил о том, что профориентация в узком смысле учитывает способности, наклонности, психофизические данные подростка, с одной стороны, и потребности народного хозяйства — с другой. Однако, по мнению Э. Лехепуу, профориентация вовсе не сводится, как полагают некоторые, лишь к информированию молодежи о потребностях народного хозяйства, к доброму совету, куда пойти учиться, кем быть. «О профессиональной ориентации, — цитирую дословно, — можно говорить лишь как о системе комплексного воздействия (подчеркнуто авторами. — Ред.) на мотивы выбора профес-

сии, то есть это задача всех воспитательных институтов, общества и государства».

Серьезная оговорка. Что же такое комплексное воздействие? Многогранности научно-технической революции может соответствовать только разносторонне подготовленный молодой человек. Человек с уже развитыми навыками, с четкими представлениями о сложностях современного общественного и производственного механизма. Иными словами, широко профессионально ориентированный.

На ум пришла строка из Славинаго письма: «Раньше моя персона мало кого интересовала... а сейчас все словно сговорились». Школа требовала от человека знаний, ничуть не заботясь о воспитании элементарных практических навыков, не думая о том, что человек в итоге должен включиться в работу, в дело. И служба профессиональной ориентации, в сущности, должна исправлять сегодня огрехи школы...

Понятно и то, почему Славина симпатии на стороне его друга Веньки. Для себя этот мальчик уже решил стихийно проблему, к которой общество всерьез подступает. Помните, как он рассуждает? Нужно пробовать себя в деле раньше, и тогда в будущем ошибка в выборе места в жизни сведется к минимуму.

Не такую же ли «веру» исповедует передовая педагогическая мысль, которая решала и решает проблемы раннего развития способностей, воспитания трудовых навыков в школе, воспитания нравственной цельности и человечности? Приведу только один пример. В экспериментальной школе Василия Александровича Сухомлинского восемьдесят самых разнообразных кружков. И занятия там ведутся всерьез. (Скажем, сейчас ребята строят вертолет.) И приобретает серьезный политехнический кругозор. Именно здесь и начинается профессиональная ориентация в широком смысле слова!

Пока «трудно» стать взрослым». «Затянувшееся» детство, сложности в выборе места в жизни — реальные и объективные препятствия. Ну, а что еще сопутствует человеческому взрослению? — такой вопрос решил задать Светлане. Ведь семнадцатилетним — сверстникам Славы — необходимо знать об этом. Не для того, конечно, чтобы удовлетворить праздное любопытство. Каждый человек, независимо от возраста, создает для себя лично модель необходимого будущего. И каждый понимает: грош цена твоим планам и ожиданиям, если они не учитывают общественных требований, не соотносятся с общественной целесообразностью. Познавать суть происходящих процессов означает и учиться управлять ими. А ведь именно этого ждет общество от нового поколения, которое рано или поздно станет хозяином положения.

Какие же еще «сюрпризы» готовит бурное наше время для семнадцатилетних?

— Мы говорили только об одной примете социальной зрелости. Об экономической активности. Это примета основная. Она как бы венчает молодость со взрослостью. Но молодой человек испытывается обществом на зрелость еще и другими — уже не производственными — ролями. Вот смотрите. В новой пятилетке подросткам предстоит завершить среднее образование, приобрести профессию или рабочую квалификацию, поступить в институт и, может быть, закончить его, всерьез выполнять гражданские обязанности, стать отцом семьи. Какой период человеческой жизни столь насыщен и богат переживаниями? А дело-то все в том, что в этот короткий промежуток времени происходит окончательное ста-

новление личности, введение человека в круг общественных обязанностей. Слов нет, тяжеловат, перенасыщен новыми ролями этот период. Но, во-первых, без него нельзя обойтись — человек должен обязательно акклиматизироваться в непривычной для него обстановке взрослости. И, во-вторых, ролевая перенасыщенность — свидетельство глубокой демократичности нашего строя. Человек призван умножать богатства страны, управлять ею, защищать, преобразовать ее лицо, то есть деятельно участвовать во всех областях общественной жизни.

Заметили? Говоря о затянувшемся детстве, мы употребляли слово «брать», «аккумулировать». Теперь речь идет об отдаче. Короче, индивидуальная модель необходимого будущего не может не учитывать деятельности. Недаром Слава печется о пользе для общества, об отдаче. Не сделав еще выбора, он понимает, что будущее его связано с делом, активным участием в переустройстве жизни.

Это перенасыщенное для сегодняшних десятиклассников время можно рассматривать вовсе не отвлеченно. Оно вписывается в новую рабочую пятилетку. И новый пятилетний план предъявляет вполне реальный счет каждой социальной роли, выпадающей на долю сверстников Славы. Их активная деятельность на любом поприще будет способствовать успеху пятилетки. Просчеты, робость в попытке действовать, пробы себя и там и здесь могут обернуться и серьезным вычетом.

Личный план на будущее непременно корректируется общественным планом. Ну, а как это может сказаться на самой ответственной социальной роли — производственной?

Человек приходит сегодня на завод с уверенностью, что будет работать не дедовскими способами и не на устаревшем оборудовании. И, в общем, такое ожидание правомерно: каждая пятилетка преобразует производство, механизмируя или автоматизируя процессы. Но вот ведь может быть какая несообразность, и личное планирование его не учитывает: на старых, сложившихся предприятиях автоматизация пока не исключает подсобных работ, а подчас даже увеличивает их объем. И молодой рабочий может быть занят на первых порах на этих подсобных работах. Это «нежданная» ситуация. Как же: завод-автомат — и вдруг подсобник, производственная эффективность которого крайне низка!

Что же, впадать в уныние и сетовать на несостоявшееся будущее? Ничего другого не остается, если смотреть на реальное противоречие как на неизменное. На самом же деле пятилетка вслед за автоматизацией решит и проблему «малой механизации». Неувязка в производственной биографии человека будет, таким образом, корректироваться тем же общественным планом.

Очевидно, в современном производстве могут быть и другие «несообразности», о которых человек не подозревает, но которые непременно должен учитывать, обдумывая свои перспективы.

— Пожалуй, что так. К примеру, молодой человек не может рассчитывать на то, что полученных в школе или техникуме знаний ему хватит до конца дней. Сегодня знания стареют во много раз быстрее, чем человек. Французский социолог Альфред Сوفي совершенно справедливо заметил: люди проявляют тенденцию преподавать заученное и, следовательно, сообщают слушателям о том, что уже превзойдено процессом развития. Потому-то научно-техническая революция и требует выработки в каждом человеке

способности к будущей переквалификации, перемене труда. Наверное, и в самом деле нелепым было бы увеличивать сроки обучения до 25—30 лет, как это предлагают некоторые. Полагаю, пятнадцатилетнего обучения вполне достаточно для включения человека в производство. Однако замечу, что очень скоро экономическая активность человека начинает падать. И именно из-за «постарения» ранее усвоенной информации. Вот почему чрезвычайно важный показатель современности — не просто рост образования, а повышение квалификации, обновление знаний и, таким образом, «омоложение» работника, которое должно падать на промежуток между 35 и 40 годами...

Вполне вероятно, что Владимир Александрович, сосед Славы, сидит в младших научных сотрудниках не только потому, что в КБ нет вакансий. Диссертация, которую он пишет, очевидно, требует и наращивания знаний и переоценки информации соотношения с темпами развития современной науки. А на это уходит гораздо больше времени и сил, чем, скажем, на самое сложное профессиональное переучивание...

В моем блокноте сохранилась любопытная запись. В 1924 году академик Струмилин подсчитал, что рабочий тратит на учебу 160 часов в год. Сибирские социологи провели в 1960—1961 годах исследование и выяснили, что в наши дни это время увеличилось у мужчин на 30 часов, у женщин — на 100. На предприятиях же, где непрерывно растет и без того высокая техника и где в основном работали люди со средним образованием, на учебу в массе отпускалось 300 часов. То есть чем выше был образовательный уровень, тем больше приходилось — и приходится! — выкраивать времени на пополнение знаний, чтобы «старение» информации не сказалось на снижении экономической активности.

А вспомнилась эта запись вот в связи с чем.

Успех нашего общего дела, безусловно, связан с высокой экономической активностью каждого. Недаром она является главной приметой общественной зрелости человека. Но ведь есть и еще одна, менее важная примета — участие человека в управлении производством, общественной жизнью. Управляющий — вполне реальная социальная роль для любого из молодых. Функции управления не передаются сегодня по наследству. Социализм зачеркнул былой знак равенства между понятиями «социальное происхождение» и «социальное положение». Владимир Ильич Ленин мечтал, что со временем каждый человек сможет уделять в день три-четыре часа делу управления страной. Три-четыре часа в день — это тысяча с лишним в год, вдвое больше, чем приходится сегодня на учебу рабочего со средним образованием.

«Со временем», — повторим вслед за Ильичем. А сейчас? Как приобщается молодежь к опыту управления сегодня?

— Через комсомол. Ленинградские социологи специально изучали отношение молодых инженеров к организаторской, управленческой деятельности. Выяснилось, что наиболее результативными организаторами становятся те, кто имеет за плечами опыт комсомольской работы. И наоборот, старательно избегают организационной работы, предпочитая ей научную или просто труд рядового инженера, молодые люди, не имеющие комсомольской закалки. Ясно, что прежде всего эти люди обедняют себя, оставляя за собой единственную возможность

влиять на общество — непосредственно производственной работой.

Вступающим во «взрослую» жизнь об этом нужно крепко подумать...

На этом закончилась наша беседа со Светланой. Мы не стали подводить итога. В таком сложном деле, как выбор человеком места в жизни, последнее слово принадлежит только общественной практике. А она, безусловно, способствует сегодня, насколько это возможно, безболезненному и скорому включению молодого человека в круг общественных обязанностей.

И по-иному быть не может в обществе, для которого самая высокая цель — разносторонне развитая, гармоничная личность.

Еще десять лет назад большинство молодых людей обрело социальную зрелость «путем долгих проб и ошибок». На фоне бурного развития науки и техники стала видна неэффективность такого способа возмужания. И прежде всего для человека.

Наука нашла возможность обуздать в массе стихию слепого выбора. Первая ласточка — профессиональная ориентация, рассчитанная на индивидуальный подход, на выявление разнообразных качеств личности.

В центре ее забот — человек, который должен непременно найти себя, развить свои способности и задатки.

Но профессиональная ориентация не решается пока в комплексе: она — в процессе становления. И только со временем будет включать в себя и раннее развитие способностей. И серьезную практическую подготовку ребят в школе. И воспитание — у школьников же — разнообразных навыков, соответствующих требованиям будущей «взрослой» жизни. Все это непременно свершится, и отчасти уже в новой пятилетке.

Свершится? Отчасти? Значит, не исключены еще случаи «слепого» выбора, переоценки собственных возможностей, обиды на то, что общество не сумело дать каждому работу по душе? Не исключены. Но нельзя принимать общество за скопище нянь, которые по первому твоему зову — есть возможность или нет — обеспечат тебя всем необходимым. Нужно учитывать сложность и постепенность социального развития, видеть реальную перспективу, чтобы понять: в некоторых случаях общество вправе потребовать от тебя сознательной уступки, скажем, временной работы «не по душе». Ради общественного успеха.

В этом смысле стоит еще раз вспомнить письмо Славы Ивашева. Говоря о том, как трудно сегодня стать взрослым, он ведь соединяет свою озабоченность с думой о пользе для общества. Он готов работать, приносить пользу. Эта готовность обнаруживает высокую моральность подростка, развитое чувство коллективизма, то есть те качества, без которых немислим гражданин, независимо от того, «нашел» он себя или «не нашел».

Значит, и гражданственности потребует новая пятилетка от вступающих в жизнь молодых.



«...МЫ НЕ ИГРАЕМ»

документальный
рассказ
о тульском
детском
пролеткульте

ДОМ НА БУНДУРИНСКОЙ

Вторая послеоктябрьская зима в Туле. Город на военном положении. Местный Совет обращается к населению с призывом сдавать оружие: «Не сдавшие винтовки будут объявлены врагами революции». Угроза голода становится все острее. Снежные заносы затрудняют доставку продовольствия. На исходе топлива... Сви-репствует сыпной тиф. Губернская газета «Коммунар» публикует строжайшие приказы Санитарного Диктатора — была тогда и такая должность.

По улицам бродят голодные, оборванные дети и подростки. У одних родители погибли на фронте или умерли, у других мечутся в тифу, у третьих с утра до вечера на заводах... С наступлением сумерек подростков на улице становится больше: появляются тринадцатилетние — пятнадцатилетние ребята, те, что уже работают учениками на предприятиях и рассылными в учреждениях...

Много неотложных дел решал в те дни председатель Тульского губкома РКП(б) Григорий Каминский. Но где бы он ни был и какими бы срочными проблемами ни был занят, мысль о бродящей по городу детворе не давала ему покоя.

— Откроем еще один питательный пункт, но такой, чтобы он стал центром, организующим пролетарских детей, — решил Каминский и поручил одному из активистов Пролеткульта, коммунисту Д. В. Пожидаеву, подобрать помещение. Пожидаев нашел пустующий просторный особняк на Бундуринской, 43, и с немалым трудом достал дрова. Помещение протопили, и в один из январских дней 1919 года на ворота наклеили объявление: «Здесь детей рабочих записывают в Детский Пролеткульт».

Пролеткульт так Пролеткульт — ребятам все равно: было бы тепло. За несколько дней записалось более трехсот человек.

Итак, помещение есть, посетителей хоть отбавляй, что же дальше? А дальше произошло непредвиденное: в доме на Бундуринской появились враждующие между собой группы ребят, каждая со своим «атаманом». Резались в «очко» и «орлянку». То и

дело вспыхивали драки. По вечерам из дома неслись плач, крики, матерщина...

Так продолжалось недели две.

Но ведь могли же Тульский Совет, милиция и другие органы власти мгновенно прекратить эту вакханалию? Конечно, могли. Так почему же не были приняты крутые меры?

В одной из своих работ Н. К. Крупская писала: «Жизнь юков (юных коммунистов.— Ред.) еще не война, где опасна каждая ошибка, а потому необходимо дать им полный простор для самоуправления».

«Полный простор для самоуправления!» Григорий Каминский не знал тогда этих слов Крупской по той простой причине, что напечатаны они были позднее. Но молодой большевик (ему было тогда двадцать три года) пришел к той же мысли: пусть ребята сами наведут порядок в своем доме, создадут самоуправление. Он верил, что в разношерстной буйной ребячьей толпе, хлынувшей сюда с улицы, найдутся смелые и честные пролетарские ребята, которые возьмут верх.

Среди тех, кто записался в Детский Пролеткульт, были дети рабочих оружейного и патронного заводов, железнодорожного узла, самоварной фабрики, сахарного завода и других предприятий. Были и такие, которые уже сами работали учениками слесарей, токарей, ремонтных рабочих... Они знали о тяжелой обстановке в Туле, о том, что их город — основной арсенал республики и опорный рубеж в обороне Москвы. На митингах они слышали призывы ораторов к единению, всемерной помощи фронту. И в сознании ребят пробуждалось стремление организовать и помогать взрослым отстоять революцию. Потому-то и пришли в Детпролеткульт Сережа Хайбулин, Петя Пономарев, Миша Лебедев, братья Волковы, Лена Черницкая и другие ребята. Они составили тот костяк, который бросил вызов стихии, бушевавшей на Бундуринской.

— Долой хулиганство, грязь и безделье! Даешь чистоту, порядок и сознательную жизнь!

Не установишь сейчас, кто первым из них бросил такой клич. Да так ли уж важно, кто первый? Важно, что клич этот подхватили десятки ребят. Убрали

хлам, выскребли полы, вымыли стены и окна, а потом пришли к Пожидаеву и заявили:

— Дайте нам занятие. Хотим работать!

— Что ж, дело хорошее. Начинайте со скамеек и табуреток, чтобы было на чем сидеть; материал есть, инструмент достанем...

И вот уже двадцать семь ребят пилат, строгают, склеивают... С организации столярной мастерской и берет свое начало тульский Детский Пролеткульт.

ПОЧЕМУ ПРОЛЕТКУЛЬТ?

Пролеткульт. Культурно-просветительная организация, руководители которой ошибочно считали, что рабочий класс должен отбросить культурное наследие прошлых времен и создать свою особую пролетарскую культуру. Большевицкая партия подвергла Пролеткульт резкой критике. В ряде своих статей и выступлений и, в частности, в речи на III съезде комсомола В. И. Ленин решительно осудил отрицание прежней культуры, разъяснив, что пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые выработало человечество.

В деятельности тульского Пролеткульта на первых порах в какой-то мере, конечно, сказались вредные тенденции, насаждавшиеся верхушкой этой организации. Но вместе с тем в Туле (как, впрочем, и в ряде других пролетарских центров) в работе Пролеткульта было немало полезного.

Но почему все-таки именно о Пролеткульте подумал председатель губкома партии, когда надо было организовать детей? Видно, потому, что имел в виду конкретного человека, который мог бы помочь в этом. Таким человеком и был Д. В. Пожидаев.

Почему не обратились за помощью к комсомолу? Союз молодежи в Туле еще только-только создавался, он не окреп, и руководители его не имели опыта работы с детьми.

Хотя Пожидаев имел поручение губкома партии, но действовал он от имени Пролеткульта. Отсюда и название: «Детский Пролеткульт».

В короткое время в доме на Бундуринской было создано девять мастерских и пять студий. Много важного и нужного делали ребята.

«Детский Пролеткульт был хороший в Туле,— писала Н. К. Крупская,— но там пролеткультовского, собственно, было очень мало — занимались дети всем чем угодно, в том числе и искусством».

Занимались всем чем угодно... Чем же?

ГЛАВНОЕ — ТРУД

Длинные колонки цифр. Это отчеты о работе мастерских тульского Детпролеткульта в девятнадцатом году.

За десять месяцев — с 1 февраля по 1 декабря 1919 года — столярная мастерская во главе с Петей Пономаревым изготовила более двухсот сорока различных предметов. Табуретки и книжные шкафы, подрамники



Первая страница первого номера газеты «Детский Пролеткульт»

для плакатов и картин, деревянные кровати и верстаки, юпюитры для музыкантов и мольберты для художников, новая чердачная лестница, новая сцена!

А вот такая строка: «Для Красной Армии сделано новых палок для знамен 30».

В каждой мастерской считали великой честью сделать что-нибудь для защитников Советской республики. Из отчета, подписанного Лидой Кондратьевой, видно, что в швейной мастерской девочки сшили тысячу кисетов бойцам и большой киноэкран для красноармейского клуба. За полгода переплетено 220 книг для Красной Армии, сообщает в своем отчете заведующий переплетной мастерской Алеша Александров. Подшили 21 знамя и сделали бахрому, рапортует заведующая рукодельной мастерской Тоня Титова. Делегаты с Бундуринской вручали эти знамена бойцам, отправлявшимся на фронт.

Ребята увлеченно рисовали и размножали плакаты Тульского РОСТА — об этом мы узнаем из отчета заведующего живописной мастерской Васи Иванова.

Основным же заказчиком мастерских был сам Детпролеткульт. Здесь изготовляли все необходимое для своего интерната. Оборудовали помещение, шили белье и одежду, ремонтировали и шили обувь. За семь месяцев отремонтировано 850 пар обуви и сшито 48 пар новых сапог, ботинок и туфель, сообщает заведующий сапожной мастерской Костя Волков.

В самом интернате жило в разное время от двадцати до шестидесяти человек, остальные прихо-

дидя сюда утром и вечером, как в свой родной дом.

За выполнение ряда заказов Детпролеткульт получал деньги: на них приобретались материалы, инструмент. Но работали ребята не только в мастерских и нередко наотрез отказывались от вознаграждения за свой труд. Вот резолюция, написанная четким почерком на клочке бумаги: «Согласно постановления общего собрания члены Детского Пролеткульта ни в коем случае не могут брать денег за окопные работы, произведенные для своего же спасения от проклятого врага. Просим деньги обратить в пользу нашей красноармейцев».

В апреле 1920 года губком Детпролеткульта и старшие ребята переехали из Тулы в село Молоденки, Епифанского уезда, чтобы организовать там сельскохозяйственную коммуну. Привели в образцовый порядок предоставленное в их распоряжение бывшее помещичье имение. Затем создали производственные дружины, выращивали хлеб и овощи. Переездом в Молоденки преследовали и другую цель: вовлечь сельских ребят в детское коммунистическое движение (за четыре месяца до этого, выступая от имени Детпролеткульта на губернской конференции РКП(б), Миша Лебедев сказал: «Надо взглянуть в крестьянскую детвору, которая находится под гнетом родителей. Мы должны теперь кинуть в деревню наши силы»).

Итак, в основе всего — труд. А где же, собственно, Пролеткульт, то есть культура, искусство? Было и это. Действовали (и с немалым успехом) пять студий: театральная, литературная, вокальная, художественная и скульптурная. Однако эта сторона деятельности Детпролеткульта оказалась на втором плане. На первом — труд.

Тульские ребята писали своим сверстникам из города Ефремова, которые увлеклись исключительно постановкой спектаклей:

«Мы бы очень желали, чтобы среди вновь открытых Детских Пролеткультов оказался и ваш, Ефремовский, о чем мы можем списаться. Иначе мы боимся, дорогие товарищи, что вы, научившись хорошо ходить и играть на деревянных подмостках, плохо будете себя чувствовать в жизни, просто на земле».

Готовить себя к большой жизни, стать достойной смелой революционером старшего поколения — вот что тульские ребята считали главным. Труд, искусство, агитационная работа — вот «арсенал» детпролеткультовцев.

«ОТКОМАНДИРОВАТЬ ОРАТОРОВ»

В партийном архиве Тульского обкома КПСС хранится такой документ:
«В губком РКП(б).

Согласно постановления общего собрания членов Детского Пролеткульта от 25 декабря 1919 года по вопросу о голодовке в Москве рабочих и их детей, между прочим постановлено — откомандировать в распоряжение губкома ораторов: Хайбулина, Пономарева и Иванова для работ по усмотрению губкома.

Председатель ДОВГАРД
Секретарь СОКОЛОВА».

Дети-ораторы — в помощь губкому партии. Сегодня это может вызвать улыбку. Но так было!

15 июня 1919 года состоялся большой митинг Детского Пролеткульта в Нижне-Кремлевском саду. Тема — «Дети пролетариата как завершители коммунистической революции». В отчете об этом митинге в

«Коммунаре» читаем: «Особенно яркую и сильную речь произнес маленький товарищ Хайбулин:

«Если придет к нам Колчак и контрреволюция, кто будет защищать нас, детей? Никто, кроме коммунистов, потому что программа РКП есть программа борьбы за светлое будущее».

И мы, дети, должны учиться жить и бороться по пролетарской программе, по программе коммунистов.

Да здравствует РКП!

Да здравствует наша вторая мать — Октябрьская революция!

Да здравствует ее родная сестра — мировая революция!

Да здравствует ее родной брат — Третий Коммунистический Интернационал!»

Так под бурные аплодисменты полутора тысяч слушателей, энергично жестикулируя, закончил свою речь 15-летний Сергей Хайбулин, о котором журнал «Пролетарское строительство» писал позднее, что он лучший оратор Детпролеткульта.

8 октября 1919 года губернская газета сообщила о большом митинге в театре «Олимпия». На митинге выступили народный комиссар просвещения А. В. Луначарский, председатель губкома партии Г. Н. Каминский и... представитель Детпролеткульта товарищ Лебедев. Этому представителю было 15 лет, и голова его едва виднелась из-за трибуны.

«Живо, сознательно, обдуманно излагает этот «маленький человек» высокие, по-своему смыслу, мысли, призывая своих старших братьев — взрослых к защите детей, поколения будущего», — читаем в газете о митинге в «Олимпии».

13 октября 1919 года Деникин занял Орел, а через день — г. Новосиль, Тульской губернии. В решении Политбюро ЦК РКП(б), принятом 15 октября 1919 года, говорилось: «...Тулы, Москвы и подступов к ним не сдавать...» Через пять дней после этого Владимир Ильич писал Тульскому ревкому: «Значение Тулы сейчас исключительно важно, — да и вообще, даже независимо от близости неприятеля, значение Тулы для Республики огромно». В это напряженное время Тульский губком партии решил направить в передовую полосу бригаду лучших ораторов, певцов и чтецов-декламаторов Детпролеткульта.

За десять дней — с 20 по 29 октября 1919 года — двенадцать митингов-концертов! У агитпоезда «Октябрьская революция», у бронепоезда «Смерть Директории!», в селе Монаенки, дважды в Миценске...

За первые девять месяцев своей работы Детпролеткульт провел более всьмидесяти митингов, темы разные, но все на злобу дня: «Наступление Деникина и что должен делать Детский Пролеткульт»; «Долой проклятое дезертирство!»; «Долой хулиганство среди детей пролетариев!»; «Работа детей пролетариев в тылу»... Ораторы — Лебедев, Хайбулин, Иванов, Владимиров, Томкин, Довгард, Жабров, Пономарев, Пирогов... Они выступали перед своими сверстниками, перед оружейниками, крестьянами и шахтерами, перед бойцами, отправлявшимися на фронт, и дезертирами, сбежавшими с фронта. Так было...

ЧТО ТАКОЕ ДЕКОМПАРТ!

Детпролеткульт», «Декомпарти». Эти слова тульские ребята произносили в девятнадцатом — двадцать первом годах так же просто и естественно, как наши пионеры произносят сегодня слова «отряд» и «дружина». Декомпарти — это Детская коммунистическая партия.

Детская компартия! Ни до того, ни после нигде в мире такой организации не было.

Почему же внутри Детпролеткульта выделялась группа, которую ребята называли Детской компартией? Только ли из желания подражать взрослым? Нет, был у них весьма существенный повод, и чтобы понять его, надо вспомнить политическую обстановку в Туле весной 1919 года. Между большевиками и меньшевистско-эсеровскими элементами шла ожесточенная борьба. Засевшие в профсоюзе металлистов меньшевики клеветали на Советскую власть и, вводя в заблуждение рабочих-оружейников, провоцировали забастовки. «В результате забастовочных провокаций меньшевиков и эсеров в марте—апреле 1919 г.,— читаем в «Очерках истории Тульской организации КПСС»,— Красная Армия недополучила 20 тысяч винтовок, 1000 пулеметов и несколько миллионов патронов». Левозеровские молодчики сочиняли пасквили на представителей пролетариата, рассылали письма-угрозы, пытались запугать тех, кто идет с большевиками. Были попытки диверсий — взрыва моста через реку Упу, поджога арсенала, порчи котлов на электростанции...

Знали обо всем этом ребята в Детпролеткульте? Конечно, знали. И тогда наиболее развитые и стойкие из них решили недвусмысленно заявить, на чьей они стороне. Их было тридцать, они выбрали руководящую четверку и 6 апреля 1919 года объявили о создании «Тульской Детской коммунистической партии (большевиков)». Надо было обладать немалым мужеством, чтобы пойти на такой шаг наперекор прикраскам контрреволюционного охвостья.

В губкоме РКП(б) к этому отнеслись серьезно, не расценили как детскую игру. И, как сообщалось в те дни в одной журнальной статье, Детская компартия была губкомом РКП(б) «легализована». Избрали президиум Декомпарта, бюро агитации и пропаганды, товарищеский суд.

Никакой особой программы Деткомпартия не имела. Устав Детпролеткульта был и ее уставом, с той лишь разницей, что в Детпролеткульт принимались дети от 10 до 15 лет, а в Деткомпартию — члены Детского Пролеткульта от 12 до 15 лет.

Большим событием в жизни ребят стало открытие в июле 1919 года детской партийной школы (что тоже было невиданным делом). По сообщению журнала «Пролетарское строительство», пятилетний срок обучения в этой школе предусматривал «политическое, эстетическое и физическое воспитание, а также научное и профессиональное образование». Лекторы — видные тульские коммунисты. Но школа действовала недолго. Обстановка на фронте обострилась, большая часть лекторов ушла в армию. Да и самим ребятам, когда Деникин подходил к Туле, стало не до учебы.

Когда гражданская война закончилась и обстановка изменилась, обособленное существование Детской компартии внутри Детпролеткульта стало нецелесообразным. И в конце декабря 1920 года 2-я губернская конференция Детпролеткультов приняла решение об «аннулировании» Детской коммунистической партии.

Тульская Детская компартия просуществовала менее двух лет, но оставила неизгладимый след в сердцах ребят. О том, что активисты Детпролеткульта, в частности Сергей Хайбулин, Михаил Лебедев, Григорий Владимиров, Константин Волков, имели все основания в 1919 году называть себя коммунистами, свидетельствует тот факт, что уже в 1920—1921 годах они были приняты в РКП(б).

Ко времени 3-й губернской конференции Детпролеткультов, в апреле 1921 года, в них насчитывалось уже более трех тысяч ребят. Утвержденный конференцией устав Детпролеткульта начинался так:

«Самодетельная организация пролетарских детей, выражающая их творчество и самосознание, оставляет за собой первоначальное стихийное название Детского Пролеткульта.

Детский Пролеткульт как в целях проведения самодеятельности, так и политического воспитания солидарен с организацией РКСМ».

В члены Детпролеткульта, согласно уставу, прежде всего принимались дети рабочих, крестьян, интеллигенции «и только в исключительных случаях дети вымирающей буржуазии».

Любопытен и моральный кодекс организации. Например:

«Немедленно бросить курение табаку,— говорится в одном из приказов по Детпролеткульту.— Виновные в неисполнении этого пункта в первый раз подвергаются строгому выговору». При повторном нарушении взыскание усиливается, а курильщики, застигнутые в третий раз, «подвергаются исключению из членов Детпролеткульта и местному ostrакизму, т. е. изгнанию из дружины коллектива с переводом на положение существующего из милости».

Тульский Детпролеткульт — централизованная детская организация. Во главе ее стоял выборный губернский комитет. Были свои типографские бланки, штампы и печать (по окружности печати написано «РСФСР. Тульский Детский Пролеткульт», а в центре на фоне серпа и молота изображены палитра с кистями, треугольник и циркуль). «Мы идем на смену борцам коммунизма» было написано на знамени Детпролеткульта.

Всю переписку, а также бухгалтерские и канцелярские книги вели сами ребята.

Большую помощь в 1920—1921 годах стали оказывать Детпролеткультам (а в ряде пунктов и создали их) уже окрепшие к тому времени комсомольские комитеты. «Тульские организации РКП(б) и РКСМ заслуживают почетное место в истории Детпролеткульта»,— писала газета «Детский Пролеткульт» в сентябре 1921 года.

Летом 1921 года председатель Тульского губернского комитета Детпролеткультов Гриша Владимиров приехал в Москву, чтобы посоветоваться, как работать в новых условиях. Он побывал у Н. К. Крупской, А. В. Луначарского, беседовал с работниками ЦК комсомола. Мнение старших товарищей было единодушным: не надо обособляться от комсомола и от органов народного образования; жизнь диктует новые формы организации детей.

Осенью 1921 года Детпролеткульты были преобразованы в школы-коммуны. А вскоре появились первые пионерские отряды. Большинство ребят стало активистами комсомола.

«ВСЕ СОТРУДНИКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЕТИ»

Все было необычным у тульских ребят, необычной была и газета «Детский Пролеткульт». Первый номер ее вышел 7 ноября 1919 года. Над заголовком газеты сверху слева написано: «Все сотрудники исключительно дети», справа — «Дети пролетариев всех стран, соединяйтесь!». А под названием газеты — жирным шрифтом: «Орган Тульской Детской Коммунистической Партии (большевиков)».

С 7 ноября 1919 года по 1 сентября 1921 года вышло десять номеров «Детского Пролеткульта». Тираж газеты колебался от тысячи до двух тысяч экземпляров. Была она платной и распространялась по подпи-

ске. Выходила сначала на четырех страницах такого формата, как нынешняя «Пионерская правда», а затем — на двух страницах удлинённого формата. Обязанности ответственного редактора ребята, очевидно, выполняли по очереди: в разное время ими были С. Хайбулин, А. Меерович, Г. Владимиров, Е. Черницкая, В. Иванов.

Эта маленькая боевая газета стала настоящим коллективным агитатором и организатором детей. С первого же номера редакция, назначенная президиумом Декомпарта, дала понять читателям, что «эта детская газета не будет заниматься шутками, пустяками и пр. Она будет спавать и организовывать тесные, дружные, стальные детские батальоны, которые в пужный момент могут смело и сознательно идти туда, куда потребует Великая Октябрьская революция».

Так писали в статье «От редакции» Сережа Хайбулин и Миша Лебедев. Заканчивая статью, они призывали: «Долой шалопайничество, игру в орлянку, хулиганство т. д. Не время разгильдяйничать, а время взяться за строительство новой, светлой, коммунистической жизни».

О том, что газета — дело нешуточное, напоминала читателям и Лена Черницкая, подписавшая как врио отв. редактора один из номеров «Детского Пролеткульта». Она отвечала ребятам, которые считали, что «организационные» статьи очень сухи и потому помещать их не следует. Нет, писала Лена, без них не обойтись. Они нужны, ибо «касаются нашей жизни». К тому же они немногочисленны. «...Нечего удивляться, что мы подчас бываем недетски серьезны и сухи, надо не забывать: мы не играем».

В другой раз редакция признавалась, что на первых порах газета действительно была суховатой. «Теперь она переходит на более живую ногу, и наша очередная цель — захватить в нее как можно больше соучастников».

А чтобы видно было, что газета действительно делается руками ребят, рядом с фамилиями авторов статей, заметок, стихотворений указывался их возраст: «Е. Черницкая, 14 лет; С. Хайбулин, 15 лет; А. Соколова, 13 лет; Измаил Голубев, 10 лет; Сазонов, 12 лет; Меерович, 12 лет; К. Волков, 15 лет; Довгард, 14 лет; А. Крылов, 12 лет, и т. д.»

В газете публиковались статьи об очередных задачах Детпролеткульта, информация о работе местных организаций, стихи и даже мемуары. («Это дело было два года тому назад... В то время мне было 9 лет...» — так начинаются воспоминания Алеши Александрова о Февральской революции.)

Ребята узнавали из своей газеты, как они должны участвовать в «Неделе фронта», чем могут помочь голодающим Поволжья («Ставьте спектакли, устраивайте трудовые артели и т. д. Делайте все, что можете, только не сидите сложа руки...») и о многом другом.

А вот серьезная статья об участвовавших случаях спекуляции у подростков, воровства и хулиганства («рост любви к выпуску нецензурных слов»). С тревогой заключает автор, что «будущее постепенно катится по отрицательному уклону», и призывает напрячь все усилия, чтобы «остановить быстроту разложения».

Конечно, не все было гладко в этой газете, бывали и различного рода ошибки, писали ребята иногда то чересчур возвышенно, то, наоборот, приземленно и наивно. Но всегда непосредственно, искренне... И главное, сами!

Рецензируя первый номер этой газеты, журнал «Пролетарское строительство» привел, в частности, такое свидетельство:

«А. В. Луначарский, посетивший недавно Детский Пролеткульт во время пребывания своего в Туле, был

поражен успехами детей, организованных в самоуправляющуюся коммуну, и, ознакомившись с подготавливавшейся в это время к печати газетой, пожелал (в альбоме Пролеткульта) отпечатать и распространить ее в миллионах экземпляров».

КТО ОНИ!

Кто же они, эти мальчишки и девчонки из Тульского Детпролеткульта?

«Потомственный пролетарий», — говорил о себе в те годы Миша Лебедев. Отец его работал на самоварной фабрике, сам Миша в 13 лет был разносчиком газеты Тульского Совета, затем — связным в ревкоме. Политграмотой овладевал на митингах, а вскоре и сам произнес свою первую речь. Председатель губкома партии Григорий Каминский приметил толкового, шустрого мальчика, пригласил его к себе на беседу и поручил возглавить в Детпролеткульте агитколлектив.

Сережа Хайбулин — сын электромонтера патронного завода. Начал свою трудовую жизнь также в 13 лет. Был курьером и гордился, что ему доверяют важные документы. На первых порах этот «солидный» курьер иногда мчался «на экспрессе» с пакетом за пазухой, причем «экспрессом» был обруч от бочки, а «двигателем» — загнутая проволока в руках. Что ж, мальчишка ест мальчишка. Но взросл он, как и его сверстники, не по дням, а по часам. И в 15 лет уже был председателем Губдекомпарта.

Алеша Нарышкин. Родители работали на патронном заводе, туда же поступил и Алеша учеником слесаря, когда ему исполнилось 14 лет.

Из трудовых семей вышли и Костя Волков, и Ваня Телков, и Гриша Владимиров, и Паша Смирнов, и Лена Черницкая, и многие другие ребята.

Краткие, но очень емкие характеристики дал своим друзьям по Детпролеткульту Григорий Филиппович Владимиров. Спустя сорок лет после тех памятных дней он назвал некоторых в письме к следопытам Тульского Дворца пионеров:

«Миша Лебедев — маленький, подвижной, энергичный, весь пылающий... преданностью рабочему классу».

«Сергей Хайбулин — татарин по национальности, умица, поэт, с характером стали. Среднего роста, подвижной, смелый. За Советскую власть — в огонь и в воду».

«Милый и прекрасный, всегда готовый на жертву ради нашей идеи, прекрасный оратор Ваня Томкин, которому удавалось уговаривать... дезертиров, и впоследствии они были достойными бойцами за Советскую власть».

«Катя Дагаева и Лена Черницкая — девушки, которые идею коммунизма ставили выше своей жизни».

«Нарышкин — волевой парень, организатор Детпролеткульта в Чулковском районе».

«Коля Шумский — человек с львиным сердцем, но с детской прозрачной душой, умица, сын машиниста из г. Ефремова».

«Вася Кузин... — высокий, стройный, красавчик с белокурыми волосами и голубыми глазами... Человек, который никогда не мог лгать, человек пролетарской выковки и правды».

Сам же Гриша Владимиров был в 1920—1921 годах председателем Губернского комитета Детпролеткульта. В Туле квартиры у него не было, и почти два года Гриша жил в запущенной гостинице, где от морозов полопались батареи. Многие месяцы ходил в застегнутой на все пуговицы гимназической куртке,

Этот снимок опубликован во многих газетах и журналах. Но в подписи под ним ошибочно указывалось, что на митинге выступает секретарь Тульского горкома комсомола Федоров. На самом деле этот юный оратор — председатель губкома Тульской Детской Коммунистической Партии Сергей Хайбулин.

1919 г.



Группа активистов Тульского Детского Пролеткульта (слева направо): сидят — Алеша Нарышкин, Сережа Никифоров, Гриша Владимиров, Миша Лебедев, стоят — Костя Красов, Толя Ерохин, Сережа Волков.

1920 г.



надетой прямо на голое тело: не было рубашки. Неутомимый организатор и весельчак, знавший какие-то особые секреты подхода к самым «трудным» подросткам, он стал душой Детпролеткульта. К сожалению, Григорий Владимиров не дожид до наших дней, как не дожили и Сергей Хайбулин, и Елена Черницкая, и Павел Смирнов...

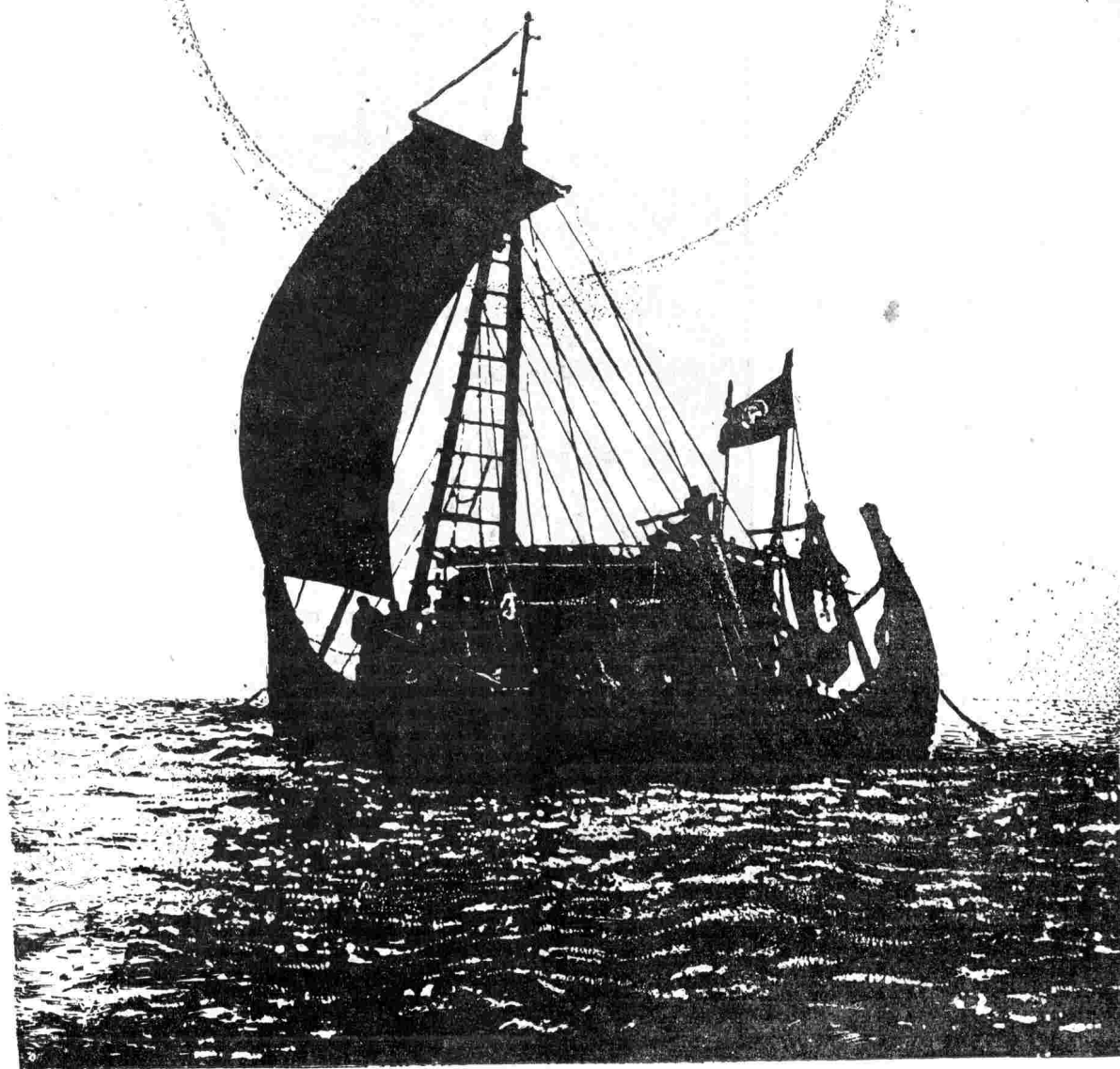
Но многие активисты Тульского Детпролеткульта здравствуют и поныне. В Туле живут бывший агитпроп Декомпарта М. Ф. Лебедев и бывший председатель Чулковского Детпролеткульта А. Г. Нарышкин. Михаил Федорович много лет работал на транспорте, а Алексей Григорьевич — в партийных органах, одно время — секретарем обкома партии. Там же, в Туле, живут Екатерина Михайловна Дагаева и Николай Васильевич Шумский — частые гости пионеров. И. К. Телков, который в 1919 году был председателем Богородицкого уездного комитета Декомпарта, и бывший активист Тульского Детпролеткульта С. П. Волков живут в Москве. Иван Константинович до недав-

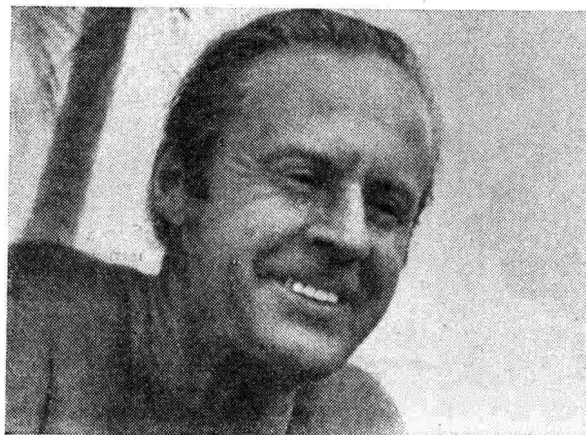
него времени был начальником управления кадров Министерства газовой промышленности, а Сергей Петрович — начальником отдела международных сообщений Министерства путей сообщения. Бывший председатель Федяшевского Детпролеткульта Владимир Иванович Дмитриевский живет в Ленинграде. Он писатель, автор книг «Бей, барабан!», «Давай встретимся в Глазго» и других. В Душанбе живет кинооператор Василий Васильевич Кузин, а в Нальчике — полковник в отставке Константин Петрович Волков — бывшие члены губкома Детпролеткульта.

О многих, однако, ничего не известно. И хочется верить, что, прочитав этот очерк, бывшие члены Детпролеткульта в Туле и в уездах Тульской губернии, другие участники и очевидцы событий тех лет помогут более полно восстановить историю этой замечательной детской коммунистической организации.

ЭКСПЕДИЦИЯ

РА





ТУР
ХЕЙЕРДАЛ

Глава I

ОДИН РЕБУС, ДВА ОТВЕТА И НИКАКОГО РЕШЕНИЯ

Имя норвежского ученого, путешественника и писателя Тура Хейердала хорошо известно в нашей стране. Широкий советский читатель впервые узнал о его оригинальных теориях и замечательном плавании на бальсовом плоту через Тихий океан в 1955 году, когда «Юность» опубликовала его книгу «Путешествие на «Кон-Тики», а затем и «Аку-Аку» — об исследованиях ученого на острове Пасхи.

В этом номере мы начинаем публикацию новых записок Тура Хейердала «Экспедиция «Ра» — о смелых плаваниях 1969 и 1970 годов, осуществленных дружным интернациональным экипажем на папирусных ладьях через Атлантику. Как и предыдущие, эти экспедиции Тура Хейердала и его товарищей не просто увлекательные и опасные путешествия, но и подлинно научные эксперименты.

В переводе Л. Жданова мы печатаем журнальный вариант книги Хейердала. Полностью она выходит в издательстве «Мысль».

Ветер качает камышинку. Мы обламываем ее. Она лежит на воде и не тонет. Посади лягушку — выдержит. Ветер колышет двести тысяч камышинок. Вдоль берега простерся сплошной луг, волнуется зеленое поле камыща.

Мы срезаем его. Вяжем большие снопы. Кладем на воду. И становимся на них. Русский, негр, мексиканец, египтянин, американец, итальянец и я — норвежец. С нами обезьянка и тьма кудахтающих кур. Мы пойдем в Америку. Пока что мы в Египте. Ветер несет песок, кругом сушь, кругом Сахара.

Абдулла заверяет меня, что камыш будет держаться на воде. Я объясняю ему, что до Америки далеко. Он не знает, в какой стороне Америка. Но мы до нее доберемся, если ветер дует туда. Камыш нас не подведет, только бы веревки выдержали, говорит он. Только бы веревки выдержали. Выдержат или нет?

Кто-то потряс меня за плечо, я проснулся. Абдулла.

— Три часа, — докладывает он. — Мы начинаем работать опять.

Палатка горячая от солнца. Я сел и, прищурив глаза, выглянул наружу. Там властвовал сухой зной и слепящее солнце Сахары. Солнце, солнце, солнце. Накаленная солнцем плоскость смыкалась со сводом несравненной синевы, косые лучи озаряли сухое, безоблачное небо над миром золотисто-серого песка. На фоне неба акульими зубами торчали три большие и две малые пирамиды. Незыблемые, неизменные, стоят они так с той далекой поры, когда человек был одно с природой и созидал природу.

А в пологой ложбине, на песке перед пирамидами желтело нечто вырванное из тока времени, созданное вчера, созданное пять тысяч лет назад: корабль в песках, этаким Ноев ковчег, севший на мель в сахарской пустыне, далеко от водорослей и волн. Рядом стояли два верблюда. Они что-то жевали. Что? Может быть, обрезки нашей ладьи, «бумажной» ладьи. Ведь ее сделали из папируса. Золоти-



стю осоку связали в снопы, из этих снопов собрали лодку — вот она, с высоким носом и кормой, словно лунный серп на фоне неба.

Абдулла уже спускался в ложину. Два чернущих негра-будума в просторных белых тогах карабкались на ладью, ярко одетые египтяне волокли снопы папируса. Работать так работать!

— Бут! Бут! — кричал Абдулла. — Еще папируса!

Я вышел на горячий песок, пошатываясь, будто очнулся после тысячелетнего сна. Все эти люди работали для меня, это мне взбрело в голову возродить искусство строительства лодок, которое фараон Хеопс и его потомки уже начали забывать, когда возводили могучие пирамиды — те самые, что теперь, будто горная гряда, отгораживали возникшую из тьмы веков строительную площадку от бурлящих водоворотов двадцатого века на улицах Каира, раскинувшегося в зеленой нильской долине.

Нас окружал сплошной песок. Жаркий песок, пирамиды, снова песок и стога просушенной солнцем осоки — хрупкого, горючего папируса; рабочие тащили его к смоляно-черным неграм, и те, сидя на желтом полумесяце, затягивали веревочные петли руками, зубами и ногами. Они строили лодку, папирусную лодку. Ка да й называли ее на своем языке, языке племени будума, эти ребята, эти мастера. Ловкие пальцы и крепкие зубы вязали узлы так, что сразу было видно людей, знающих свое дело.

Стебель папируса — сочный и мягкий, ребенок может его согнуть и сломать. Высушенный, он обламывается, как спичка, и горит, как бумага.

На песке у моих ног лежал безжалостно скрученный, весь изломанный сухой стебель. Его швырнул здесь старый араб, сперва возмущенно смял, потом бросил, плюнул и презрительно показал на него пальцем. Дескать, что это за материал, он не держит гвоздя, как к нему мачты крепить! Искушенный лодочный мастер, араб этот приехал на автобусе из Порт-Саида, чтобы принять заказ на мачту и снасти для нашей лодки. И до того осерчал, что следующим же автобусом укатил обратно к морю. Что за насмешки над честным тружеником! Или нынешние совсем уже не знают, что нужно для настоящей лодки? Напрасно ему объясняли, что именно такие лодки в большом количестве изображены в склепах древних строителей пирамид, похороненных в здешней пустыне. Мало ли что: там и не такое намалевано, есть и люди с птичьей головой и крылатые змеи! А папирус, сами убедитесь, — это же осока, мягкие стебли — ни гвоздь вколотить, ни шуруп завинтить. Стог сена. Бумажная ладья.

И уехал. Но ведь лодке нужна мачта... Наши чернокожие друзья с озера Чад в сердце Африки клялись, что этот мастер — олух, он, наверно, никогда не видел настоящей ка да й, их вяжут из этой самой осоки. Правда, мачт на ка да й не ставят, да и к чему нам мачта, когда все люди веслами гребут. Озеро Чад огромное, неужели океан больше! И друзья невозмутимо продолжали связывать вместе снопы папируса. Тут они могли хоть кого поучить.

Я вернулся в палатку и достал из портфеля зарисовки и фотографии древних египетских фресок и моделей. Вот папирусные лодки — ни гвоздей, ни костылей. Под мачту поверх осоки укреплены веревками широкая, прочная деревянная пята, нижняя часть мачты вставлена в нее и крепко с ней связана... Я отложил зарисовки и лег на сваленные около палатки веревки. Здесь не так жарко, можно пораздумать... Итак, что я, собственно, затеял и какие у меня основания считать, будто на такой лодке можно было выйти из дельты Нила в море? По чести говоря, моя догадка опирается скорее на интуицию, чем на конкретные факты.

Когда я задумал построить из бальсовых бревен плот «Кон-Тики», у меня были совсем другие отправные точки. Я в жизни не видел бальсы и никогда не ходил на парусной лодке, не говоря уже о плоте, но у меня была гипотеза, были веские данные и логический вывод. Теперь нет ни того, ни другого, ни третьего. Многие считают, что задолго до Колумба древние египтяне достигали тропической Америки. Я такой гипотезы не выдвигаю, у меня нет свидетельств ни за, ни против. Я увлечен проблемой, но не вижу убедительного ответа. В этой мозаике науки недостает еще слишком многих кусочков. Огромный пробел в хронологии, необъяснимые противоречия, да и путь через океан неизмеримо больше пути через Нил...

Для передвижения по воде у древних египтян первоначально были только лодки из папируса. Потом у них появились длинные парусные суда; выходить на этих судах в море в большую волну было опасно, зато они идеально подходили для всяких перевозок и путешествий по тихому Нилу. В нескольких стах метрах от моей палатки, у самой пирамиды Хеопса, мой египетский друг Ахмед Юсеф, улыбающийся бородач, как раз занимался сборкой одного из великолепных деревянных кораблей фараона.

Совсем недавно археологи установили, что вокруг пирамиды с каждой стороны были закопаны корабли — итого четыре. Они сохранялись в герметичных камерах глубоко под землей, прикрытые сверху большими каменными плитами. Пока что вскрыта только одна камера, в ней обнаружены сотни толстых кедровых досок, и древесина такая же крепкая, какой была при захоронении свыше 4 600 лет назад, за 2 700 лет до нашей эры. Главный хранитель египетских древностей самолично продевал в тысячи дырочек новые веревки взамен сгнивших. Заново сшитый корабль получился больше сорока трех метров в длину, с удивительно изящными обводами, вполне способный размерами и красотой поспорить с ладьями викингов, которые начали бороздить Северное море, Атлантический океан и Средиземное море несколькими тысячелетиями позже. Только в одном эти два типа судов существенно отличались друг от друга: ладьи викингов были рассчитаны на нелегкий поединок с океанской волной, а корабль Хеопса предназначался для парадных выездов на тихом Ниле.

Корпус сделан так, что он был бы разрушен при первой же встрече с высокими морскими волнами. Это очень странно. Ведь строгие, совершенные обводы корабля Хеопса не вяжутся с представлением о речном судне, мастерски набранный корпус с высоким носом и кормой, казалось бы, во всем обличает морской корабль, нарочно сделанный так, чтобы пересекать через прибой и крутую волну. Конечно, это не случайно, тут есть над чем призадуматься. Фараон, живший на берегу Нила почти пять тысяч лет назад, построил ладью, которая выдерживала только легкую речную рябь, хотя обводам ее могли бы позавидовать лучшие мореходные нации мира.

В чем же дело? Одно из двух. Либо плавные обводы морского корабля были творением египетских мореплавателей той самой поры, когда другие гениальные египтяне уже создали письменность, астрономию, строили пирамиды, делали операции на черепе, изготавливали мумии. Либо кораблестроители фараона учились в других странах. Похоже, что последнее вернее. В Египте нет кедра, материал для корабля Хеопса был привезен из лесов Ливана. А в Ливане жили финикийцы — опытные кораблестроители, избородившие все Средиземное море на своих судах. Их главный порт Библос, один из древнейших городов мира, ввозил из Египта папирус, ведь здесь

Тур Хейердал рассматривает в Каирском музее древнейшие модели папирусных лодок из египетских погребений.



был центр изготовления книг, отсюда само название Библос, или Бибел, то есть книга. Во времена, когда строилась пирамида Хеопса, между Египтом и Библосом велась оживленная торговля; так, может быть, у финикийцев корабельщики фараона позаимствовали конструкцию своих судов? Может быть.

Все дело в том, что нам очень мало известно о внешнем облике финикийских кораблей. Можно лишь почти наверное утверждать, что они вряд ли были папириформными, то есть сделанными по образцу папирусной ладьи. Ведь папирус не рос в Ливане, его ввозили из Египта. А ладья фараона Хеопса была папириформной. Все крупные деревянные суда поры фараонов были папириформными, их очертания напоминали папирусную ладью.

Тут мы подошли к самому главному. Образцом для корабля Хеопса послужила папирусная лодка. Именно ей были присущи характерные черты морского судна. Нос и корму делали высокими, изогнутыми вверх, выше, чем на ладьях викингов, чтобы судно переваливало через морскую волну и прибой, а не для того, чтобы оно приминало мелкую рябь на реке. Папирусная лодка передала свою форму деревянному кораблю, а не наоборот. И конструкция папирусной лодки уже полностью сложилась к тому времени, когда по велению первых фараонов на стенах гробниц изображали их мифических божественных предков. Причем легендарные зачинатели фараонова рода, бог Солнца и птичечеловеки, изображены не на финикийских деревянных кораблях, не на плотах и не на речных плоскодонках, а на серповидных папирусных ладьях, форму которых в точности повторили строители корабля Хеопса, вплоть до изгибающегося внутрь высокого ахтерштевня, увенчанного символом цветка папируса.

Чтобы построить ладью так, как строили египтяне, когда средиземноморская культура на берегах Нила делала свои первые шаги, нужен не топор и знание плотницкого ремесла, а нож для резки папируса и веревка. Ножом и веревками были оснащены африканцы Мусса, Умар и Абдулла.

Зачем? Что я хотел доказать? Да ничего, равным счетом ничего. Я хотел только выяснить — выяснить, можно ли на такой лодке выходить в море. Правы ли специалисты, считающие, что финикийцы сами хо-

дили за папирусом в Египет, потому что египтяне с их папирусными лодками не могли плавать за пределами дельты Нила? Или, может быть, древнейшие египтяне сами были мореплавателями, прежде чем осели на месте и стали ваятелями, фараонами, мумиями? Я хотел выяснить, способна ли папирусная лодка пройти по морю четыреста километров — путь от Египта до Ливана. Выяснить, не может ли лодка из осоки пройти еще дальше, от одного материка до другого. Выяснить, не может ли она дойти до Америки...

Зачем? Да затем, что никто не знает, кто же первым достиг Америки. В учебниках написано, что это был Колумб. Но Колумб не открыл Америку.

Когда же Америка была открыта? Это никому не известно. Первый человек, ступивший на американскую землю, не был знаком с понятием летосчисления. У него не было календаря. Не было письма. При своих ограниченных географических представлениях он и не подозревал, что достиг нового материка, где еще не бывало людей.

Первый представитель Homo sapiens, пришедший в Америку, был кочующий охотник и рыбак. Подобно своим отцам и дедам, он бродил вдоль суровых берегов арктической Сибири и в один прекрасный день очутился на восточном берегу полностью или частично скованного льдом Берингова пролива. Мы не знаем сегодня, пересек ли он Берингов пролив пешком по льду или на утлой лодчонке. Знаем только, что первый человек, умерший на американской земле, родился в арктической Азии. И еще нам известно, что открыватель Америки не знал ни металла, ни ткачества, что он прикрывал свое тело звериными шкурами или обработанной колотушками корой, что его оружие и орудия труда были сделаны из кости и камня — ведь это был человек каменного века.

Узкий пролив между арктической Азией и Аляской продолжал оставаться доступным для кочующих племен, и многие находки говорят о том, что первобытные общины и потом переходили из Сибири в Америку и обратно. А цепочка Алеутских островов и Японское течение к югу от нее служили мостом для тех, у кого были лодки. От Аляски на севере до Огненной Земли на юге новые поколения поселя-

лись в иглу и вигвамах, в хижинах и пещерах — ведь в Новом Свете есть все разновидности климата и географической среды. Родственные браки при изоляции, новые переселения и смешанные браки — все это, вместе взятое, способствовало возникновению множества различных индейских племен Америки, резко отличающихся между собой, и не только лицом и телосложением: они говорили на языках, которые даже не назовешь родственными, и вели совершенно разный образ жизни.

И вот тут-то наконец появился Колумб. Двенадцатого октября 1492 года он сошел на берег Сан-Сальвадора со своим знаменем и крестом, а за ним явились Кортес, Писарро и прочие испанские конкистадоры. Никто никогда не отнимет у Колумба его заслуги; это он распахнул ворота Америки для всех нас, кому не пришлось идти в нее по льду. Но мы, европейцы, как-то уж очень легко забываем, что на берегу его встречали тысячи людей. Что на континенте за островами, на которых он высадился, гостей ждали высокоразвитые государства. Тамешние ученые поведали испанцам, что сюда и раньше приходили из-за океана белые бородатые люди, что эти пришельцы посвящали их во все секреты цивилизации, что испанцев давно ожидают, ведь представители заморской культуры обещали их предкам вернуться.

И правда, в этой части Америки жили отнюдь не те первобытные охотники и рыболовы, которые первоначально пришли в Новый Свет из сибирской тундры. Напротив, в тропической полосе с ее далеко не бодрящим климатом, куда доставили испанцев пассатные ветры и могучее океанское течение, их встретили высокообразованные люди. Они сами делали книги из бумаги, изучали астрономию, историю, врачебное искусство. Они читали и писали, пользуясь собственным письмом. У них были настоящие школы и научные обсерватории. В астрономии и географии они достигли замечательных успехов: точно рассчитали движение небесных тел, вычислили положение экватора, эклиптики, северного и южного тропиков, различали звезды и планеты. Сложный календарь этих людей был точнее того, который знали в Европе во времена Колумба: их летоисчисление — год 0 мая — начиналось, в пересчете на наш календарь, 3113 годом до нашей эры. Где позволял климат, врачи весьма умело бальзамировали знатных покойников; и, подобно древним египтянам, они делали трепанацию черепа — искусство, которым врачи Европы еще не владели и сто и двести лет после того, как Колумб пересек океан.

Просвещенные и непросвещенные граждане жили в выстроенных по плану городах с ровными улицами, водостоком, канализацией, рыночными площадями, спортивными площадками, школами и дворцами. Тут нельзя было увидеть палаток и шалашей, горожане изготавливали кирпич из глины с соломой, такой же, как в странах Средиземноморья, и строили настоящие дома в два и больше этажей. В домах побогаче были залы с колоннами, а стены украшались барельефами и замечательными фресками; у художников были яркие и прочные краски. Широко применялись ткацкие станки; испанцы увидели gobelены и плащи, которые композицией узоров и тонкостью изготовления превосходили все, что они знали на своей родине. Искусные гончары лепили вазы и блюда, кувшины и кубки, людей, животных, разные бытовые сценки, и мастерство их ничуть не уступало лучшим произведениям классических культур Старого Света. А золотые и серебряные изделия здешних ювелиров технически и эстетически стояли так высоко, что испанские «открыватели», потеряв

от радости голову и совесть вместе с ней, схватились за меч...

Над крышами домов из сырцового кирпича высились огромные ступенчатые пирамиды, храмы, могучие изваяния священных королей; мощные дороги, хитроумные акведуки и мосты изменили лицо края. Нескончаемые земледельческие террасы с искусственным орошением изобиловали корнеплодами, местными злаками, овощами, фруктами, лекарственными и другими культурными растениями. Даже хлопчатник был окультурен селекционерами и возделывался на больших площадях. Местные жители пряли шерсть и хлопок, красили пряжу и делали ткани, нередко превосходившие качеством лучшие ткани Европы.

Так кто же кого открыл? Те, кто стояли на суше и смотрели на приближающиеся суда, или те, кто, стоя на палубе, разглядывали людей на берегу? Священный правитель слышал от своих дедов, что он происходит от Солнца через белых бородатых людей, которые явились на паланкинах с зонтом и опахалом. Музыканты правителя играли на флейтах и трубах, били в барабаны, звенели серебряными колокольчиками. Его сопровождала личная охрана и многотысячная регулярная армия; разведчики обнаружили горсточку испанцев, которые сошли с кораблей на сушу и двинулись внутрь страны, к столице.

С могущественным царством ацтеков в Мексике произошло то же, что с огромной империей инков в Южной Америке. Горстка бородатых, белокожих испанцев захватила обширные государства, что называется, почти без выстрелов. И все потому, что ученые и жрецы в этих странах сохранили иероглифические записи и религиозные предания: будто бы белые бородатые люди принесли их предкам блага культуры, а потом ушли дальше, в чужие края, но обещали вернуться назад.

Сами индейцы были безбороды, как и все люди с желтовато-коричневой кожей, проникшие на материк с севера. А испанцы, которых они «открыли» у себя на берегу, были белокожи и бородаты, и могущественнейшие самодержцы того времени от души приветствовали их «возвращение» в Мексику и Перу.

Но недолго длилось знакомство остального мира с великими цивилизациями Нового Света — от империй ацтеков и майя на севере до царства инков на юге. Занавес, поднятый Христофором Колумбом, был очень быстро опущен теми, кто последовал за ним. Всего несколько десятилетий — и полнокровные государства с замечательной культурой рухнули, кончили свое существование. Алчные до золота конкистадоры, преступно прячась за крест, сумели задержать занавес раньше, чем кто-либо успел как следует уразуметь, что они нашли на другом конце земного шара.

Так что же произошло в Мексике и Перу до того, как Колумб явился в Америку? Можно ли считать первобытного человека из арктической тундры единственным зачинателем всего того, что обнаружили испанцы? Или его потомки встречали на берегу неизвестных мореплавателей, которые пересекли в один конец Атлантику в незапамятные времена, задолго до того, как цивилизация из Африки и Малой Азии дошла до берегов варварской Европы?

Вот в чем вопрос. А ответ? Нет. Конечно, нет. Пожалуй, нет. Пожалуй... Жесткая веревка терла мне спину, и я сел. Пожалуй. Проклятый вопрос. Я лег поудобнее. И не видно решения, сколько ни ломай голову. Мысли вращались в замкнутом кругу.

Так зачем же строить папирусную лодку? Мысли полетели дальше. Через Америку в Тихий океан. Там я чувствовал себя более уверенно. Сколько лет от-

дано исследованиям и полевым работам в этой области! В Египет я впервые прибыл простым туристом четыре года назад и увидел в Долине царей настенные изображения папирусных лодок. Лодки показались мне знакомыми. Примерно такие же рисовали на своих кувшинах строители пирамид Северного Перу во времена расцвета их культуры, задолго до заселения Полинезии. У самых больших перуанских камышовых лодок на этих изображениях двойная палуба. На нижней палубе — множество кувшинов с водой и прочий груз, а также маленькие фигурки людей; на верхней палубе обычно стоит земной посланец бога Солнца, священный правитель. Его огромную фигуру окружают люди с птичьей головой, которые нередко тянут за веревки, ускоряя движение ладьи. На папирусных лодках, изображенных на стенах египетских гробниц, тоже показан сверхъестественного роста земной посланец бога Солнца, священный правитель — фараон, его тоже окружают маленькие фигурки, и мифические птичеловеки тянут за веревки.

Похоже, что есть какая-то необъяснимая связь между камышовыми лодками и людьми с птичьей головой. Ведь и в Тихом океане, на макушке самого высокого вулкана острова Пасхи, в древнем ритуальном селении с солнечной обсерваторией главный мотив рельефов и фресок — неразлучное трио: маска бога Солнца, камышовые лодки под парусами и птичеловеки.

Остров Пасхи, Перу, Египет. Можно ли представить себе более обособленные друг от друга районы? И можно ли сыскать лучшее доказательство того, что люди в совершенно разных местах независимо друг от друга изобретают одно и то же? Вот только странно, что исконные жители Пасхи называли солнце «Ра». И это не случайность, ведь на других островах Полинезии солнце тоже называлось «Ра». Ра — и в Египте так именовалось солнце. Трудно найти в религии древних египтян более важное слово: Ра — солнце, солнечный бог, прародитель фараонов. Это он плывал на камышовой лодке, окруженный птичеловеками.

И на острове Пасхи, и в Перу, и в Древнем Египте воздвигали в честь земных наместников бога Солнца монолитные изваяния ростом с дом. А также высекали каменные плиты величиной с железнодорожный вагон и сооружали ступенчатые пирамиды, согласуя их положение с движением солнца по небу. То же в честь Ра, которого во всех этих местах почитали как прародителя. Что это — случайность?

На всякого, кто учился в школе, производит магическое действие дата — 1492 год. Год, когда Колумб открыл Америку. И когда Земля стала круглой. Раньше ее мыслили плоской, и океан был плоским, поэтому все, влекомое ветрами и течениями, неизбежно должно было свалиться с края в бездну. После того как Колумб сделал нашу планету шаром, с нее уже ничто не сваливалось. Теперь все уплывающее в Атлантику прибывало к новым берегам.

Патент покорителя Атлантики выдан Колумбу. До него в Америку можно было попасть лишь пешком — босиком или в мокасинах — вдоль заснеженной кромки льда из пустынных дебрей Сибири через морозную Арктику. Здесь, на севере, нельзя было сажать хлопок и строить кирпичные дома, на этот счет никаких разногласий нет. Но как те же люди, достигнув сонных тропиков, надумали разводить хлопчатник, дающий волокно для пряжи и тканей? И как они в жарком климате надумали мешать глину с соломой и лепить кирпичи, чтобы строить настоящие дома? Здесь кончается согласие. Здесь начинается спор между теми, кто искал ответа на эти вопросы.

Одним из последних, кто запросто отправлял древ-

них в кругосветные плавания, был англичанин Перси Смит. В культурах Мексики и Перу он находил столько общих с культурой Древнего Египта специфических черт, что предполагал контакты через океан. А обнаружив те же удивительные совпадения на Пасхе и ближайших к Перу островах, он взял линейку и плоский атлас мира и соединил прямой Египет через Красное море, Индийский и Тихий океаны с Полинезией и Южной Америкой. Вот как солнцепоклонники пришли в Америку, написал он. Через остров Пасхи.

Другие ставили перед собой глобус и качали головой. На круглом глобусе видно, что Тихий океан захватывает половину окружности земли. Проплыв на восток 4 тысячи километров, египетские мореплаватели подошли бы к Индии. И от острова Пасхи их бы еще отделяла ровно половина земной окружности. А южноамериканские мореплаватели, отчалив от берегов империи инков и пройдя на запад 4 тысячи километров, уже достигли бы острова Пасхи. На плоту «Кон-Тики», построенном по инкскому образцу, мы прошли от Перу на запад 8 тысяч километров и на полпути пересекли долготу Пасхи. «Пуп Вселенной» назвали его полинезийцы, когда пришли сюда на долбленках и обнаружили, что остров уже заселен еще более древними мореплавателями. Теми самими, которые высекали на груди своих каменных истуканов большие камышовые лодки с мачтами и парусами. Теми самими, чьи серповидные лодки из камыша изображены на стенах древнейшего пасхальского культового селения, где скалы расписаны солнечными символами и фигурками птичеловеков, где наблюдали «Ра» и поклонялись солнцу, где все пасхальцы собирались на ритуал птичеловека, когда смельчаки выходили в море на маленьких камышовых лодках.

Впервые я увидел камышовые лодки задолго до того, как попал на Пасху. Я ходил на них на озере Титикака в Андах. Меня поразила их грузоподъемность, ведь на таких лодках некогда перевозили многотонные глыбы в древний город Тиауанако. Но тогда я воспринял эту своеобразную конструкцию скорее как курьез. Как и все, кто читал про империю инков, я знал, что камышовые лодки озера Титикака — всего лишь рудимент доколумбовых лодок, которыми пользовались на всем побережье Перу, когда испанцы пришли к Тихий океан. Они применялись тогда и дальше к северу, вплоть до Мексики и Калифорнии. Самые маленькие лодки, напоминавшие слоновый бивень, выдерживали только одного человека, он плыл на них, лежа по пояс в воде. На самых больших, о которых пишут испанцы, была команда до двенадцати человек, а если несколько лодок связывали вместе, на них можно было перевозить по многу лошадей и скот. Я знал также, что камышовая лодка в Перу так же стара, как бальсовый плот, больше того, она была известна уже во времена древнейшей доинкской культуры: строители первых пирамид на севере Перу, люди народа мочика, в своем разностороннем искусстве постоянно изображали камышовые лодки в море.

Когда я задумал строить «Кон-Тики», мне надо было выбирать. В древней империи инков знали морские суда трех родов. Бальсовые плоты из бревен, обычно срубленных в Эквадоре, камышовые лодки из снопов камыша тотора, растущего дико по берегам горных озер и выращиваемого на орошаемых землях засушливого побережья, наконец, — понтоны, два связанных плугом бурдюка из тюленьих шкур.

Бальсовый плот прошел испытание и обнаружил поразительные мореходные качества. А камышовая лодка была отвергнута и забыта. На время.

Глава 2

ПОЧЕМУ

КАМЫШОВАЯ ЛОДКА?

ОСТРОВ ПАСХИ И ПЕРУ

Это было на острове Пасхи. Восточный берег. Под рокот прибоя четыре брата, четыре старика с кожей, похожей на сморщенный табачный лист, мелкими шажками вбежали в бурлящую воду, неся маленькое суденышко, формой напоминающее банан. Ни высоких бортов, ни пологого корпуса; толстые связки, на которых сидели гребцы, образовали плоскую палубу, только впереди и сзади лодка-плот, сужаясь, загибалась вверх, чтобы лучше справляться с волной. Золотистым лебедем она переваливала через гребни.

Сто лет на острове Пасхи не спускали на воду таких лодок. Старики связали ее, чтобы показать нам, на чем их деды выходили в море ловить рыбу. Миниатюрная модель известных по изображениям огромных судов поры расцвета пасхальской культуры.

А для меня ожили суда далекой страны за горизонтом на востоке... Пасхальская лодка поразительно напоминала лодки озера Титикака, но еще больше — серповидные суда из камыша, реалистически воспроизведенные в керамике древней культуры мочика на тихоокеанском побережье Южной Америки. Волны, которые разбивались о берег у наших ног, шли с той стороны. И ведь я сам пересек здесь океан с востока на запад, влекомый постоянным круговоротом воды. Как тут не призадуматься...

В мертвом кратере вулкана Рано Рараку шесть человек погрузили в кромку озерной трясины восьми метровый стальной бур. Множество незавершенных статуй на склонах вокруг кратерного озера свидетельствовало о том, что ваятели неожиданно прервали работу.

Длинное стальное копье дюйм за дюймом уходило в вязкую кашу. Десятки тысяч лет на дне потухшего вулкана скапливались дождевая вода и ил, и возникло голубое зеркальное озеро, в котором отражается небо. И кажется, что белые пассатные облака вечной чередой скользят через кратер с востока на запад, исчезая в зеленых зарослях камыша. Три кратерных озера в камышовом венке — единственные источники пресной воды на острове Пасхи. Пасхальцы добывают в них питьевую воду с тех самых пор, как свели огнем первичный лес и превратили весь край в голую степь, после чего ручьи один за другим ушли в пористую вулканическую породу и пропали.

Об этом поведала каша, извлеченная нами из озерной трясины. Бур заканчивался вращающимся ножом и маленькой полостью, которая захватывала ил, глину или песок, смотря из чего состоял очередной пласт. Чем глубже погружался бур, тем дальше мы проникали в прошлое. Кромка трясины была словно книга, лежащая последней страницей вверх, а первой — вниз. Потом начиналась затвердевшая лава и вулканический шлак — свидетели той поры, когда остров поднялся со дна океана, извергая пламя. На эту безжизненную подстилку дожились глина и ил, когда вулкан потух и выветривание принялось разрушать края кратера. Постепенно в донных осадках собиралось все больше цветочной пыльцы. Она герметически сохранялась, и теперь специалист по палеонтологии, изучая структуру отложений, может рассказать, в какой последовательности на новорожденный

остров с помощью течений, ветров, птиц и людей попадали папоротники, кустарники и деревья. Ведь у каждого растения своя пыльца; под микроскопом ее крупинки напоминают причудливейшие плоды и ягоды.

Детективы укрываются под разными прозвищами. Некоторые, чтобы им не докучали любопытные, называют себя палеоботаниками. Они сидят и анализируют крупинки пыльцы так же тщательно, как другие детективы — отпечатки пальцев. Добытые нами комочки грязи мы раскладывали по пронумерованным пробиркам, чтобы потом передать их в отдел ботанического сыска в Стокгольме. Там нам удалось кое-что разузнать о забытом прошлом острова Пасхи, о том, откуда мог прийти загадочный народ, который на заре истории неприметно для всех воздвиг здесь свои исполинские монументы.

Пыльца рассказала, что этот голый и бесплодный, в представлении европейцев, остров, богатый лишь истуканами и каменоломнями, от природы был наделен пышной растительностью — кустами, деревьями и стройными пальмами. Но затем сюда, задолго до европейцев, прибыли мастера каменотесного дела. Они подожгли лес. Зола и копыт ссыпались на кратерное озеро, оставив след в донных отложениях. Выше этого слоя пыльца лесных деревьев резко идет на убыль. Пришельцы сводили лес, расчищая место для своих святилищ, они уничтожали пальмы на склонах вулканов, снимали на стенах кратера дерн и землю, добываясь до коренной породы, чтобы вытесывать в скале огромные человеческие фигуры.

Постепенно местные кустарники и деревья пропали; одновременно появляется пыльца привозных растений. Лес уступал место полям, где пришельцы сажали свою главную пищевую культуру — батат. Он уступал также место жилищам, которые они привыкли строить из камня, а не из дерева. Камень был обычным для них материалом; тяжеленные плиты высотой с дом тащили через весь остров, ставили на торец, укладывали друг на друга и подгоняли, сооружая замечательные мегалитические стены, подобные которым можно увидеть только в Перу, Мексике да в странах древних солнцепоклонников внутреннего Средиземноморья, на другом конце земного шара.

И не только об этом рассказали детективы, изучив доставленные нами комочки грязи. Усердные покорители пасхальской целины, хотя истребили изначальную растительность острова, привезли взамен батат, который был неизвестен в нашей части света, пока Колумб не обнаружил его в Америке. Об этом мы знали и раньше, ведь пасхальцы вплоть до наших дней питались преимущественно бататом, называя его кумара, как и коренные жители значительной части древней инкской империи. Но лепешечки ила сохранили следы другого растения, еще более важного для морского народа.

Камыш. Камыш тотора.

Выше слоев с золой от лесных пожаров идут другие слои, желтые от спрессованной пыльцы камыша тотора, перемешанной с прочными волокнами стеблей. Большие участки кратерного озера покрыты сплошным плавучим ковром из сгнившего камыша. Кроме тоторы, только одно водное растение оставило свою пыльцу в донных отложениях, начиная с пласта, в котором пепел знаменует прибытие людей на остров. Глубже пыльца пресноводных растений не встречена. До прихода человека в кратерных озерах Пасхи ничего не росло, поверхность их была совершенно чистой.

Чем не материал для детектива! Нетрудно догадаться, что оба пресноводных растения попали сюда из-за океана вместе с человеком. Ведь речь идет о

важных культурах, одна из которых применялась в медицине, другая использовалась как строительный материал, и ни та, ни другая не могли быть принесены морскими течениями, ветрами или птицами, потому что обе размножаются только корневыми отростками. Чтобы они могли появиться в трех кратерных озерах на уединенном острове Пасхи, их должны были посадить там люди, которые привезли корневища из своего родного края. Теперь осталось лишь пройти по следу. Оба вида встречаются только на американском материке, их нет больше нигде на свете. Камыш тотора — Скирпус тотора — был одной из главных культур в хозяйстве древних обитателей засушливого приморья инкской империи; они разводили его на орошаемых участках и применяли для лодок, кровли, циновки, корзин и веревок. Второе растение, горьц Полигонум акуминатум, использовалось индейцами Южной Америки как лекарство. И для пасхальцев оба растения играли такую же роль.

Присутствие этого американского пресноводного растения в трех кратерных озерах на самом уединенном острове мира давно считалось одной из великих загадок ботаники Тихого океана. А загадка, похоже, решается очень просто. Может быть, древние мореплаватели из Перу пересекли океан не только на бальсовых плотках, может быть, среди них были мастера вязать камышовые лодки, и они привезли корневища, чтобы обеспечить себя строительным материалом.

Когда мы помогли старикам вытащить на берег их серповидную лодку, я окончательно утвердился в мысли, что люди древнейшей пасхальской культуры унаследовали свои характерные суда от древних строителей перуанских пирамид.

Пять лет спустя я встретился на конгрессе в Гавайском университете с ведущими специалистами по археологии Тихоокеанской области. Сидя за одним столом с другими учеными и вместе с ними подписывая документ — резолюцию конгресса. А в резолюции говорится, что наряду с Юго-Восточной Азией Южная Америка была родиной народов и культур, которые до европейцев пришли на острова Тихого океана. Никаких возражений с моей стороны. Ведь своим плаванием на плоту из Перу я как раз хотел показать, что Полинезия могла быть заселена с двух сторон.

Археологи-тихоокеанцы впервые включили в круг своих интересов приморье Южной Америки. Открылись ворота между Перу и Полинезией, кончился односторонний взгляд на Тихий океан.

Но камышовая лодка снова была забыта.

И вдруг ее извлекли из забвения самым неожиданным образом, в самой неожиданной связи. В январском номере научного журнала «Американская древность» за 1966 год один известный исследователь из Калифорнийского университета указал, что камышовые лодки древнего Перу похожи на папирусные лодки Древнего Египта. Причем лодки не единственная черта, позволяющая говорить о поразительном сходстве этих двух культур. В статье приводился список шестидесяти очень специфических черт, одинаково характерных для древнейших культур Египта и внутреннего Средиземноморья, с одной стороны, и доколумбовых культур Перу — с другой. Камышовая лодка была лишь одним из шестидесяти перечисленных элементов.

Обычно, когда в далеких друг от друга обособленных районах обнаруживают одну или две однотипных черты культуры, наука называет это случайностью; ведь люди во всех концах света настолько схожи, что вполне естественно, если какие-то их изобретения совпадут. Но когда налицо целый набор разнообразнейших совпадений, притом настолько

специфичных, что этот комплекс встречается только в двух определенных районах земного шара, опасно совсем исключать возможность контакта между этими двумя центрами культуры.

Статья в «Американской древности» поразила не только меня. И не только потому, что перечень элементов выглядел внушительно и давал пищу для размышлений. Больше всего удивляло, что его составил изоляционист. Автор статьи прослыл одним из самых рьяных поборников гипотезы о полной изоляции Америки до Колумба, полагающих, что люди могли попасть в Новый Свет только по льду на севере. И он вдруг публикует перечень, которому позавидовал бы Перси Смит. Шестидесят специфических культурных параллелей между древним Перу и Египтом.

Направлялся вывод. И автор статьи делал его. Дескать, Египет лежит в Африке, а Перу — в Америке, их разделяют два материка и Атлантический океан. Два народа, которые делали лодки из камыша, не могли сообщаться через океан, из чего следует, что шестидесят культурных параллелей могут возникнуть независимо, без какого-либо контакта. Мораль: уважаемые диффузионисты, верящие, что Америка получала импульсы извне до 1492 года, прекратите поиск и параллелей, ибо сим доказано, что эти параллели ничего не доказывают.

Научные противники изоляционистов, то есть диффузионисты, возмутились. Их корбило от такой логики. Они были твердо убеждены, что Мексика и Перу еще в древности восприняли импульсы через океан. Но через какой именно? И на каких лодках? Волны дискуссии продолжали бушевать. Вопрос оставался открытым.

В том же 1966 году устроители XXXVII Международного конгресса американистов решили свести для научного единоборства представителей обоих спорящих лагерей. Каждые два года съезжаются специалисты по древней истории Америки; очередной конгресс должен был собраться в Аргентине, и меня попросили организовать симпозиум по вопросу: были ли не были контакты через океан с Америкой до Колумба?

Одним из яблок раздора были исландские королевские саги, сказания викингов, подробно записанные их историками задолго до рождения Колумба. Никто не отрицал, что норвежские викинги заселили сперва Исландию, потом все юго-западное побережье Гренландии. К тому времени, когда Колумб поднял паруса, они жили там постоянно пятьсот лет.

Путь от Норвегии до поселений викингов в Гренландии через Северную Атлантику равен пути от Африки до Бразилии через Южную Атлантику. От Гренландии оставалось совсем немного до американского материка. Изоляционисты говорили, что этот последний отрезок не удалось одолеть.

Он был преодолен, утверждали древние саги. Бьярне Херульфссон первым пересек пролив на своей ладье, пересек нечаянно, сбившись с курса в тумане. Однако он не стал причаливать к неведомым берегам, а повернул назад, в Гренландию. Вскоре его корабль купил Лейв Эйрикссон, сын Эйрика Рыжего, того самого, который открыл Гренландию. Около 1002 года Лейв с командой из тридцати пяти человек вышел из Гренландии на юго-запад. Отряд Лейва первым высадился на берег новой земли, названной ими Винландом, построил там дома, перезимовал и только потом вернулся в Гренландию.

Рукописные саги изобилуют реалистичными деталями. Берега и пути кораблей описаны так подробно, что нельзя сомневаться: да, викинги открыли Винланд и пытались обжить новую страну в первые десяти—пятнадцать лет после 1000 года.

Но где находился Винланд? Докажите, что Винланд — это Америка, твердили изоляционисты много лет.

И вот сенсация: XXXVII Конгресс американистов получил доказательства.

Место, где викинги около 1000 года высадились на берег и построили свои дома, — Ланс-о-Мидоуз на северной оконечности Ньюфаундленда. Здесь до наших дней под дерном сохранились следы типично норманнского жилья. Остатки древесного угля позволили произвести радиоуглеродную датировку с десятикратной проверкой. Она показала, что дома появились как раз в то время, о котором говорится в сагах. Индейцы не знали железа, а здесь нашли остатки железных гвоздей, нашли болотную руду в примитивной кузнице. Северные индейцы не знали ткачества, а тут лежало под дерном типично норманнское пряслице из стеатита.

В Южной Атлантике взяли верх изоляционисты. Здесь развернулась главная баталия; ведь если представители древних культур Старого Света повлияли на развитие Мексики и Перу, они должны были попасть в тропическую зону Америки. И штурм диффузионистов был отбит так же легко, как прежде. Культурные параллели на востоке и западе были для их противников пустым звуком. Поединок закончился тем, что изоляционисты сохранили прочные позиции на своем острове в тропическом океане. И ведь у них был важный аргумент, с которым нельзя было не соглашаться: если народ древней культуры с мореходным опытом пересек океан и научил индейцев писать на бумаге и строить дома из кирпича, он должен был также научить их строить суда. Невозможно, чтобы люди, умеющие воздвигать пирамиды, одолели океан, не умея строить кораблей. Египтяне за 2700 лет до нашей эры уже строили настоящие деревянные корабли с полым корпусом, палубным настилом и каютами из струганых досок, а индейцы до этого так и не додумались. Во всем Новом Свете до Колумба делали только камышовые лодки, плоты, долбленки да каноэ из шкур. Против этого факта нечего было возразить.

Камышовые лодки, плоты, долбленки. Опять они... Бальсовый плот вполне мореходен, но на нем можно было плыть только из Америки, а не в нее, потому что до прихода испанцев бальса не росла в других частях света. Зато камыш, осока, тростник росли повсюду. И, уж конечно, на Ниле.

— Ивон, — сказал я своей жене, — надо будет отправиться в Анды, еще раз посмотреть на камышовые лодки индейцев.

Мы пригласили с собой супругов Ингстад: пусть убедятся, что не одни викинги умели строить изящные суда.

Не успел закрыться конгресс, как мы вылетели в Ла-Пас в Боливии и на следующий день уже были на берегу Титикаки, небесно-голубого озера на высоте около 4 тысяч метров над уровнем моря, вокруг которого еще на 2 с лишним тысячи метров вздымаются вверх снежные пики. На прилегающем к озеру плато лежали развалины Тиауанако, культурного центра и самой могущественной столицы Южной Америки доинкской поры: пирамида Акапана, мегалитические стены, огромные каменные статуи неведомых священных правителей. А на озере, маневрируя на сильном ветру, ходили лодки рыбаков из племени аймара. Издали виден лишь наполненный ветром парус, на большинстве лодок — из ветхой парусины, но кое-кто, оставшись верным старой традиции, поднял на двуногой мачте большую циновку из золотистого камыша тотора. Три лодки шли полным ходом прямо на нас, вот уже видно ин-

дейцев в полосатых остроконечных шапочках и можно рассмотреть конструкцию лодки. Изумительно. Мастерская работа. Каждая камышинка уложена предельно тщательно, симметрия безупречная, изящные, плавные обводы; сигары из камыша связаны настолько туго, что больше похожи на надутые воздухом понтоны или позолоченные бревна, у которых оба конца заострены и загнуты вверх, будто носок деревянного башмака.

Лодки этого своеобразного типа и в наши дни вяжут тысячами во всех концах огромного внутреннего моря.

Точно так же они выглядели четыреста лет назад, когда сюда пришли испанцы и обнаружили заброшенные развалины Тиауанако, увидели сориентированную по солнцу пирамиду и каменных истуканов, созданных, по словам индейцев аймара, на заре времен народом виракоча, белокожими бородастыми людьми под предводительством Кон-Тики-Виракочи, солнечного наместника на Земле. Сперва виракочи поселились на острове Солнца. Они строили не только из камня: предание сообщает, что это ими были связаны первые камышовые лодки.

Как же все это понимать?

Вот они снова передо мной — огромные глыбы весом от пятидесяти до ста тонн, обтесанные и пригнанные друг к другу с точностью до долей миллиметра. И изящные, как произведение искусства, лодки из камыша бороздят озеро сегодня, как они его бороздили в ту далекую пору, когда на таких же судах возили с той стороны камень из потухшего вулкана Капиа для пирамиды Акапана. Для меня было ясно, что эта погибшая культура связана с другими центрами древних американских культур, следы которых протянулись цепочкой через глухие дебри от Мексики до перуанского нагорья. И я не сомневался, что именно отсюда древнейшая культура распространилась с бальсовыми плотами и камышовыми лодками дальше, достигнув ближайших островов в Тихом океане. Пасхальская культура — только ветвь, возможно, последняя, верхняя ветвь могучего дерева.

Но где его корень? Здесь, в Америке? Или по ту сторону Атлантики? Кто прав — изоляционисты или диффузионисты? На конгрессе их голоса прозвучали одинаково неубедительно. Как руководитель симпозиума, я занял нейтральную позицию. Хотя в одном был совершенно уверен: и те и другие недооценивали лодки, которые сейчас у меня на глазах укрощали голубые волны Титикаки. Не так уж плоха камышовая лодка, если жива по сей день, после четырехвекового контакта с европейской культурой.

Ладно, деревянные корабли знали только по одну сторону Атлантического океана. Но суда из камыша, осоки, тростника вязали и там и тут, это же одна из шестидесяти черт сходства. Искусство строить такие лодки истари было известно в Египте и Перу. Только в этих двух странах? Нет. Здесь мне виделся маленький изъян в рассуждениях исследователей: камышовые лодки не были таким обособленным явлением, как остальные пятьдесят девять сходных элементов культуры в перечне. Почти никто не изучал их распространение в прошлом. Но кое-какие сведения я все же нашел. В частности, лодками из камыша и осоки некогда пользовались в Мексике, на островах Средиземного моря, на атлантическом побережье Марокко, по соседству с Гибралтаром. А путь от Марокко до Мексики уже не выглядел таким неодолимым и нелепым, как расстояние между крайними точками — Египтом и Перу.

И я решил построить лодку из осоки.

Глава 3

К ИНДЕЙЦАМ КАКТУСОВОГО ЛЕСА. МЕКСИКА

Море. Кактусы. Клочок моря в просвете между колючими исполинами. Сказочный мир. Стою, словно лилипутик, и, задржав голову, рассматриваю макушки зеленых великанов. То словно друзья органных труб, то многорукие подсвечники возвышаются над царством раскормленных толстяков и дородных верзил. А ведь почва у меня под ногами — всего лишь сухая корка спекшегося, бесплодного песка; ни травы, ни цветов, если не считать красные и желтые соцветия между шипами на могучих мускулах зеленых богатырей. Планета кактусов...

Мы очутились здесь в поисках лодочных мастеров. Хотя бы одно настоящее дерево, чтобы с него можно было бы высмотреть дорогу! Мой мексиканский друг Рамон Браво ушел куда-то налево искать скалу для обзора, а его жена Анжелика и Герман Карраско остались ждать в «джипе» там, где мы — в который раз! — потеряли колею. Мне посчастливилось, я наконец-то увидел море. Место приметное, рядом со мной высился этакий живой монумент — кактус в виде трезубца Нептуна, толстенный, хоть прячься за него. Я видел серебристые блики солнца на водной глади да голубеющие вдали горы за заливом. Вполне достаточно, чтобы наметить курс. И мы покатались дальше по заколдованному лесу, спеша достичь цели до захода солнца.

Наконец нашим глазам предстала индейская деревушка.

Наше появление никого особенно не взволновало. Большинство продолжало заниматься своими делами. К нам подошли два старика в сопровождении гурьбы ребятишек. Рамона узнали, тотчас ребятишки сбегали за Чучу, который был переводчиком и проводником Рамона в прошлый раз, когда тот приезжал сюда снимать тюленей и прочих животных в заливе. Чучу явился со всей семьей, и радости не было конца.

Рамон привез друга, который хочет посмотреть на их камышовые лодки? Но никто из племени серис больше не вяжет а с к а м. Где лодка, которую Рамон видел два года назад? Эта как раз была последняя. В соседней деревне теперь тоже нету а с к а м, власти выделили на каждую деревню по деревянной лодке с подвесным мотором.

Спустилась ночь, нам одолжили несколько картонов, и мы сделали себе из них постель на полу сарая, где хранились рыболовные снасти.

Еще не зарделись на солнце макушки кактусов, а наша четверка уже сидела в кольце индейцев, глядя на тихий залив. Никто не произносил ни слова. Все только смотрели.

— Вы не сделаете для меня а с к а м? — осторожно спросил я.

— Мучо травахо, — последовал дружный ответ. — Много работы.

Их знание испанского явно исчерпывалось этими словами, дальше требовался переводчик. Чучу пришел на помощь.

— Я заплачу, — пообещал я. — Получите товары или песо.

— Мучо травахо, — повторили они.

Я надбавил цену. Индейцы промолчали. Надбавил еще.

— Далеко идти за камышом, — нерешительно сказал Чучу.

— Мы пойдем с вами. — Я встал.

Четверо индейцев согласились отправиться за камышом: Чучу, двое из его братьев и сын одного из них. Только старший брат, Каитано, знал, где растет камыш. На озере на Исла-Тибурон, Акульем острове, вон он в лучах восходящего солнца, по ту сторону залива.

Пригодился подвесной мотор, предоставленный властями. И вот уже мы идем к горизонту, рассекая мелкую волну. Я недоумевал: неужели ближе нет камыша?

— Это камыш пресноводный, — объяснил Каитано. — Он на здешнем берегу не может расти. Надо добираться до озера.

Впереди из воды выросли крутые пики Исла-Тибурон. Остров изрядный, площадь больше тысячи квадратных километров, его даже на карте мира видно. Мы причалили к белому песчаному пляжу, дальше до розовеющих гор простиралась ровная полоса земли с кустарником и единичными кактусами-великанами.

Мы вытащили лодку на песок подальше от воды и зашагали по равнине. Где же озеро в рамке из камыша? Увы, кругом был только песок с лабиринтом из вечнозеленых кустов, шиповника и кактусов. Никакого намека на тропу. Одни лишь олени, зайцы, ящерицы, змеи и всякие мелкие твари оставили свой след. Мы шли, шли... Направо, налево, прямо, отыскивая проходы в зарослях курсом на горы.

— Где же озеро? — спрашивал то один, то другой из нас.

— Вон там, — показывал носом Каитано.

Мы продолжали шагать дальше. Море осталось где-то далеко позади. Зато горы подступали все ближе. Вот и подножие. Полдень, солнце печет макушку, а у нас ни воды, ни продуктов.

Мы начали карабкаться по заполненному каменным потоком кулуару в рыжевато-красном склоне. Несколько раз мне попадались черепки от индейских кувшинов. Не иначе, тут споткнулся кто-то из ходивших по воде.

Выше, выше... Даже не верилось, что на сухой-пресухой горе, где растет один кактус, может быть озеро.

Вдруг Каитано остановился и показал вперед, теперь уже рукой. Мы стояли на скатившихся сверху глыбах, перед нами простиралась заваленная камнем выемка, а на противоположном склоне засечка в красной породе вела в котлован, где в лучах солнца выделялось зеленое пятно, которое сочностью и яркостью тона превосходило все кактусы и прочие растения засушливой прибрежной полосы. Камыш!

Усталые, мучимые жаждой, мы прибавили шаг. Море синело далеко внизу, и мы мечтали скорее нырнуть в озеро и вдоволь напиться. Я приметил искусственную кладку на двух-трех карнизях: это поработали люди. Добравшись до зеленой чащи, Каитано начал прорубать себе путь секачом, и вскоре его смуглая спина с черной косичкой пропала в высоком — выше человеческого роста — камыше.

— Где озеро? — спросил я, догнав его.

В густых зарослях было видно не дальше вытянутой руки. Каитано стоял, глядя себе под ноги. Он показал вниз, на черный влажный перегон. Мы подтолкнули его, спеша поскорее выйти к озеру. Каитано нехотя пригнулся и нырнул в темный туннель, проложенный в чаще животными, которые ходили здесь на водопой. Чувствовалась близость

воды. Мшистые камни были словно холодные губки, а между ними, в ямке шириной с умывальный таз, поблескивала лужица, затянута зеленой ряской. Я уже хотел немного освежиться, но меня вдруг осенила догадка...

— Где озеро? — спросил я.

— Здесь, — сказал Каитано, показывая на лужу.

Мы промолчали. Осторожно выловив ряску, набрали горстью воды — только-только всем смочить глотку. Оставшейся мутной жижей смазали воспаленную кожу, потом погрузили ноги в ил, чтобы использовать всю влагу до последней капли.

Индейцы поглядывали, щурясь, на солнечный диск, который едва просвечивал сквозь плотный полог стеблей над нами. Они думали о долгом пути домой, и двое из них, отойдя от лужи, начали срезать своими секачами самые длинные стебли. Тем временем мы прилегли на траву отдохнуть.

Поучительный поход! Ведь я, как и большинство исследователей, думал, что для индейцев серис было естественно строить лодки из камыша. Считал, что в Сонорской пустыне не хватало древесины, зато камыша в приморье видимо-невидимо. А выходит совсем другое. Индейцы серис делали такие лодки вовсе не потому, что камыш был у них под рукой. Вон куда им пришлось забираться, на гору на далеком острове, чтобы по берегам родника высидеть растение, стебли которого служили материалом для лодок. Видно, строительство камышовых лодок было в племени давней традицией, собственной или заимствованной извне. Без этого зачем ходить сюда за камышом, они вполне могли делать каркасы для лодок из веток железного дерева и обтягивать их шкурами. Тюленьи шкуры — превосходный материал для лодки, а на южном, скалистом берегу Акульего острова тюленей видимо-невидимо. Кто-то другой недоумил индейцев серис строить камышовые лодки. Кто?

Мы пошли вниз; четверо индейцев — впереди, каждый с кипой камыша на плече, за ними остальные, неся штативы и киноаппаратуру. Спускаясь по каменистому склону, я то и дело замечал оброненные индейцами стебли. Внизу наши проводники разбрелись, а затем мы почему-то оказались впереди.

День подошел к концу, когда мы отыскили лодку. Зная, что после захода солнца увидим костры на Пунта-Хуэка, мы терпеливо ждали четверку индейцев. А вот и они тихонько вышли на берег. Последним, смущенно улыбаясь, брел Чучу, неся на плече 3 (три!) стебля камыша. Остальные ничего не несли.

— Мучо травахо, — пробормотал один из индейцев.

Мои мексиканские друзья были страшно огорчены и откровенно возмущались. Три стебля — итог целого дня голодного странствия по безводному острову. Мы-то рассчитывали найти камыш на самом берегу. Но я отчасти был даже доволен. Из трех камышинок не связать лодки, зато они рассказали мне кое-что поважнее. Я узнал, что не здесь надо искать родину камышовых лодок.

Старики обрушили град насмешек на Чучу и его помощников, когда он сбросил свой груз на землю около лачуги. Особенно негодовала одна голосистая древняя старушка. Отведя душу, она доковыляла до своей лачуги и что-то крикнула, стоя лицом к двери. Через минуту на пороге показался дряхлый слепец в синих очках. Поднявшись властной супруге, он хотя вышел, разогнул спину, и мы поняли, что некогда это был статный богатырь с красивым лицом. Индейцы серис выделяются среди других племен Мексики; после первой встречи с жителями Акульего острова испанцы описывали их как великанов.

Старик со старухой зашли за лачугу — здесь, на куче мусора, лежала камышовая лодка! Похожие на бамбук тонкие стебли посерели от старости, от них осталась почти одна труха, веревки сгнили, но лодка еще сохраняла свою форму. Мы помогли отнести ее к двери: старик решил показать, что настоящий сын племени серис умеет вязать аскам. Нам объяснили, что этот ветеран — бывший вождь племени.

На другой день он на рассвете приступил к работе, вооружившись веревкой собственного изготовления и длинной, словно кинжал, деревянной иглой, отполированной долгим употреблением. Этой иглой слепец ощупью сшил свою лодку заново, придав изящный изгиб поникшему носу. Это ли не удача, мусорная куча подарила нам то самое, ради чего мы сюда добирались.

Последнюю камышовую лодку племени серис — а то и всей Мексики — отнесли к заливу. Каитано с сыном, захватив весла и деревянное копье с веревкой, вскочили на нее и уселись поудобнее. Оба умели обращаться с веслами, и смуглые спины с черными косицами быстро исчезли вдаль. Когда длинная, узкая лодка вернулась, между гребцами лежала, размахивая лапами, здоровенная морская черепаха. Сухой, прелый камыш пропитался водой, и мелкие волны захлестывали лодку, но она продолжала держаться на поверхности.

Итак, Мексика. Кто научил индейцев серис специфическому искусству вязать камышовые лодки? Кто-то из их многочисленных соседей. Некогда такие лодки были повсюду — от инкской империи на юге до Калифорнии на севере, даже на озерах самой Мексики. Лодки из камыша были зарегистрированы в восьми мексиканских штатах.

С грустью я смотрел, как улов Каитано отнесли в черепаший садок, а последнюю аскам индейцев серис отправили на свалку за лачугой бывшего вождя. Там она и осталась, знаменуя конец последней главы в ненаписанной книге о безвозвратно забытой истории камышовых лодок Центральной Америки.

Глава 4

СРЕДИ БЕДУИНОВ И БУДУМА В СЕРДЦЕ АФРИКИ. В РЕСПУБЛИКУ ЧАД ЗА ЛОДОЧНЫМИ МАСТЕРАМИ

Я в Африке. В сердце Центральной Африки. Маленький номер гостиницы в Форт-Лами, столице республики Чад. Предельно далеко от океана. Этаким парадокс; ведь мой приезд сюда — первый этап задуманного мной плавания через Атлантику на камышовой лодке. А какая здесь вода — только тихая река.

Накануне я видел на отмени выше по течению семерку ленивых бегемотов. Здесь, около столицы, они охраняются законом. Крокодилы почти истреблены, так как их кожа шла на экспорт. Вот уже полгода, с конца дождевого сезона, не выпадало дождей, и река обмелела настолько, что сейчас по ней ходили только плоскодонные долбленки.

Мерно течет на север рожденная в лесах Шари, но ее тихие воды не доходят до океана. Выйдя из

необозримых дебрей у границы Конго на юге, река пересекает саванну и полупустыню и вливается у южных рубежей Сахары в обширное озеро Чад.

Туда-то, на это озеро, я и хотел попасть. Но насколько легко найти его на карте, настолько же трудно к нему добраться. Озеро Чад — все равно что голубое сердце Африки, хотя на всех картах оно выглядит по-разному, то круглое, как тарелка, то кривое, как рыболовный крючок, то изрезанное, будто дубовый лист. Наиболее добросовестные карты обозначают его контуры пунктиром, ведь никто не знает точных очертаний этого изменчивого внутреннего моря. Тысячи плавучих островов беспорядочно дрейфуют по его поверхности, сталкиваются друг с другом, срastaются, причаливают к берегу, образуя полуострова, снова распадаются и плывут в разные концы, к неведомой цели. Средняя площадь озера — 22 тысячи квадратных километров, но нередко оно усыхает наполовину, ведь вся-то глубина его от одного до пяти, самое большое, шести метров. В северной части вода местами такая мелкая, что обширные участки поросли осокой, а именно, папирусом. Папирусом обросло и большинство островов, участвующих в вечной гонке по озеру.

Три дня назад я пролетел над Средиземным морем и Сахарой на французском самолете, который следует на юг Африки, а раз в неделю делает посадку в Форт-Лами. Самолеты доставляют в республику то, чего нельзя везти на верблюдах.

И мы тоже вышли из самолета — три путника, нагруженные киноаппаратурой и меновыми товарами. Меня сопровождали два кинооператора: француз Мишель и итальянец Джанфранко. В путевых очерках о Центральной Африке мне попалась интересная фотография: несколько африканцев у воды, и рядом своеобразное суденышко такого же типа, как хорошо знакомые мне по Южной Америке и острову Пасхи камышовые лодки. Снимок был сделан на озере Чад, и автор статьи подчеркивал разительное сходство лодки из Африки с лодками, которые с незапамятных времен вяжут индейцы озера Титикака в горах Перу.

Из области Верхнего Нила проходит через горы древний караванный путь в Чад, известный также под названием трансафриканского работоторгового пути. Я знал, что антропологи по ряду признаков связывали некоторые группы жителей Чада с обитателями Нильской долины. Чад — африканский тигель, жгучие лучи тропического солнца освещают тут причудливую смесь народов, и только специалист не запутается в местных племенах и языках.

Получив надлежащие документы и двух чернокожих шоферов, один из которых, Баба, по его словам, бывал в Боле, мы рано утром, до восхода солнца, двинулись в путь. Мы ехали на двух «джипах» — мало ли что случится в пустыне, — и эта мера себя вполне оправдала. В первой машине у нас была сплошь желтая карта с красными черточками под названиями Форт-Лами, Массакори, Алифари, Каиром, Нгури, Иссеиром, Бол.

И вот началась пустыня. Южная кромка Сахары. Последний виденный нами термометр показывал около 50 градусов в тени. Здесь же на десятки километров вокруг не было ни градусников, ни тени. Позади осталась саванна с веерными пальмами и сухими деревьями, остались настоящие рощицы, где газели, кабаны и обезьяны бросались наутек при виде машины, и разлетались пестрые тропические птицы, и только жирные цесарки нехотя освобождали колено. Теперь кругом лежал песок, будто снег на голом нагорье, плавные складки рельефа были занесены песчаными сугробами, дюнами, и только жид-

кие кусты тут и там пропороли напоевную солнцем безбрежную гладь. Солнце. Оно стояло прямо над нами, высекая блеск из металла.

Мы поминутно увязали в глубоких дюнах, и тогда один «джип» тянул другой стальным тросом, а под колеса мы клали горячие листы железа. Моторы не выдержали жары, сначала один забастовал, за ним второй. Но Баба и его приятель были отличные механики, в их руках отвертка и гаечный ключ справлялись с любыми неполадками. Где песок плотнее, мы мчались с головокружительной скоростью. Нередко все следы колеи исчезали, и мы описывали большие дуги, пока Баба не заключал, что выбрался опять на верный путь.

Хотя дело шло к вечеру, нас душила жара. Баба жаловался на головную боль, пассажиры второго «джипа» наглотались пыли и все больше отставали. Вода в канистре только обжигала губы и вызывала тошноту, вместо того чтобы утолять жажду.

И вот показалось озеро. Голубое, с холодным стальным отливом зеркало неба за кромкой ярко-зеленой осоки, сочного папируса. С гребня песчаной дюны оно смотрелось, как мираж, хотелось выскочить из машины, побежать туда, пробиться сквозь зеленый барьер, броситься в эту немислимо голубую воду, сделать добрый глоток и нырнуть, освежить воспаленную кожу, отмыть от насохших корок песка уши, ноздри, веки, поры, отмыться с головы до ног и снова пить, пить, пить... Тринадцать часов в «джипе», мы с трудом разогнули затекшие ноги и уже хотели ступить на землю, но Баба нас остановил. Лучше не покидать машину. Лучше подождать до Бола. Деревня на самом берегу: если поспешим, поспеем туда засветло. В пустыне ночью небезопасно.

До чего же нам трудно было удержаться! Вода — рукой подать, небесно-голубая вода, такая соблазнительно прекрасная в своей холодной наготе за зеленой шторой. А ты садись на место, давись пылью, и трясьсь дальше в раскаленном «джипе». Баба развернул железную коробку кругом, скатился с дюны вниз, и снова потянулся песок, песок... Снова пустыня.

А Баба сделал доброе дело. Когда наши «джипы» уже перед самым закатом по утрамбованной караванами дороге, связывающей Бол с деревнями на востоке, въехали в городишко, пересекли безлюдную базарную площадь и остановились на берегу за домами, и мы приготовились прямо в одежде прыгнуть в воду, послышался чей-то предостерегающий возглас. Молодой томный француз с бородкой, член работающего на озере исследовательского отряда, сухо довел до нашего сведения, что здесь не стоит купаться, озеро кишит паразитами, они в несколько минут пробурывают нам кожу.

Да, упоительно красивое озеро Чад — обитель одной из самых коварных тварей Африки, шистозомы. Так называют крохотное чудовище, точнее, его личинку, представляющую собой тонкого, почти невидимого червячка длиной с миллиметр, который с ходу пробуравливает кожу, поселяется в организме и буквально пожирает человека изнутри.

Местные жители держались поодаль, пока из белого домика не вышел негр богатырского роста, который в сопровождении маленького эскорта направился к нам. Сразу было видно начальника; это и в самом деле оказался исполняющий обязанности шерифа. Сам шериф куда-то выехал по делам, и никто в Боле не был предупрежден о нашем визите. Кто мы, где наши документы? Врио шерифа Адум Рамадан мучился зубной болью и явно был не в духе.

Мишель дал ему аспирина и объяснил, что нам нужно где-то устроиться на ночь, мы приехали из самого Форт-Лами и нигде в пути не отдыхали.



Озеро Чад — одно из немногих мест, где пользуются такими лодками.

— Быстро ехали, — сухо заметил врио шерифа, пропустив мимо ушей слова о ночлеге.

Его интересовало другое: почему же все-таки не было радиогаммы из Форт-Лами, ведь радиостанция в порядке.

Велев одному из своих людей проводить нас в стоящий на берегу цементный сарай, жертва зубной боли исчез с остальным эскортом в сгущающемся мраке.

Мы вошли в сарай. Это была местная общедоступная гостиница: заходи и устраивайся, как можешь. Длинный коридор, по бокам каморки, похожие на открытые стойла и набитые спящими людьми, через которых нам приходилось перешагивать. На нас смотрели далеко не ангельские лица...

Только наш проводник подмел пол, на котором мы собирались расстелить спальные мешки, как снова появился врио шерифа, и на этот раз его широкое лицо освещала добродушная улыбка. Зуб прошел. Если Мишель отдаст ему остаток лекарства, нам принесут из дома шерифа три кровати!

Мы уснули с накомарниками и пистолетами под подушками. Всю ночь во мраке ходили крадучись какие-то неизвестные, и несколько раз я слышал над ухом чье-то дыхание.

На другой день я впервые в жизни увидел папирусную лодку. Она плавно прошла мимо меня по зеркальной глади заколдованного озера, которое за ночь уже успело изменить свой вид. Когда мы приехали накануне, прямо напротив сарая темнел большой низкий остров, теперь он бесследно исчез, зато появилось сразу три других острова. Меньший из них у меня на глазах скользил вправо, и за ним даже тянулось что-то вроде кильватерной струи. Он напоминал аранжированную искусной рукой цветочную корзину с толстым букетом пушистых золотых соцветий — посередине длинные цветки, по краям стебли покороче, изящно склоненные над голубой водой, отражающей нежные желтые метелки и зеленые цветоножки. А рядом, легко обгоняя эту цветочную корзину, уверенно шла папирусная лодка с двумя неграми в белых тогах. Они стояли прямо, как оловянные солдатики, работая длинными жестами. Желтая лодка и стройные негры тоже отражались в озере, и опрокинутая картинка напомнила мне про другие камышовые лодки, которые и впрямь плыли вверх ногами по отношению к нам на про-

тивоположном конце земного шара, на озере Титикака в Южной Америке. Причем лодки Титикаки так похожи на чадские, что вполне могли бы выступить в роли зеркального отражения.

Я жаждал сам походить на такой лодке и узнать, как их делают. Ведь мало просто связать вместе папирус, как бог на душу положит, надо знать секрет, чтобы получилась нужная форма.

Шериф устроил нам торжественную аудиенцию у султана М'Буду М'Баи, местного религиозного главы и самого могущественного человека на много километров вокруг. Сам шериф и его заместитель были южные негры, присланные из Форт-Лами для охраны политических интересов христианского правительства, а султан из местного племени будума опирался на мусульманское население области. Султан очень заинтересовался, когда услышал, что мы хотим научиться делать папирусные лодки. И направил нас к своему родственнику, статному негру по имени Умар М'Булу, который жил в одной из конусовидных соломенных хижин квартала будума.

Бритоголовый Умар был черный, как печная труба, высокий и стройный, с сверкающими в улыбке глазами и большими зубами. Кроме родного языка, он говорил на арабском, голос у него был приветливый и негромкий, и, разговаривая, он почти все время улыбался. Рыбак по профессии, он не стал мешкать ни минуты, когда Баба, обратившись к нему по-арабски, попросил его связать лодку из папируса. Выдернул из стены своей хижины длинный нож-мачете, забросил на плечо полу голубой тоги и зашагал впереди нас к озеру. Вот он нагнулся, и под черной кожей заиграли мышцы, когда длинный нож стал подсекать высокий папирус у самого корня. Один за другим ложились на край трясины длинные мягкие стебли. К Умару присоединился добровольный помощник, его сводный брат Мусса Булуми. Он был постарше, поменьше ростом, тоже бритоголовый, однако без королевской осанки Умара. Мусса знал лишь язык будума, но одинаково весело улыбался, когда Баба обращался к нему по-арабски, Мишель — по-французски, Джаанфранко — по-итальянски или я — по-норвежски. И он еще проворнее Умара косил осоку.

Заготовив большие охапки зеленого папируса, их оттащили от воды и сложили на земле. Предстоял урок вязки лодок.

Поблизости стояли две большие папирусные лодки, человек на двенадцать. Мы начертили на песке лодку поменьше, метра на четыре, чтобы можно было погрузить ее на крышу «джипа». На помощь были призваны еще два соплеменника Умара и Муссы. Они сели на песок под деревом и принялись соскребать мякоть с кожистых листьев пальмы дум. Тугие белые жилки разделялись при этом на тонкие нити, из этих нитей между ладонью и бедром скручивали веревочки, а из веревочек потом сплетали толстые веревки. И вот уже Умар и Мусса начали вязку; остальные двое едва поспевали снабжать их веревками.

Длина стеблей была два метра с лишком, толщина у корня — четыре-пять сантиметров. В разрезе папирус представляет треугольник с закругленными углами; он не пустотелый и не коленчатый, как бамбук, сплошной стебель состоит из напоминающей белый пенопласт губчатой массы, обтянутой гладкой кожей.

Для начала Умар взял стебель и расщепил его вдоль на четыре части, но не до конца. В развилке он всунул комлем вперед четыре целых стебля и продолжал затем вставлять между ними все новые стебли; получалась утолщающаяся сигара. Стебли туго-натуго перевязывали веревками; Умар и Мусса, держа в зубах каждый свой конец петли, затягивали ее руками и зубами, так что мышцы на руках и шее вздувались черными буграми. Очевидно, нужно было сжать губчатый срез стеблей так плотно, чтобы закрылись все поры. Достигнув в толщину примерно полуметра, конус переходил в ровный цилиндр; получился этаким огромный карандаш. Его положили острым концом на чурбан, и мастера стали прыгать по снопу и притаптывать его, пока он не изогнулся вроде слоновьего бивня. Так была придана нужная форма носу, после этого первый конус нарастили с боков еще двумя, покороче, причем привязывали стебли по одному, так что все три конуса были очень плотно сращены между собой.

Когда лодка достигла в длину черты, которую мы провели на земле, она, по сути дела, была готова и представляла собой вполне симметричную конструкцию, кроме кормы, где папирус торчал, как прутья в метле; при желании ее можно было бы наращивать до бесконечности. Проблему с кормой Умар и Мусса решили простейшим способом. Взяли нож подлиннее и отсекли все лишнее, как обрезают горбушку у колбасы. После чего папирусная лодка с загнутым вверх острым носом и широкой обрубленной кормой была готова к спуску на воду. Строители управились с работой в один день.

— Ка дай, — улыбнулся Мусса и погладил готовое творение своих рук.

Так будума называют лодку, которая с незапамятных времен составляет как бы основу их жизни, неразрывно связанной с озером. Никто не знает, когда и у кого они научились ее строить. Может быть, сами додумались. А может быть, их далекие предки пришли караванными тропами из долины Нила.

Я уже приготовился прыгнуть на нашу ка дай, которая лежала на воде кривым зеленым огурцом, когда увидел Абдулла. Это была моя первая встреча с ним. В самую нужную минуту он явился вдруг, как дух из лампы Аладдина.

— Бонжур, мсье, — поздоровался он. — Меня зовут Абдулла, я говорю по-французски и по-арабски. Вам не нужен переводчик?

Конечно, нужен! Разве я без перевода узнаю что-нибудь толком от Умара и Муссы, когда мы выйдем троим на озеро на нашем плодовоощном изделии?

Завернутый в длинную белую тогу, с осанкой Цезаря, Абдулла держался очень деликатно. Голова у него была так же гладко выбрита, как у Умара и Муссы, лицо — чернее ночи, со лба на нос спускался длинный шрам. Впрочем, этот знак племенной принадлежности производил скорее приятное, чем отталкивающее впечатление. Добавьте живые умные глаза, постоянно изогнутые в искренной улыбке губы и ровный ряд белых зубов, которые то и дело обнажались в радостном смехе. Сразу видно неподдельного сына природы, внимательного помощника и веселого товарища. Абдулла Джибрин уже достал откуда-то два грубо обтесанных двойных весла и подал мне одно из них. Под жужжание кинокамеры, увековечивающей итог эксперимента, мы один за другим заняли места на узкой папирусной лодке.

Мы слышали в Боле, что иногда из папируса вяжут лодки, способные взять и сорок тонн груза и больше. По словам Муссы, он однажды помогал строить ка дай, на которой перевезли через озеро восемьдесят голов скота. А еще была ка дай, так на ней поместилось сразу двести человек.

Как ни неправдоподобно звучали все эти рассказы о грузоподъемности ка дай, я готов был поверить в них, очутившись сам вместе с Муссой, Умаром и Абдуллой на наскоро связанной по моей просьбе лодчонке. Совсем узкая, хоть верхом садись, она тем не менее не прогибалась у нас под ногами и шла очень устойчиво, с осадкой не больше, чем у резиновой надувной лодки.

Мы целый день ходили на веслах между папирусными островками и не могли на них налюбоваться. Одолжив ка дай покрупнее, которая была причалена рядом с долбленками, нас догнали мои товарищи. Потом подошли рыбаки на двух лодках, и мы принялись ставить сеть, глядя, как кругом плещутся огромные рыбы капитен. Но вот и вечер, кончился мой первый день на борту папирусного судна.

Жаркая, темная, безлунная тропическая ночь, заманчиво мерцают далекие звезды... Тишина, только звенят цикады да в осоке квакают полчища лягушек. Пустыня мертва, словно нет ее, нет и селения, — кануло в ночной мрак.

Мы приобрели немало добрых друзей в Боле и с удовольствием проводили дни на папирусных лодках на озере. Так прошла неделя. Но вот в воздухе над плавающими островами раздался гул мотора, маленький самолет прошел бреющим полетом над папирусом, развернулся над самыми крышами Бола и сел на ровной песчаной дорожке. Через минуту мы уже здоровались с французским летчиком. Он был готов тотчас лететь обратно, забрав нас троих, но киноаппаратуру его самолетик осилить не мог, только по чемоданчику с одеждой на каждого. Связанную для нас папирусную лодку мы примостили на крыше одного «джипа», все остальное снаряжение погрузили во вторую, к Бабе. Султан и шериф заверили нас, что без бледнолицых чужеземцев шоферы могут ехать через пустыню спокойно, на них никто не нападет.

Последними с нами простились лодочные мастера Умар и Мусса и переводчик Абдулла Джибрин. Шериф и султан с явным удовольствием сказали «да», когда я спросил, можно ли братьям приехать ко мне в гости в Египет, если мне понадобятся специалисты строить папирусную лодку. Абдулла перевел мой вопрос с французского на арабский для Умара, Умар — с арабского на язык будума для Муссы, и братья восторженно подтвердили свое согласие, смеясь, кивая и пожимая мне руку двумя руками.

— Они согласны, — торжественно сообщил Абдулла, — а я поеду переводчиком!

Глава 5

СРЕДИ ЧЕРНЫХ МОНАХОВ В ИСТОКАХ НИЛА. ЗА ПАПИРУСОМ В ЭФИОПИЮ

Чтобы связать лодку из осоки, нужна осока. Мне нужна была не простая осока—папирус. Где он есть? На озере Чад. Но сердце Африки не связано с внешним миром никакими артериями: ни рекой, ни шоссе, ни железной дорогой. Самолет? На нем можно вывезти мастеров, но не вывезешь столько папируса, сколько надо для большой ладьи.

В Египте? Ну, конечно же. На каменных стенах гробницы фараона нарисованы лодки из осоки. Камень и осока. Камень в пустыне, осока по берегам Нила. Природа даровала древнейшим жителям Нильского поречья камень и папирус. Да еще ил с Эфиопских гор, который откладывался на берегах реки. Ил кормил крестьянина, из осоки рыбак вязал себе лодку, камень нужен был фараону, беспокоившемуся о своей загробной жизни. На бумаге из осоки — папируса ученые-египтяне записывали события древнейшей истории человечества. На папирусе перевозили камень, на камне увековечивали папирусную лодку. Цветок папируса—обычный мотив в искусстве Древнего Египта. Он служил государственным знаком Верхнего Египта, и в одном из мифов птичеловек Гор, сын солнечного бога Ра, связывает его вместе с цветком лотоса Нижнего Египта, объединяя весь Египет в одно царство.

Когда фараону нужна была лодка, задача решалась просто. К его услугам были вооруженные многовековым опытом искуснейшие корабельщики, которые знали все о папирусе и папирусных ладьях, он имел сколько угодно рабочих рук, и строительный материал рос в изобилии прямо у ворот его дворца. Заросли папируса тянулись по обоим берегам Нила на десятки километров от Средиземного моря на юг, в глубину страны.

Но так было при фараонах.

Папирус перевелся в Египте еще в прошлом веке. Никто не знает, почему. Боги забрали обратно один из своих древних даров, буквально выдернули его с корнем. Камень есть — остались горы, остались пирамиды, но ила тоже поубавилось с появлением плотин. И вместе с папирусом с берегов Нила исчез последний египтянин, который владел искусством строить папирусные лодки.

Однако Нил велик. Он тянется на юг через Египет и Судан до своих истоков в Уганде и Эфиопии. И вот там-то, по берегам озер в его верховьях, папирус уцелел. Я слышал даже, будто бы он там растет так же пышно, как на озере Чад.

Должно быть, древние любили странствовать по свету; ведь многие из фараонов, правивших Египтом, родились в далекой Эфиопии, где начинается Голубой Нил. Но в средние века нильский путь был забыт, и легенда помещала истоки великой реки в таинственных, неведомых Лунных горах. Лишь после того как европейцы во времена Колумба тоже пустились в странствия, итальянцы и португальцы вновь открыли верховья Нила. И люди нашей эпохи узнали, что Голубой Нил вытекает из озера Тана, лежащего высоко в горах Эфиопии.

...Рейсовый самолет доставил нас в Аддис-Абебу, столицу древнего королевства, расположенную на

высоте 3 тысяч метров над уровнем моря, посреди зеленого нагорья с россыпью желтых цветов.

Моим спутником был начинающий кинооператор итальянец Тоси, худой и такой долговязый, что мы насилу втиснули его в маленький самолет местной линии, который ходит на озеро Тана. И вот уже нас трясет на воздушных ухабах над зелеными холмами Эфиопии. Внизу на склонах и вершинах жались в кучу живописные круглые соломенные хижины. Долго ландшафт напоминал волнистую, всех оттенков зеленую площадку для игры в гольф. Потом пошли изобретенные ущельями горы. На дне глубоких диких каньонов пенились белые ручьи. А вот и верхнее течение Нила—красно-бурая лента на дне судорожно извивающейся теснины между обрывистыми скалами. Эти извивы были словно рисуночное письмо самой природы, повествующее о том, как древняя река в союзе с всемогущим временем тысячами вгрызалась в горный массив, выплевывая пережеванные ею скалы Эфиопии в виде миллионов тонн ила на засушливые равнины Судана и Египта. С незапамятных времен Нил без устали перемалывает горы Эфиопии в удобрение для полей Египта.

Мы приземлились в Бахар-Даре. Вот они, мифические Лунные горы, вот начало реки, и серебряная с чернью гладь озера Тана отражает вечерние тучки, контуры гор и макушки деревьев. В заливе что-то двигалось, словно какие-то животные с загнутым вверх хвостом беззвучно пересекали серебристую дорожку. Нырнул в тень — пропадут, выйдут опять на отливающий серебром клин — отчетливо видны длинные силуэты. Я насчитал шесть силуэтов; шесть папирусных лодок бесшумно скользили по воде там, где два лесистых мыса сдавливают озеро Тана и начинается поток, который медленно катится к водопаду Тиссисат.

В каждой лодке сидели люди — один, два, три — и гребли тонкими шестами, как двухлопастным веслом. Может быть, они ловили рыбу в протоке, а может быть, просто тешились на досуге, бороздя тихие струи, с которых начинается Нил.

Лунные горы. Горы, вздымающиеся к луне. Так рисовался здешний край путешественникам средневековья, карабкавшимся вверх с берегов Красного моря или египетских равнин. Озеро Тана лежит на высоте 1 800 метров над уровнем моря, а горы кругом достигают 3—4 тысяч метров. Озеро большое: с одного берега другой не виден. На нем нашли себе приют черные монахи. Лесистые острова стали их обителью, и сотни лет только папирусная лодка связывает их с внешним миром.

Хотя уже смеркалось, я даже на таком расстоянии рассмотрел интересную особенность здешних лодок. Если у какай на уединенном озере Чад корма обрезают прямо и только нос загнут вверх красивой дугой, то папирусная лодка, дожившая до наших дней в истоках Нила, сохранила исконную египетскую форму. Не только нос, но и корма изогнута вверх, причем ахтерштевень еще загибается внутрь, образуя характерный древнеегипетский завиток.

Краешек тропического солнца провалился за далекие лесные кроны, и свет медленно померк, как в кинозале. Горы и озеро, скрывшись во тьме, растворились во времени. Теплый ночной ветерок принес сладкий запах благовоний и веяние нетленных тайн — дыхание островов, где календарь застыл на месте, где в наши дни живо средневековье, лелеемое и берегаемое монахами.

Хотя на островах высятся могучие деревья, монахи по сей день не делают ни долбленок, ни дощанок. Предки провели папирусную лодку из седой древности в средневековье, потомки спокойно ведут ее

дальше, в атомный век. Вот мы и приехали к ним за наукой — им ли не знать, как вяжут папирусные лодки и где можно найти нужное нам количество папируса!

Откуда пришли учителя черных монахов? Древние народы, обитавшие в разных концах Нила, делились друг с другом не только папирусными лодками и фараонами. Зарождающееся христианство проникло в Эфиопию из Египта за тысячу лет до того, как в спячке средневековья заглохли естественные связи между равнинами в устье Нила и нагорьем в его истоках. Уже около 330 года, задолго до прихода христианского учения на север Европы, в Эфиопии распространилась коптская вера. Первые христиане поселились севернее озера Тана, в древнем королевстве Аксум, высоко в эфиопских горах. Позже многие из них бежали от преследований на юг, на затерявшиеся в просторах озер Тана и Звай острова. Черные монахи, нашедшие убежище на Танае, живут там уже семьсот лет, а преемственность обеспечивают, привозя на своих папирусных лодках молодежь с побережья.

Чтобы познакомиться с монахами и разведать участки папируса, мы взяли напрокат железную моторку с папирусной лодчонкой на буксире. Один предпримчивый итальянец привез две таких моторки на Тану и конкурировал с ладьями из осоки, забирая зерно на мелких пристанях и доставляя его на два центральных базара в северной и южной частях озера.

Густой лес покрывал откосы первого острова, к которому мы подошли, корни деревьев переплелись даже в воде. Мы протиснулись к суше на папирусной лодчонке и прыгнули на берег под сень листвы. Между стволами начиналась узкая тропка; здесь стояли два монаха, словно поджидали нас. В длинных облачениях, с опущенным клобуком, босые, с темно-коричневой кожей, черными бородами, придерживая рукой коптский крест на груди, они молча поклонились и учтивым жестом указали нам путь к стоящей наверху часовне.

У солнечной стены сушились поставленные на ребро папирусные лодки, лежали снопы сухого папируса. Часовня стояла в высшей точке острова, с виду такая же, как разбросанные по откосу скромные лачуги монахов, только размером побольше. Круглая постройка из жердей под толстой соломенной крышей конусом.

Раздались низкие мелодичные звуки гонга — подвешенной каменной плиты, по которой колотили дубинкой, — и к часовне потянулись монахи. Красивые, статные люди, как большинство эфиопов: темная кожа, чеканное лицо, орлиный нос, острая черная борода, — но были и апатичные, изможденные.

Нас приняли, как желанных гостей; можно было надеяться, что мы здесь получим важные сведения. Два старика в чалмах приволокли похожие на бочонки барабаны и, колотя по ним руками, затащили надтреснутыми голосами диковинные церковные песни, явно унаследованные от древнейших эфиопских христиан. Должно быть, так же пели учредители их церкви, когда пришли сюда из королевства Аксум.

Остров называется Ковран Гавриил, и архангел Гавриил богатырского роста, с мечом в руке встретил нас, когда монахи предложили нам войти в их часовню с соломенной крышей. Его изображение, обрамленное многокрасочными библейскими сценами, украшало своего рода алтарь, который занимал всю среднюю часть часовни от пола до потолка, оставляя круговой проход вдоль стен с выходами на все стороны. По этому принципу устроены все коптские церкви на озере Тана.

Я быстро выведал у монахов то немногое, что они могли рассказать о плавучести папируса. Хотя для этих островитян папирусная лодка — то же, что для жителя пустыни лошадь и верблюд, никто из них не пользовался ею больше одного дня подряд. Походят день — непременно вытасят на берег и поставят ее сушиться, не то очень сильно намокнет. А намокший папирус хоть и не тонет, но грузоподъемность совсем не та. Чем больше лодка, тем дольше она сохраняет плавучесть, но чересчур большие делать нет смысла: слишком тяжело вытаскивать из воды и сушить.

Да, не густо.

Следующий остров назывался Нарга. Он был плоский, с осокой в мелких заливах, но эта осока была нужна самим монахам для пополнения своего флота. Они объяснили, что папирус как-никак гниет; сколько ни просушивай лодки, раз в год приходится вязать новые.

Мы поспешили к соседнему острову, Дага Стефано, чьи лесистые взгорья высоко вздымаются над водой. Это самый священный остров на всем озере, до того священный, что ни одной женщине, будь она хоть царица, не дозволяется сходить здесь на берег.

Пишная растительность делает Дага Стефано очень красивым. В высшей точке острова между древесными кронами мы различили соломенную крышу с крестом. У единственного причала стоял оборванный монах с явными признаками слоновой болезни; к деревьям позади него были прислонены маленькие папирусные лодки. Волнуясь, мы ступили на священные камни: что последует? Но монах позволил нам осмотреть лодки и не стал нас останавливать, когда мы пошли по широкой тропе вверх. Могучие деревья, соломенные лачуги, монахи... Немые поклоны, рот бормочет молитву, рука придерживает маленький крест... Папирус? Они дружно показали через озеро. Вон там. Там его сколько угодно. Они сами его там берут. Сколько держится на воде? Восемь дней. От силы две недели. К тому времени он, если не затонет под тяжестью груза, все равно сгниет и развалится на волне. Папирус надо сушить. Вытаскивать лодки на берег.

Больше они ничего не могли нам сказать.

В общем, визит к монахам нас огорчил. Послушать их, так главное — делать папирусную лодку поменьше, чтобы легче было вытаскивать ее на берег и просушивать.

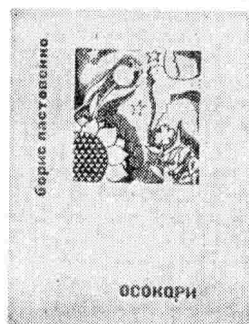
Не очень-то это подходит для Атлантического океана...

Наиболее обычная для Таны разъемная лодка на двух и больше гребцов называется *танкуа*. Ее корпус настолько тонок, что она извивается на малой волне, будто змея. Но хотя *танкуа* больше похожи на лодки Древнего Египта, чем чадская *кадаи*, они уступают ей в прочности.

Здесь, на Танае, все считали, что две недели — крайний срок, после которого *танкуа*, пропитавшись водой, неизбежно развалится.

Отсюда напрашивалось решение: взять папирус с озера Тана, строителей — с озера Чад, а образец для задуманной мной реконструкции — с древнеегипетских фресок.

(Продолжение — в журнале «Юность» № 4.)



Более тридцати имен. Некоторые известны всем. Иные — лишь сравнительно узкому кругу. Но собраны они воедино в сборнике «Молодые герои», вышедшем в серии «Жизнь замечательных людей». И это вполне закономерно: замечательны не только подвиги, совершенные этими юно-

шами и девушками в годы Великой Отечественной, но и весь их жизненный облик.

«Был он молод, и не было на нем порока с головы до пят» — эти слова летописца о павшем в бою при Калке Данииле вспомнил Леонид Леонов, рассказывая о семнадцатилетнем сыне народного учителя

Володе Куриленко, мечтателе и фантазере, ставшем организатором партизанского отряда на Смоленщине. Буйное, смелое, жадное на впечатления детство знаменитейшего снайпера Людмилы Павличенко описал Борис Лавренев, и мы видим, как сильный, страстный и неприрученный характер «несносной и озорной девчонки» проявляется в дни боев за Одессу и Севастополь. Неприметной была «маленькая, не окрепшая в жизненных тревогах» ленинградка Женя Стасюк. Николай Тихонов показал, каким бывает в жизни человек в миг вдохновения. Миг, когда хромая, слабая, по существу беззащитная, девушка стала «мудрой, неумолимой, беспощадной и страшно гордой».

По страницам проходят герои, мертвые и живые. Подвиг Девятаева, последние дни Всеволода Багрицкого, Тимур Фрунзе, Иван Кожедуб, Рубен Ибаррури... Наряду с очерками военных лет собраны материалы, раскрывающие неизвестные ранее эпизоды и события.

Нужное и доброе дело — выпуск этой книги. Думается, что в серии «ЖЗЛ» следовало бы найти место также сборнику, посвященному молодым героям гражданской войны. Давно нужна такая книга.

Лев ГУРВИЧ

«**Ж**изнь идет своей дорогой. Жизнь еще никогда не оставалась. Она стоит того, чтобы быть прожитой».

Читая книгу Александры Тверитиновой («Париж — негорелое», Ленинград), думаешь об этих заключительных ее словах: «Стоит того...»

Книга эта о Париже 1930—1944 годов. О юности, о партии коммунистов, о бесстрашии. И о любви.

Латинский квартал, бурлящий, веселый, чуть тревожный. Героиня, русская девушка Марина, со своими сверстниками — в самой гуще этого бурлящего потока. Сначала просто пирушки в кабачке «У монаха-расстриги», споры о напечатанных статьях, о Чехове, о жизни и о политике.

Между этими спорами мечется русская студентка, посланная бабушкой в Сорбонну из города Аккермана, входившего тогда в состав Румынии. Ей, разумеется, стыдно,

что в Париже о Чехове говорят, как о близком писателе, а она, русская, едва его знает. Раньше в семье некому было руководить ее познаниями. Девушке живется плохо, денег, посылаемых бабушкой, не хватает на жизнь. Нужно работать. И она бросает Сорбонну, поступает лаборанткой в лабораторию медицинских анализов. Здесь познает Марина смысл классовой борьбы.

На ее пути встречается русский, член ФКП, Вадим Андреевич. Любовь и борьба слиты воедино в первой части книги. И — конечная цель — возвращение на Родину. Это удается пока что только Вадиму.

А дальше... «Год тыща — девятьсот сороковой». «Говорят, генерал Вейган не подпустит немцев к Парижу...» Но немцы в Париже. И французские коммунисты, рядом с которыми и Марина, составляют ядро того героического явления в истории страны, которое зовется Сопротивлением. Однако участь многих — Роменвиль или Равенсбрюк...

Вторая часть этой яркой, горячей книги имеет форму дневниковых записей. Иногда отрывочных, иногда развернутых. В них проходит история французского Сопротивления.

Узница Роменвиля, Александра Тверитинова пишет о времени, проведенном в форте Роменвиль. Сведения о победах на русских фронтах просачиваются сквозь заграждения форты и помогают узникам в их упорном сопротивлении фашизму.

Славную, героическую страницу жизни рядовых французских коммунистов открывает нам книга А. Тверитиновой, такая скорбная и поэтичная. Поэтичная потому, что герои ее свято верили в победу великой идеи, которой они служили преданно и верно.

Лидия ФОМЕНКО

Виктор Соснора не перелагает древнерусские литературные памятники стихами, а пишет несколько циклов по мотивам «Повести временных лет», «Задонщины», «Слова о полку Игореве». Поэт посвящает два цикла стихотворений Бояну, легендарному предшественнику автора «Слова», сочиняет его биографию и судьбу и «приписывает» ему свои «песни». Древнерусская культура для Сос-

норы даже не арсенал сюжетов и образов, а скорее толчок, вдохновение. Древняя история, густо замешанная со сказкой, дает ему возможность словесных поисков и еще — раздвигает метафорические возможности стиха. Он свободен в сюжете, в его трактовке, точнее, в его пересоздании, он верен не букве, а духу: древнерусскую речь он скрепляет с переживаниями современного человека.

Из трех вышедших у Сосноры книг последняя выглядит куда более цельно, чем предыдущие: в ней объединены только древнерусские стихи, и талант Сосноры предстает с наиболее сильной стороны (Виктор Соснора «Всадники». Лениздат). Книгу предваряет предисловие академика Д. Лихачева, в котором известный исследователь древнерусской литературы пишет о «поразительных совпадениях» стихов Сосноры с выводами, сделанными историком Б. А. Романовым в книге «Люди и нравы Древней Руси».

Это — важное наблюдение. Дело в том, что одно время в нашей журналистике обозначилось поверхностное, туристское, приглаженное отношение к нашей древней культуре и истории. У Сосноры нет описаний древнерусских храмов, он пытается понять родную историю, взглянув на нее не извне, а изнутри. Соснора своими стихами разрушает не только прежнее древнерусские идиоллы — оперные, живописные, стихотворные (Д. Лихачев противопоставляет стихи Сосноры штампам и трафаретам, созданным в свое время А. К. Толстым), но и современные стилизации. По иконам Андрея Рублева или росписям Дионисия в Ферапонтовом монастыре можно судить о высших проявлениях духовности на Руси, а не о ее нарядном существовании. Русь у Сосноры грубее, но и объемнее, в ней больше жестокости, но и соответственно — исторической правды.

Раньше в стихах Сосноры мне часто не хватало его собственных, современных переживаний. На страницах «Юности» я даже, говоря об одном его «двойном» стихотворении, упрекнул поэта в том, что первая древнерусская часть этого стихотворения подготовила и требовала столь же глубокого осмысления современности, которого, однако, не оказалось. В книге «Всадники» Соснора приводит это стихотворение в новой редакции: в нем он связы-

вает свой интерес к Древней Руси с современностью, пишет о тревожных азах, которые мы прошли в своей судьбе студеной, о доверии, о родине, о любви. В новой книге Виктора Сосноры иначе звучат даже его старые стихи: каждое из них приобретает словно дополнительное освещение. И в целом «древнерусская» книга Сосноры оказывается глубоким и тревожным раздумьем о современности — об истории, о времени и о человеке.

Владимир СОЛОВЬЕВ

Эта книга такая тоненькая, что в ней нету даже одного печатного листа, а только ноль целых девятно семь сотых («Осокоры». Лирика). Чуть больше тридцати страничек. Чуть меньше тридцати стихотворений. Однако издательство «Донбасс» не поспешило с изданием первой книги двадцатидвухлетнего автора. Голос, который мы услышали, может быть, и слабый, и ломкий, и непостоянный, но очень чистый.

Я знаю степь: темно и глухо,
лишь звезд холодных благодать!
Под теплое воловье брюхо

я попросился ночевать.
Мне было все равно тогда:
до хаты — километров восемь,
а рано начались в ту осень
предутренние холода.

Шатался по низинам пар,
шуршало подо мною сено,
и, согреваясь постепенно,
я постепенно засыпал...

Дрались за скирдами сычи,
а рядом, под горячей шерстью,
устало бухало в ночи
тяжелое воловье сердце.

Исполненный дерзости, поэт Борис Ластовенко описывает чеховскую степь после прозаика Антона Чехова. Отдадим же справедливость поэту: ему удалось найти новые слова. Более того, позиция у него совсем другая. Кажется, что стихотворение написал чеховский герой мальчик Егорушка, немного повзрослевший, но сохранивший детскую непосредственность восприятия, а точнее, притя жизни.

Приведенное стихотворение — лучшее в книге. И это не случайная удача. Точно наблюденное, талантливо увиденное и услышанное, пусть еще не обдуманное, но уже прочувствованное высказывает едва ли не из всех стихотворений, словно окуни из плесов, омывающих берега родного села Ластовенно, несущего имя Старомайорска.

В тех местах незаселенные черноземные степи и богатые каменным углем недра издавна привлекали поселенцев со всех концов России. Говорят там на сложной смеси русского и украинского языков, непочтительно именуемой «суржиком». Даже на названиях книги «Осокоры» с равной уверенностью претендует и словарь Даля и знаменитый украинский словарь Бориса Гринченко. Впрочем, оба словаря утверждают, что «осокорь» — это просто тополь.

В прозе донбасский говор увенчал Фадеев в «Молодой гвардии». Следует отметить, что книга Ластовенно написана чистым и звонким русским языком. Иной раз даже пожалеешь, что в ней так мало украинских языковых красок, украинских речений.

Прочитаем еще одно стихотворение, также не названное:

Я вспомнил о тебе —
и тут же сразу вспомнил
шестерку лебедей,
взлетающую в

полночь.
Отыскивая юг,
крыльями режут
воздух,
то открывая вдруг,
то закрывая звезды.
Глазами не найдешь:
растаяли, пропали, —
а ты стоишь, и ждешь,
и шевелишь губами.

Только подлинный поэт мог увидеть в полночи шестерку лебедей, взлетающую, «то открывая вдруг, то закрывая звезды».

Биография Ластовенко так проста, что в предисловии ей уделено менее четырех строчек. Он родился и вырос на селе. После окончания школы работал в колхозе. Теперь он студент Литературного института имени Горького.

Борис СЛУЦКИЙ

сидел и в тот вечер, когда в Мехико бразильцы встретились в финале с итальянцами. Ты не сдержал восторга, когда Пеле головой легко и изящно послал мяч в ворота Альбертози, когда с подачи Пеле забили голы Жаирзиньо и Карлос Альберто...

Чемпионат мира в Мексике давно закончился, но ты продолжаешь спорить с друзьями: почему бразильцы после горькой неудачи 1966 года снова (в третий раз!) стали чемпионами мира по футболу?

Книга И. Фесуненко «Пеле, Гарринча, футбол...» (изд-во «Физкультура и спорт») даст тебе ответ на этот вопрос. Ни в одной стране мира футбол не пользуется столь горячей, столь страстной любовью, как в Бразилии. Нет в Бразилии человека, который не знал бы правил футбола и не пытался бы играть сам. Даже в тюрьмах разыгрываются матчи между заключенными блоками и этажей. В 1969 году в Порту-Алегри старики (самому младшему было 50 лет) устроили матч ветеранов. Старики поработали на славу: счет 3:3!

А бесчисленные стадионы? А возможность играть круглый год? Все это объясняет, почему именно в Бразилии столько футбольных талантов, почему никому не известный 17-летний парнишка Пеле в 1958 году на чемпионате мира в Швеции неожиданно стал непревзойденной «звездой», а хромоногий Гарринча поразил мир феноменальными приемами обводки, финта, точностью паса и удара по воротам...

Игорь Фесуненко, корреспондент Всесоюзного радио Южной Америки, хорошо знает Пеле и Гарринчу, сообщает интересные подробности их спортивной жизни. Пеле и Гарринча — проявление души бразильского народа, его талантливости, его гения...

Но бразильский футбол опутан сетями наживы, продажности, бесправия. И. Фесуненко разоблачает бразильских футбольных дельцов, губящих своей алчностью талант, мешающих развитию спорта.

Прогрессивный бразильский журналист и тренер Ж. Салданья в предисловии к книге Игоря Фесуненко справедливо надеется, что «она будет пользоваться заслуженным успехом».

Валентин ГАВРИЛИЧЕВ

г. Донецк.

Ты любишь гонять на школьном стадионе футбольный мяч. Ты любишь сидеть у телевизора, когда транслируется очередной матч. Ты, конечно,

ВИКТОР
ШИКАН



Человек и планеты

Представьте себя школьником, нет, гимназистом, увлекшимся астрономией, а следовательно, конструированием самодельных телескопов, ибо гимназисту, выражаясь звездным языком, не светит припасть к окуляру всамделишного инструмента. Вообразите, что вы раздобыли кусок медной трубы, из которой делают корпуса самоваров, и втерлись в доверие к проживающему в вашем дворе слесарю, который работает в мастерской по ремонту примусов, где есть выбракованный на заводе токарный станок. И слесарь после работы оставил вас в этой мастерской, чтобы вы при свете керосиновой лампы нарезали на своей трубе резьбу и изготовили тубус. Сделайте усилие и нарисуйте себе картину: день за днем вы шлифуете вручную параболические зеркала для своего телескопа, не имея возможности проверить точность работы на контрольном приспособлении и потому на всякий случай прибавляя еще и еще, чтобы телескоп «хорошо видел».

Не так уж трудно, наверное, прочувствовать радость, которую испытал гимназист, впервые направив свое сооружение на ночное небо. Он увидел оттененные косыми лучами Солнца лунные кратеры, и расходящиеся от одного из них загадочные светлые лучи, которые и по сейчас остаются загадочными, и знакомое по журнальным картинкам Море Спокойствия, и узкий серп Венеры, казавшейся раньше обычной звездой, и кольца Сатурна, и звезды, настолько далекие, что они так и остаются точками и останутся ими в любом настоящем телескопе, вот только Кастор видится двойной звездой — одна красноватая, другая голубоватая; обращаются они вокруг общего центра тяжести, но заметить их вращение — гимназист знает — можно только в течение столетий. Впрочем, вся жизнь у гимназиста впереди, никакого предела ей нет, и надо на всякий случай зафиксировать расположение двух половинок системы, чтобы сравнить это наблюдение с последующим, лет этак через сто двадцать. А пока лучше заняться ближайшими планетами, хотя бы Марсом, понаблюдать за ним месяц-другой, старательно отмечая в журнале все замеченные изменения: дотошность и скрупулезность — обязательные качества астронома, — это гимназист тоже знает.

И если уж воображать дальше, то представьте себе чувства гимназиста, которому почтальон приносит толстую бандероль с адресом, написанным по-французски: это номер парижского астрономического журнала с его статьей о Марсе. О том, что он

прибавил к земному знанию об этой планете. Посылая статью в журнал, он, наверное, втайне стыдился своей дерзости и утешал себя тем, что редакция расположена слишком уж далеко, чтобы ему почувствовать ироническое отношение к скороспелым страницам. И вдруг вместо этого свежий номер журнала и приложенное к нему пожелание дальнейшего сотрудничества. Невероятно! Не каждый способен представить, что почувствовал тогда гимназист, но ясно одно: после этого оторваться от астрономии уже невозможно. Великое счастье проводить ночи наедине с миром, знакомое каждому любителю астрономии, обернулось для него другой неожиданно важной стороной: космические мечтания, заземлившись, обрели реальность, и Млечный Путь вдруг предстал открытой дорогой, по которой можно идти к видимой и ясной цели всю жизнь.

Истинные увлечения зарождаются рано. Или, наоборот, зародившиеся рано истинны? Кто возьмется ответить на этот вопрос? Пока ты молод, философские обобщения делать преждевременно. Когда вырос, остается только то, что было настоящим, и невольно теряешь право быть судьей.

Я думал: а что, если бы случай толкнул юного Барабашова не к звездам, а, скажем, в до сих пор не познанный мир животных, или в архитектуру, которая каждый век рождается заново, или на сцену, где каждый вечер проходит целая жизнь? Смог бы он жить в этой другой профессии так же цельно и жадно? Думал, признаться, безрезультатно, потому что не мог представить его никем другим, кроме астронома. Тогда я спросил его самого: «А что, если бы случай?..»

Он понял меня не сразу: вопрос был поставлен, как выражаются математики, недостаточно корректно. А потом ответил кратко:

— Не знаю. Случая не было.

Не один год я был знаком с ним заочно. Как только происходил очередной космический запуск, или локация Луны, или в прессе появлялись сообщения о принятых радиотелескопами сигналах строгой периодичности (неужели из других цивилизаций?), в редакции говорили: «Организуйте комментарий Барабашова». Телефонистка связывала с Харьковом, с домашним номером Николая Павловича, он подходил к телефону и низким спокойным голосом, взвешивая и продумывая слова, но никогда не поправляясь, излагал свою точку зрения.

Поначалу мои вопросы сводились, в общем, к желанию разузнать: а есть ли жизнь на Марсе (Венере, Юпитере, Икаре)? Постепенно Барабашов привык к дисциплине, которая в его формулировке означала примерно следующее: не пытайся переиграть факты, впереди них нечего делать, но и не давай фактам обогнать себя. Коль уж так невтерпёж потоптаться там, где еще не ступал известный науке достоверный факт, звони Станиславу Лему, или Ефремову, или обоим братьям Стругацким одновременно; если же тебя интересует мнение ученого, помни, что самые смелые гипотезы из области науки стоят так, чтобы носки их не выступали за кромку фактической тверди. Все остальные относятся к фантастике.

На вопрос, допускает ли он существование внеземных цивилизаций, Барабашов отвечал, что на шесть звезд в среднем приходится одна планетная система; расчеты показывают, что в Галактике может быть по крайней мере несколько миллиардов планетных систем. Для возникновения жизни необходим сложный и тонкий комплекс условий, однако жизнь на иных планетах в принципе возможна, о чем неоспоримо свидетельствует наличие таковой на Земле, но не всякая жизнь означает цивилизацию.

Конечно, не исключено, что в течение миллиардов лет на планете, где зародилась жизнь, может появиться мыслящее население, вооруженное наукой и техникой, однако ниоткуда не следует, что это закономерность и что она вообще может существовать. С другой стороны, утверждать, что Земля и ее цивилизация — исключение, мы также не можем, в противном случае нам следовало бы каждое утро возносить хвалу Всевышнему, теряя время, отведенное для физзарядки.

Вопрос прояснялся настолько, что его приходилось вычеркивать из шпаргалки и переходить к следующему. Барабашов представлялся осторожным, быть может, даже сверх меры, ученым, который мыслит бесстрастно и строго. Ну что ж, решил я, такой у него склад ума, и кто сказал, что непременно нужно парить мыслью в небесах занимательности, чтобы стать доктором физико-математических наук, академиком Академии наук Украины, выдающимся планетологом, известным в научном мире одной из бесспорно существующих населенных планет?

Я ошибался. Позже пришлось убедиться, что всего, чего Барабашов достиг, пожалуй, и нельзя было бы сделать без такого, как у него, беспокойного, цепкого и последовательного воображения. Но, фантазируя, он держал себя в жестких рамках прямого соответствия фактам.

Лично познакомиться с Барабашовым выпало мне уже после того, как ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Барабашов был нездоров и принял меня дома. Он открыл сам, и после темного коридора передняя показалась особенно просторной. Барабашов живет в доме устаревшем, хотя и построенном не так давно. В его кабинете стоят большие шкафы, простые стулья и кресло с высокой плетеной спинкой, массивный письменный стол. Он усадил меня в кресло, а сам сел на стул, слегка склонясь в мою сторону, будто рассуждать предстояло мне, а ему — слушать. Но я уже знал, что это совсем по другой причине, что у него не хватает нескольких ребер после тяжелой операции, — он рассказал об этом еще в передней, извинившись, что не помогает раздеться.

Барабашов быстро перешел к делу. Главным делом у нас сразу оказалась фотоаппаратура. Барабашов достал из шкафа новинку — панорамный «Го-

ризонт» и похвалился им, и я ему позавидовал; потом показал альбом со снимками, сделанными «Горизонтом», и опять пришлось ему позавидовать — не только качеству самих снимков, но и удивительной методичности, с которой он осваивал возможности новой камеры. Снимки шли друг за другом, как ступеньки, — каждый лучше предыдущего то по свету, то по композиции, то по избранной точке съемки. Это был скорее отчет об исследовательской работе над аппаратом, чем альбом фотолюбителя. Завершался он замечательной панорамой леса, которую можно сделать только «Горизонтом» и только за много дней упрямого труда.

Но потом Барабашов показал мне свои телескопы, которые стояли на полу и на темных шкафах, и опять стал рассказывать о них профессионально, как о «Горизонте», но понимать его уже было труднее. Он сказал, что сам шлифовал зеркала, тогда их было не достать, да и не всегда имелись в природе такие, которые нужны. Да, ручная шлифовка оптики требует невероятного труда, точности и чутья, но так просто не представишь, что это за труд, и точность, и чутье. И не каждому известно, что самодельные приборы ценятся в обсерваториях подчас выше, чем серийные, потому что никакой завод, никакая промышленность не способны специализировать инструмент так, как это сделает сам астроном для своих целей. Получалось, что опыт, казалось бы, приобретенный по печальной необходимости одержимого любителя, органически вписался в деятельность профессионального ученого.

Барабашов сидел, склонясь в мою сторону, и даже в такой позе был замечен его высокий рост. Говорят, он мешает астрономам, когда приходится часами сидеть в неудобном положении, прижав к окуляру. Особенно если телескоп самодельный и не оснащен приспособлениями, обеспечивающими комфорт, а время наблюдений — 1918 год. Тогда Барабашов просиживал ночи под сквозняками дырявого купола университетской обсерватории, и топливный голод, от которого страдали все вокруг, для него не существовал (там, где установлен телескоп, все равно топить нельзя, иначе потоки теплого воздуха, поднимающиеся от купола, будут искажать изображение). А потом проявлял пластинки в проявителе, приготовленном на хлебной соде, другой торговли не знали. Он наблюдал Луну и Венеру, которыми тогда в России интересовались немногие. Революция приковала все устремления, поиски и судьбы к Земле, понимаемой в самом житейском, самом насущном смысле слова. Да впрочем, Барабашов тоже не составлял исключения, просто он так понимал свою планету. Ему ежедневно приходилось отвлекаться от астрономии для того, чтобы вмешаться в малые и большие события дня, напряженного дня революции, папахивающего отстрелянной гильзой и протукиваемого сбивчивым ритмом красноармейской подкованной обуви. Он просиживал часы на заседаниях всевозможных комитетов, хлопотал, чтобы прочесть лекцию для солдат, а ночами упрямо смотрел в телескоп, потому что наука для него тоже была революцией.

Барабашов вдруг прервал разговор — в кабинет вошел человек более важный, чем корреспондент, — и спросил этого человека:

— Кто главнее, папа или дед?

— Папа, — ответил человек, теребя от смущения клямку стола и пытаясь дотянуться до фотоальбома.

— Ну хорошо, допустим, — сказал Барабашов без особой уверенности. — А кто сильнее?

— Дед, — ответил человек с явным облегчением, ибо каждому становится легче, когда ему дают выход из неловкого положения. — Дай посмотреть кар-



Николай Павлович Барабашов.

тинки,— добавил человек и занялся своим делом на полу.

Под альбомом лежал знакомый снимок — кусочек панорамы лунной поверхности, сделанной космической станцией «Луна-9». Вот хорошо, теперь мы снова сможем перейти к фотографии, пусть даже к лунной. Но оказалось, что это была не панорама Луны, а снимок, сделанный много лет назад в лаборатории Барабашова. Он изучал закон отражения света от лунной поверхности и обратил внимание на то, что яркость лунного диска в полнолуние почти не убывает от центра к краям, хотя шаровидное тело должно выглядеть совсем иначе: пик яркости в одной точке и резкий спад ее к периферии. Между прочим, эту особенность давно подметили поэты: Пушкин сравнивал Луну с блином, другие — с колобком, пятакон, диском, заброшенным в небо рукой спортсмена; все это образы геометрически плоских или уплощенных тел. Древние ученые всерьез считали, что Луна является огромным зеркалом.

Анализировать причины такого единодушия, по-видимому, подсознательного, нет нужды: взглянув на Луну еще раз, легко убедиться, что она действительно выглядит плоской, как тарелка.

Простому наблюдателю достаточно это заметить, поэту — поразить наблюдателя неожиданным и неопровержимо точным восприятием; ученый же должен объяснить это явление для себя и для других и сделать логические выводы. Этим и занялся Барабашов, прибегнув к методу моделирования. В своей лаборатории он создавал один за другим образцы поверхностей, которые отражали бы свет так же, как отражает его верхний слой лунного грунта, или, как выражаются астрономы, имели близкое альbedo. Ма-

териалы для моделей пришлось подбирать и по структуре, и по цвету, и по физико-механическим качествам: речь шла о том, чтобы найти материал не только идентично отражающий свет, но и по возможности приближенный к лунным породам по составу, чтобы количественные уравнения обрели непосредственный физический смысл. Элементарный на первый взгляд факт вдруг оказался ключом к загадке одной из старейших проблем селенологии: из чего Луна?

Дело осложнялось тем, что альbedo Луны чрезвычайно низко, — она отражает не более семи процентов падающего на нее солнечного света. Серебристый блеск нашего спутника обманчив, это впечатление создает для глаза глубокий, почти идеально черный фон окружающего пространства, так что представления древних астрономов о зеркально яркой Луне, увы, уступали в реальности даже поэтическим метафорам.

После долгих поисков, начавшихся еще тогда, в 1918-м, и завершенных через несколько десятилетий, удалось подобрать образец, который максимально соответствовал поставленным условиям. Это был шероховатый, пористый материал типа губки. Если такова структура лунной поверхности, то на ней не должно быть толстых слоев пыли, как думали некоторые астрономы. Барабашов опубликовал сообщение об этом в научной печати. Но оно не вызвало сенсации, потому что подобные публикации часто принимают с сочувственным уважением, но без энтузиазма.

Видимо, это было для него огорчением. Барабашов снова вернулся к этому вопросу уже в послевоенные годы. Он приложил к очередной статье, в который уже раз ниспровергавшей пылевую гипотезу, снимок модели лунной поверхности, который изготовил, пользуясь данными измерений альbedo, — вот этот самый, лежавший сейчас под альбомом. И когда «Луна-9» передала на Землю первые панорамы с Луны, осталось лишь сопоставить снимки. Сходство было поразительным!

Вскорости американский «Сервейор», опустившийся на Луну, по команде с Земли включил на короткое время двигатель, чтобы можно было окончательно убедиться в отсутствии толстого слоя пыли. Его не было.

В поздравительных телеграммах, поступавших после полета «Луны-9» в адрес советских ученых, американские коллеги одновременно поздравили и Барабашова: они тоже сличали снимки с Луны и из его лаборатории.

Нейл Армстронг, ступая первым из людей на поверхность Луны, сначала осторожно коснулся ее ногой, не отрываясь от поручней трапа. Быть может, и он еще не верил, что лунный грунт достаточно тверд. Но уже через секунду американский космонавт стоял на Луне обеими ногами и шагал все увереннее и легче, а потом к нему присоединился Эдвин Олдрин, и двое людей, охваченные восторгом, понятным каждому из землян, совсем по-детски подпрыгивали и резвились, забыв на время о выполнении жестко расписанной программы...

Что думал в это время Барабашов? Что он думал, когда по лунному грунту, печатая оттиски ажурных протекторов, пошел «Луноход-1», который и проектировать не было бы смысла, не будь уверенности, что он не потонет в пыли? Припоминал, что с момента, когда он начал свои исследования лунной поверхности, прошло лишь чуть больше пятидесяти лет? Но возможно, что эти полвека он и не ощущал как отрезок времени, ведь работа над Луной для него не прекращалась. Время — вообще категория странная. Даже если не применять теорию относительности, оно

течет у каждого по-своему. Для некоторых оно может остановиться. Изловчившись, можно занять такую позицию, при которой оно даже потечет мимо. С ним удается делать всевозможные штуки: коротать его, тянуть, убивать, экономить, терять, находить (но только не то, которое однажды потеряно). Физики всерьез рассматривают случай, при котором наблюдатель движется вместе со временем. Тогда возникает каждому известный и никому не понятный парадокс — оставшиеся в обычных условиях люди стареют, а наблюдатель по-прежнему молод.

Было бы бестактно сравнивать Барабашова с гипотетическим наблюдателем, оседлавшим луч. Он просто работал. И эти эксперименты не были его заповедной областью; тем же занимались многие ученые. Никто не пытался опередить время, но ведь при сложении сил естественно возникает ускорение.

Совсем недавно Барабашов завершил еще один цикл работ, относящихся к Марсу. («Всегда астрономы стремились проникнуть подальше в космос,— сказал он,— и это естественно, но сейчас мы подошли к нему настолько близко, что время приглядываться к деталям, к нашим ближайшим окрестностям»). Наверное, он должен питать особое пристрастие к этой планете,— она ввела его в астрономию, о ней он впервые сказал свое слово.

Когда Марс приближается к нам, яркость его возрастает, а на больших расстояниях, наоборот, уменьшается. Это естественное явление известно каждому из будничных наблюдений: чем ближе автомобиль, тем ярче светят фары. Но внимание исследователя привлекло то, что, кроме этих периодических изменений, происходят и другие всплески яркости планеты, для объяснения которых нужно искать иные причины. Временами на протяжении считанных часов яркость отдельных зон возрастает на несколько десятых долей звездной величины, а затем снова падает. Это не что иное, как проявления физических процессов на планете. Иногда на утреннем и вечернем краях ее образуются туманы, выпадает снег, увеличивающий альбедо. Возрастает яркость Марса и в периоды, когда атмосфера мутнеет или на поверхности оседает изморось.

Встала проблема «прочитать» картину распределения яркостей на Марсе. Снова началось испытание разных моделей — пористых, непористых, сыпучих материалов. Оказалось, что лучше всего увязывается с тем, что можно наблюдать в телескоп, песчаная субстанция с примесью окиси железа и лимонита — красноватые пески, встречающиеся и на нашей планете. Именно они и придают Марсу общий красноватый оттенок. Правда, в некоторых областях Марса есть небольшие территории, которые летом и весной зеленеют или голубеют, а зимой и осенью остаются темно-серыми. Возможно, здесь развивается какая-нибудь примитивная растительность.

Марс!.. Нет другой планеты, с которой было бы связано столько загадок и гипотез, о которой столько томов написали бы фантасты. На нем находили каналы, отвергали их, снова находили, давали объяснение: это какие-то естественные образования. Потом прибегали к математическому анализу геометрии линий, который показывал, что они, вполне вероятно, выполняют коммуникационную функцию. Принимали излучение, характер которого позволял думать, что послала его аппаратура, а не просто возбужденная материя. Высказывали догадки, вроде бы небезосновательные, что Фобос и Деймос — «Страх» и «Ужас» — искусственные спутники Марса.

Барабашов почти не касался этих захватывающих

построений, увлекательность которых происходила не столько из фактов, сколько из их дефицита. Он занимался поведением полярных шапок Марса, расчетами их толщины. Ее можно вычислить, учитывая скорость, с которой шапки сокращаются в размерах с наступлением лета. В холодное время они быстро распространяются и доходят почти до широты 50 градусов (по земным масштабам это примерно широта Харькова). С наступлением весны быстро стягиваются к полюсам и в некоторые годы вовсе исчезают. Если считать, что шапки состоят из снега и льда, то при наблюдаемой скорости таяния слой должен быть всего в несколько миллиметров толщиной,— так говорят расчеты, сделанные Барабашовым.

Полярные шапки, как оказалось, состоят из двух компонентов — измороси или льда, покрывающих поверхность почвы, и облаков, плавающих в атмосфере. Порой мы видим лишь одну составляющую — сплошную облачность или заснеженную твердь, порой обе одновременно, а иногда не видно ни одной из них. Установить наличие разных компонентов удалось с помощью цветных светофильтров. Красный фильтр снимает атмосферную дымку, синий, наоборот, показывает то, что свойственно верхним слоям атмосферы.

— Сейчас важно выяснить плотность марсианской атмосферы,— говорит Барабашов.— Это будет иметь решающее значение для посадки на планету автоматических станций и кораблей, управляемых человеком. По-видимому, парашюты помогут мало: слишком уж разрежена атмосфера. Садиться на Марс будут с помощью тормозных двигателей, как на Луну. Впрочем, единого мнения о плотности атмосферы сейчас еще нет.

Я попросил его обрисовать картину марсианской погоды. Барабашов с минуту подумал, быть может, решая, стоит ли опережать факты, а потом заговорил своим обычным, почти бесстрастным тоном:

— Холодное, резко-ясное утро. Взглянешь на термометр за окном,— или за иллюминатором, как хотите,— мороз изрядный, минус 100 градусов. Солнце еще не взошло, но уже на востоке белеет туман, мечта Главхладопрома,— замерзшая углекислота. Туман обязательно должен быть, потому что атмосфера у поверхности разрежена примерно так, как у нас на высоте 30 километров. Потом на темном небе без особой цветовой подготовки начинается восходить Солнце — заметно меньшее, чем мы на своей планете привыкли видеть его по утрам, и туман быстро исчезает.

Теперь уже видно далеко вокруг, что именно перед глазами, холмы или равнины, вообразите сами,— но видимость просто беспредельная и, наверное, пугающая. Все желто вокруг, оранжеватое даже. Резко теплеет, к полудню может быть и 37 градусов. Впрочем, если поднимется пыльная буря, будет прохладнее, небо потемнеет от пыли, и в просветах станет мигать Солнце,— именно мигать, потому что клубы пыли понесутся со скоростью до 30 километров в секунду. По нашим понятиям, это за пределами урагана, это вообще вне наших понятий. Буря может тянуться несколько суток, а потом, когда она уляжется, еще долго в небе будут плавать тяжелые желтые облака: пылинки мелкие, а занесло их высоко. Марсианская пыль вперемешку с метеоритной. Тоскливые, надо сказать, облака.

Он помолчал и добавил:

— Наши лучше. Только вы не пишите, пожалуйста, что ученый, мол, с увлечением описывает картину, которая предстанет перед глазами космонавта, и взгляд его становится мечтательным. Я не ув-

лекался. Просто таковы научные факты. Скорость ветра измерял сам — по движению облака. В скафандре действительно можно будет ходить по Марсу. И даже заниматься наукой.

Нелегко, но возможно представить, какой это труд — изготовить самому телескоп. (Барабашов сделал их восемь.) Но каких усилий стоит создание собственной научной школы, это известно только тому, у кого она есть. А может быть, все и не так сложно, как кажется, ведь магнит не расходует энергии на притяжение железа, притягивать — его качество, и он, естественно, избирает подобный себе металл среди множества других. Хотя, впрочем, верно будет и наоборот, что металл сам отскакивает магнит и тянется к нему тем неодолимее, чем ближе. Ученики Барабашова держатся около него вопреки многим житейским факторам, которые могли бы уже давно разбросать их по всей стране. Люди от Барабашова не уходят, они остаются при университете и проводят ночи у здешнего планетного телескопа (того самого, на котором Барабашов выполнял свои известные работы). А днем отдыхают в домике, построенном им на собственные средства, или работают в богатой библиотеке — тысячи томов, — созданной в основном в порядке обмена с обсерваториями всего мира на издания, выпущенные коллективом научных сотрудников и аспирантов.

Впрочем, сейчас материальные беды позади: обсерваторию Барабашова приравняли к научно-исследовательскому учреждению, присвоив ей ранг, которого она заслуживает по праву, и, в сущности, закрепив положение, сложившееся само собой уже много лет назад. Да и как не приравнять, если этим неутомимым человеком подготовлены 32 кандидата и 4 доктора наук, если он вывел свою школу на уровень мирового признания!

Естественно, что ученики Барабашова разделяют его идеи. И невольно они в чем-то копируют своего учителя. Главное, в целеустремленности мышления, в сосредоточенности на своих мыслях. Посреди разговора о каких-то пустяках, вроде того, что электрическую бритву «Харьков», странно, не достанешь в Харькове, или о транспортных передрыгах растущего города, кто-то вдруг умолкает и смотрит сквозь собеседника. И тогда те, кто в курсе дела, говорят: «Ну, влетело»...

Так «влетает» идея в Барабашова на лекциях, за обедом в столовой, где угодно. Иногда он запирается дома на несколько дней, а потом, когда новая статья написана, снова ходит и говорит неторопливо и спокойно. Сам он убежден, что мысли приходят в голову не у телескопа, не за письменным столом, а главным образом на отдыхе или в дороге.

Вы не делаете ошибок, лучше почитайте побольше книг, — говорил Барабашов, рассказывая о своей любимой Луне, о планетах больших и малых. — Иногда ошибаются, когда пишут о нас. Конечно, никто от ошибок не застрахован, ученые тоже, но очень неприятно видеть эти ошибки в печати.

Он встает, сутуловатый и высокий, и, не выпуская из рук «Горизонта», мягко шагает по комнате в домашних туфлях.

— Дело в том, что нам нужны сейчас прогнозы, столь же реальные, сколь и далекие. А главная цель — это не только познание космоса, — оно никогда не будет завершено, — но и поиски инопланетных цивилизаций. Возможно, удастся найти жизнь еще

где-либо, и скорее, чем сейчас кажется. Даже если она окажется на уровне, много низшем, чем наша, это будет величайшее открытие — не астрономии, а всей земной науки. Всякая разумная жизнь, осознанно или подсознательно, устремляется к такой встрече и взаимодействию, как устремляется к этому и неживой космос: логика развития во времени и пространстве... И здесь надо много работать, по возможности не ошибаясь!

На столе тикает морской хронометр. Таня успела уснуть на коленях у деда, насмотревшись картинок. Откуда-то доносится восторженное и громкое мурлыканье кошки. Сюда бы еще для полного уюта камин, хотя бы электрический...

Из тихого кабинета Барабашова вышли сотни печатных работ. Еще в сотнях содержатся ссылки на Барабашова, развитие его мыслей. Его книга, которая недавно вышла из печати, обращена одновременно к специалистам, студентам и начинающим астрономам-любителям. Последней категории читателей он дает советы, как самому построить телескоп и как найти на небосводе нужный объект. Как определить точное звездное время и собственные координаты на Земле, как сориентироваться во Вселенной, чтобы не чувствовать себя слепым на собственной планете. Разговор с теми, кто интересуется наукой и потому представляет для нее потенциальное «научное мясо», он не прекращает всю свою жизнь, и не случайно имя Барабашова стоит среди основателей общества «Знание», действительным членом которого он остается и сейчас. Пока что Барабашов успел прочесть 1200 публичных лекций: о планетах, Солнечной системе, галактиках и метagalктиках, новых, сверхновых звездах, туманностях и окраинах видимой для нас Вселенной — квазарах. И наверняка где-то, пока неизвестные, сидят десятки юношей, слушавших Барабашова, терпеливо сидят, шифруя вручную параболитические зеркала и прибавляя на всякий случай еще, и еще, и еще неделю труда, чтобы их телескоп хорошо видел.

Смена приходит ко всем, хотя бы они того или нет. Важно — какая смена. Одних подменяют просто потому, что на этом месте нужен человек. Других заменяют по грустной, но объективной причине: место потребовало человека более сильного, гибкого, современного. Третьих, таких, как Барабашов, необходимо продолжать. И тут место уже предъявляет требования к приходящей смене. Можно ведь и не сгодиться. Молодость сама по себе еще не дает преимуществ перед преклонным возрастом. Правда, у нее есть время узнать столько же и еще больше, обучиться самостоятельному мышлению. Но чтобы продолжить того, кто создал школу, нужен еще цельный характер и здоровый, завидный фанатизм. А эти дисциплины не преподаются в вузах, о них ничего не узнаешь из печатных работ. Спорно и то, что натуру переносят в готовом виде гены. Характер, думаю я, мастерится, как самодельный телескоп, из подручного материала в будничной мастерской своих интересов. И без усталости шлифуется вручную. Была бы мастерская.

Возраст и нездоровье подтачивают людей, и не так уж редко старые друзья и знакомые после лет разлуки не узнают друг друга. Одни капитулируют, другие выходят из строя физически, третьи, умерив былой энтузиазм, избирают колею полегче. Барабашов продолжает работать в неугасающем ритме, и сейчас на его столе лежит несколько начатых статей, которые он пишет одновременно. Под шорох испытанного хронометра, отсчитывающего и звездное и земное время.



ЮРИЙ
ЗЕРЧАНИНОВ

ТРИ РАС- СКАЗА НА ОДНУ ТЕМУ

Фото
В. Светланова.



Год назад я смотрел в Ленинграде чемпионат Европы по фигурному катанию и танцам на льду. Но я не такой знаток этого дела, чтобы, цепenea от восторга, вникать, к примеру, во все нюансы обязательной программы. Я наблюдал, как партнер «подает» партнершу в парном катании и в танцах.

Вот двое выходят на лед. Он зачем-то надел рыжий парик, ее, по-моему, смущает и этот парик и его излишняя театральность в обращении с нею, и это заметно. А эти двое преподносят зрителям такой каскад сложностей, да еще с таким безумным темпераментом, что не могут не восхищать. Чего же недостает им? Да, понимаю. Коробит некоторая банальность его манер, да и ей бы чуть-чуть изысканности...

Танцоры Людмила Пахомова и Александр Горшков, новые чемпионы Европы, очень хорошо выглядели и на пресс-конференции, где, кажется, им бы и насладиться триумфом, дать волю своему торжеству. Никогда еще наши танцоры не добивались такого успеха, а Пахомова и Горшков не просто сменили великих английских чемпионов Таулера и Форда, но и предложили собственный, совершенно отличный от английского стиль танца. Рядом с ними, кутаясь в каракулевое манто, сидела создатель этого стиля — тренер Елена Чайковская. Саша Горшков галантно ухаживал за своими обеими дамами, и все трое, казалось, считали неловким говорить какие-то громкие слова и держаться значительно, как это любят иные чемпионы.

Пресс-служба чемпионата Европы предложила жур-

налистам короткие анкетные данные спортсменов-участников. Читаю лист № 10:

«ЛЮДМИЛА ПАХОМОВА. Родилась в 1946 году в городе Москве. Рост — 1 метр 65 сантиметров. Вес — 57 килограммов. Хобби — балет. Не замужем. Учащаяся балетмейстерского отделения Театрального института города Москвы. Тренер — Е. Чайковская.

АЛЕКСАНДР ГОРШКОВ. Родился в 1946 году в городе Москве. Рост — 1 метр 80 сантиметров. Вес — 65 килограммов. Хобби — коллекционирует музыку. Не женат. Учащийся Института физической культуры и спорта. Тренер — Е. Чайковская».

С этой уже несколько устаревшей информацией я и пришел в канун нового сезона на московский каток «Кристалл», где тренируются ученики Елены Чайковской, и записал три рассказа на одну тему.

РАССКАЗ ПЕРВЫЙ — ЛЮДМИЛЫ ПАХОМОВОЙ

В марте шестьдесят шестого года в Киеве мы с Рыжкиным в третий раз выиграли чемпионат страны, и я сказала ему:

— Больше я с вами кататься не буду, Виктор Иванович.

Я не знала, что будет со мною дальше, а пока надо было лечить травмированную ногу.

С Рыжкиным мне было очень трудно, я постоянно чувствовала себя на тренировках одиноко. Он был моим тренером, когда предложил мне кататься в паре. Мы быстро добились успеха, но меня все более тяготило наше неравенство. Я считала, что мой бывший тренер, с которым я так и не смогла перейти на «ты», и лучше меня все делает и знает больше, но он не мог понять, что катание для меня — прежде всего удовольствие, а не работа. Он мог бы стать, наверно, моим старшим другом, но он видел во мне лишь излишне наивного ребенка, из которого надо скорее делать взрослого серьезного человека. Наши взгляды, интересы, оценки настолько расходились, что я решила: лучше совсем не буду кататься...

Но очень скоро я поняла, что не кататься я не могу.

Нога, которую я лечила, даже в ботинок не умещалась. И вот в таком виде я пришла однажды в «Кристалл», а там как раз тренировался Саша Горшков со своей партнершей. Они появились у нас в ЦСКА недавно. Два раза на тренировках я, правда, вставала с Сашей в пару, чтобы показать ему какие-то элементы...

На этот раз я очень обрадовалась, увидев Сашу, стала что-то советовать, помогать. На следующий день я снова пришла на их тренировку. И когда они сделали какое-то движение, мне вдруг очень понравилось, как его сделал Саша. Как-то корпус у него очень красиво стоял. Но кто-то рядом со мной это тоже заметил и похвалил Сашу. Помню, я вдруг рассердилась, что кто-то еще это заметил...

И я сразу решила — предложу Саше кататься со мной. Они только начинают, у них еще ничего не сделано. Я подумала, что его партнерша не должна на меня особенно обижаться. Каюсь, я испытывала угрызения совести, хотя это — обычное явление, когда пара распадается на уровне первого разряда. И после тренировки я сказала Саше:

— Ты не очень спешишь в институт? Мне хотелось бы поговорить с тобой.

Он остался. Мы пошли по дорожке в сторону Большой арены, и я сказала ему, улыбаясь:

— Ты, может, догадываешься, о чем я хочу с тобой говорить?

Он посмотрел на меня, но промолчал.

Тогда я быстро и серьезно сказала:

— Я хочу тебе предложить кататься. Только ты ничего не говори сейчас. Я ничего тебе не сулю — видишь, какая нога у меня? Ты подумай, посоветуйся со своими родителями. Если решишься, ты мне позвони. И если нет, все равно позвони. Но если решишься, то никому об этом не говори пока. Скажи только своей партнерше. И, пока у меня не пройдет нога, будешь кататься один.

После обеда Саша мне позвонил и сказал, что решился. Мы пошли в кафе «Север» — был еще день, и на втором этаже почти никого не было. Мы взяли шампанское и мороженое. Мы почти не знали друг друга и впервые по-настоящему разговаривали. Мы не планировали, что займем на соревнованиях какие-то места, а просто разговаривали о чем угодно и радовались, обнаруживая общие интересы. Саша заканчивал второй курс института, а я — первый. Он держался со мной как равный. И это было для меня самым главным. Я впервые подумала, как интересно, должно быть, работать с ровесником.

Но нас с Виктором Ивановичем вызвали в ЦСКА, чтобы убедить снова кататься вместе. Я сказала, что не буду. Тогда Виктор Иванович спросил меня, поглядывая на мою ногу: «Что же ты будешь делать?» Я сказала, что буду кататься с другим партнером. Он спросил: «Кто же будет твоим партнером?» Я сказала, что предложила Саше Горшкову и он согласился. И больше Виктор Иванович меня ни о чем не спрашивал.

Еще весной я снова вышла на лед. На первую нашу тренировку пришло много знакомых — посмотреть, что же у нас получится. Мы взялись за руки и от испуга, наверно, сразу покатились в разные стороны. Даже рассмеялись. А знаете, как первое время мы стеснялись друг друга? Например, Саша не так держит руку, а я стесняюсь его руку поправить...

Мы тренировались тогда по шесть-семь часов в день на всех катках Москвы, где нам только давали лед, а лед нам везде давали. Тренировались мы и в «Динамо», все фигуристы были там молодые, и работала с ними молодой тренер Лена Чайковская. Я была с Леной давно знакома — мы с Рыжкиным ведь начинали в «Динамо», — и Лена еще помогала готовить нам произвольную программу. Я с Леной была всегда на «ты» и на балетмейстерский факультет ГИТИСа поступила, следуя ее примеру. И вот мы с Сашей просим Лену быть нашим тренером, и она соглашается.

Летом, на сборах в Горьком, Лена делала нам произвольную программу. Работать с ней было легко. Я понимала своего нового тренера с полуслова: она говорила на том языке, которому меня в институте учили. Все, что она предлагала, было бесспорно. Возвращаемся в Москву, и Лена говорит, что она добилась, чтобы нам разрешили участвовать в прикидочных соревнованиях, где будут определяться две первые пары страны.

Когда я каталась с Рыжкиным, с нами соперничали Гришкова и Трещев. Но теперь мой бывший партнер, который хотел было уйти на тренерскую работу, вдруг изменил свое решение и объявил, что будет кататься с Гришковой. С ними, а также с давно сложившейся парой Велле — Широков нам и предстояло соревноваться.

Но нам еще трудно было соревноваться с кем-либо. Мы еще не добились должной синхронности. Иногда я ощущала, что у Саши совершенно «другие ноги». Но в то же время я ощущала, что он очень мягкий, что его еще никто неправильно не научил. Нам еще

трудно было соревноваться, но было интересно: что же получится?

И, как ни странно, очень мало проиграв Гришковой и Рыжкину, мы оказались вторыми на этой прикидке. После этого нас решили послать на соревнования в ГДР. Мои родители удивлялись:

— Что же вы там будете делать?

Но мы заняли там второе место, обойдя две английские пары, чем особенно были горды. Даже Лена, которая вечером нам позвонила в Берлин, не сразу поверила этому.

— Не может быть...— повторяла Лена.

В тот наш первый сезон мы уже участвовали в чемпионате Европы и мира. И если Гришкова и Рыжкина заняли «на Европе» восьмое место, то мы — десятое. В танцах на льду в ту пору царили англичане.

В Вене, на чемпионате мира, я впервые заметила, что Саша видит во мне не только партнершу. А я отнеслась к нему хорошо, очень хорошо, но не больше. Я думала, что в меня кто угодно может влюбиться, но только не мой партнер.

Помните нашу «Кумпарситу» — танго, которое мы танцуем на показательных выступлениях? Мы готовили этот танец перед чемпионатом Союза шестидесят седьмого года, и там, в Куйбышеве, впервые его прокатали. Сделать это танго нам предложил муж Лены — Толя Чайковский, ваш коллега, и даже показал, как он видит начало. Нам это начало понравилось, и Лена его сохранила.

«Кумпарсита» — наш любимый танец на показательных выступлениях. Но он зависит от настроения — у нас было особое настроение, когда мы его готовили. Был уже близок тот день, когда мы решим, что всегда будем вместе.

Веселые мы вернулись в тот год с чемпионата мира и вдруг узнаем, что Сашин папа тяжело и неизлечимо болен. Эта новость была тяжела не только для Саши. Я очень любила Георгия Ивановича. От него всегда веяло необыкновенным теплом. Он был необычайно жизнелюбив.

А в ноябре мы выступали в Челябинске на матче олимпийских команд. После произвольного танца мне сказали, что я должна спешить на поезд, мне уже взят билет в Москву — заболел мой папа...

Я подумала, что папа не мог бы вызвать меня, даже если бы он тяжело заболел. У него не такой характер — он летчик-истребитель, во время войны получил Героя. Мы не спали всю ночь в поезде. Еще долго до Москвы Саша перенес наши вещи в тамбур, и мы сидели там. Нас встречала Лена, и когда я увидела, как она бежит вся в слезах по перрону, то поняла, что папы уже нет...

Две-три недели мы вообще не катались, хотя уже шел сезон. Мне стоило больших усилий наконец заставить себя выйти на лед. Мне до сих пор недостает паниной поддержки. В минуты слабости и волнения он просто и очень точно мог настроить меня. Он помог мне пройти все эти трудные годы. Он верил, что у нас с Сашей не только что-либо получится, а что он дожидается того дня, когда мы станем чемпионами мира. И когда той весной на чемпионате Европы мы впервые поднялись на пьедестал почета — мы заняли третье место, — мне было и радостно и очень тяжело...

Успех в прошлом сезоне, когда мы всех победили и в Европе и в мире, был для нас менее неожиданным, чем то третье, а наше первое призовое место.

Столько лет мы добивались синхронности танца, но прошлой весной, танцуя «Кумпарситу», позволили себе полную импровизацию. Правда, танцевали мы на паркете. Это было на нашей свадьбе.

От свадебного путешествия пришлось отказаться. И мне и Саше предстояло защищать дипломы. Я по-

ехала делать диплом в Саратов, где гастролировал Московский балет на льду.

Как я повзрослела за эти пять лет! Только характер, пожалуй, остался прежним — со мной по-прежнему трудно ладить. Мне не верится, что не всегда могу с собой справиться, потом ругаю себя и... вновь поддаюсь азарту. Но тогда, после разговора на «Кристале», я же дала Саше время подумать, прежде чем решиться...

РАССКАЗ ВТОРОЙ— АЛЕКСАНДРА ГОРШКОВА

Знаете, кем была для меня Мила, когда, бросив парное катание, я решил заняться танцами? Звездой недосягаемой! Был ли я влюблен в нее? Смешно же влюбляться в Брижит Бардо, правда?

Помню, я смотрел на танцоров и думал: как они могут запомнить все эти шаги? Я тогда взял у своего друга Сережи Широкова американскую книжку по танцам и читал ее в метро, а потом пробовал элементы на льду. Я еще мало что умел, когда Мила пришла на ту нашу тренировку и сказала: «Я вам сейчас помогу».

На другой день она спросила меня, спешу ли я в институт. Я испугался и сказал: «Давай завтра поговорим». Мила забыла, она вам сказала, что мы в тот же день поговорили. На самом деле было не так. На следующий день я пришел к восьми утра и смотрю — ее нет. Ну вот, думаю... Но она пришла и после тренировки действительно мне сказала, что хотела бы со мной кататься...

Я обалдел. Поймите, я очень хорошо тогда относился к танцам, а Мила была в танцах богиней. Я себя спрашивал: смогу ли я, хватит ли сил? Я не поехал в институт и с родителями не советовался, ходил один по улицам, сидел в скверике на Лермонтовской. Я боялся подвести Милу. Она, наверно, думала, что я чего-то умею, а я еще мало что умел. Хотел ли кататься с ней? Еще бы! Лучшая партнерша в Союзе. Я чувствовал, что кидаюсь головой в омут...

Когда мы начали тренироваться, я тратил энергии в десять раз больше, чем Мила, и все равно отставал от нее. Я не помню, ел ли я, спал ли в те первые месяцы. Только тренировался.

В августе в Горьком мы уже делали произвольную программу, но я продолжал заниматься и черной работой — учил азы. Однажды я едва не упал на тренировке от переутомления, и Лена заставила меня целый день ничего не делать, а только отдыхать. В Горьком я разучил все обязательные танцы.

В Москве, ожидая первых в моей жизни соревнований по танцам, я очень боялся подвести Милу. И тут Лена сказала, что мы можем выступить во Дворце спорта в программе праздничных концертов, чтобы обкататься на зрителях. Первое свое выступление я запомнил на всю жизнь. Зал притих, уже погашен свет, сейчас диктор объявит нас... И вдруг мелькнула мысль: зачем я здесь? Не уйти ли домой? Но я сказал себе: нет, раз выбрал такой жребий, то придется выступать. Мы не упали, не сбился. И на следующий день я уже катался спокойно.

Но на соревнованиях, когда мы катали килиан (обязательный танец.— Ю. З.), у меня в глазах было темно и я не различал людей, которые стояли вдоль борта. Но мы хорошо прокатали килиан, и Мила сказала мне:

— Молодец! Пошли домой.

И тут я понял, что Мила волнуется не меньше меня. Ведь нам предстояло катать еще один обяза-

тельный танец — блюз, а Мила говорит, что пойдём, — дескать, домой...

Лишь в декабре я немного пришел в себя и мог думать уже не только об очередности шагов на льду... Но я еще не решался переступить барьер, мною же созданный... Вы понимаете, о чем я говорю?

Когда мы вскоре впервые поедem на чемпионат Европы, я буду стесняться даже своих ботинок. Теперь-то мне шьют ботинки по специальному заказу, а тогдашние мои ботинки так выглядели, словно они были на два номера больше. И, ожидая выхода на лед, я прятал ноги под скамейку.

Что мои чувства не разбиваются о стену, что они приняты, я понял только на чемпионате страны в Куйбышеве, где мы впервые прокатали «Кумпарситу».

А потом — эти две смерти почти подряд... Милин отец умер от сердечного приступа в поезде, возвращаясь из санатория. Но пока мы ехали в Москву, я решил не говорить Миле об этом — я и сам до конца в это не верил... Алексей Константинович приходил с кинокамерой на наши тренировки, он искал нам музыку, заставлял верить в себя, что мне было особенно необходимо...

Образцом партнера в танцах для меня всегда будет Бернард Форд. У нас свой стиль, мы не подражаем бывшим чемпионам мира. Но как Форд умел «подать» свою партнершу, каким чувством меры он обладал! И вот в прошлом сезоне, когда высшая ступенька мирового пьедестала почета освободилась с уходом Таулера и Форда в профессионалы, мы поднялись на нее. Разве мы думали, когда впервые взяли за руки, что не пройдет и четырех лет и мы станем чемпионами мира!

Идиллия? Нет, идиллия предполагает блаженство совершенного спокойствия. А мы разве можем быть спокойны? И дело не в том, что американцы Швомейер и Сладки попытаются в этом году взять у нас реванш. Мы катаемся не для того, чтобы обыграть соперников, а прежде всего стремимся достичь совершенства.

РАССКАЗ ТРЕТИЙ — ЕЛЕНА ЧАЙКОВСКОЙ

(Предварительная информация. Елена Чайковская (Осипова) — чемпионка СССР в одиночном катании 1957 года и трехкратная чемпионка страны в одиночных танцах на льду (были в свое время такие соревнования). Из семьи актеров. Ее прабабушка была прима-балериной московского балета. Чайковская окончила ГИТИС. Профессия — балетмейстер.)

Я уже тренировала пары, но только не танцевальные, когда Мила и Саша пришли ко мне. После ГИТИСа я, правда, пробовала работать в профессиональном балете на льду. Но у них и площадка маленькая и техника там никому не нужна — одним словом, ни балета, ни спорта я у них для себя не нашла.

И вот у меня танцевальная пара, и я, как и Саша, читаю в метро книжку про танцы. В нашей стране не было своей школы спортивных танцев на льду. Предстояло все создавать практически на пустом месте. Перед нами не было примера. Мы должны были сами придумать модную манеру исполнения танцев. Мы должны были сами себя создать. Но отсутствие примера и помогло нам — избавило от невольного подражания.

Англичанам же мы подражать не стремились. В их программах — набор технических элементов под аккомпанемент. Диана Таулер и Бернард Форд довели этот стиль до совершенства. Это была, конеч-

но, необычайно талантливая пара — тон в ней задавал Форд.

Мой единственный принцип: искать танцевальные элементы, исходя из музыки и учитывая амплуа исполнителей. Пахомова и Горшков — острохарактерные исполнители. А у моей второй пары, Жарковой и Карпоносова, несколько иное «амплуа» и стиль соответственно несколько иной. Я говорю: «амплуа» — это от театра. Я вообще опираюсь на законы театра, особенно работая над показательными номерами.

Первую произвольную программу я делала прежде всего на Милу, а Саша лишь присутствовал на льду и старался быть партнером. Но следующие танцы — и прошлогоднюю их программу и новую — я ставила, считая, что и он и она уже работают на равных. Саша вызывает у меня огромное уважение. Какой рывок он сделал за эти годы!

Да и Мила за эти пять лет стала работать намного тоньше. Как благороден теперь ее жест! Она, конечно, безумно талантлива. Долго мучилась в одиночном, потом — в парном катании, а ее стихия — танец. Она все ловит с лета. Взглядом понимает, что и как. И умеет собраться, в любой ситуации выстоит. Правда, однажды, когда они с Сашей впервые вышли соревноваться, Мила ступила на лед и тут же упала: забыла чехлы снять с коньков. Она вам рассказывала? Забыла? Не думаю... А вообще она выходит на соревнования, как на праздник. Она обогатила технику танцев на льду: «круг Пахомовой» уже вошел в учебники.

Но не думайте, что мировое первенство нам досталось легко. Американцы уже не раз пытались захватить танцевальный Олимп, когда происходит смена лидеров. Технические Швомейер и Сладки проиграли нам в прошлом году очень мало, помните? Мы полагаем, конечно, что наш новый танец вправе быть первым, как и прошлогодний.

Помню, какое радостное опустошение владело и мною, и Сашей, и Милой, когда мы стали в прошлом году чемпионами мира. Помню лишь ощущение идиотского счастья и дикой усталости. Но зато в «Метрополе», на свадьбе... Мне только что сделали операцию аппендицита, и у меня швы разошлись, так я танцевала.

Саша и Мила не только мои ученики, но и друзья-единомышленники. Я не думаю, что партнер должен обязательно быть влюблен в свою партнершу, чтобы пара смотрелась красиво. Достаточно, если партнеры по-настоящему дружат, если они тонкие и благородные люди. Тренер, кстати, обязан звать к самому возвышенному в человеческой душе, создавая образ пары, а не напротив, как иногда случается.

Я довольна не только Сашей и Милой, но и остальными своими учениками. Все они мои друзья и единомышленники. Возьмите Жору Проскурина, который катается в паре с Галей Карелиной. Когда его прежняя партнерша Таня Тарасова выбила плечо, Жора долго ждал ее и не искал другую партнершу. Разве каждый поступит так? Наконец, я соединила его с Галей, в которую никто не верил. И Галя расцвела при таком партнере. Видели, как она сейчас улыбается? Эта пара ни на кого не похожа. Я очень верю в нее в этом сезоне. Если с Пахомовой и Горшковым мне удалось выразить свое понимание танца, то Карелина и Проскурин сегодня — мое кредо в парном катании.

ТАТЬЯНА
ЛЮБЕЦКАЯ

ВНУЧКИ ТЕТИ МАШИ ПОДДУБНОЙ

Говорят, сила женщины в ее слабости. Но чем же тогда объяснить, что уже во многих странах — во Франции, Италии, Японии, Голландии, Югославии, ГДР, Венгрии, Чехословакии — проводятся женские чемпионаты по дзюдо? А в этом году намечается и первый чемпионат Европы по дзюдо среди женщин.

А будут ли там наши девушки? Это вопрос далеко не праздный, — в Москве тоже есть секция женской борьбы. Правда, наши девушки занимаются самбо. Но, как известно, зная самбо, можно смело выступать и на соревнованиях по дзюдо.

Вот уже полтора года, как в Москве, в спортклубе МВО, работает женская секция самбо, которую ведет заслуженный тренер РСФСР Лев Борисович Турин. А помогает ему Александр Иванович Курашкин.

Турин сказал мне, что женская борьба имеет свою историю. Бросить вызов мужчинам на борцовском ковре пытались еще бабушки его ученик. Взгля-

ните на фотографию, которая помещена на этой странице и на которой изображены сильнейшие женщины-борцы, участницы циркового интернационального чемпионата, проходившего в первые годы нашего века в России.

Это были даже не соревнования, а скорее цирковое представление. И, судя по фотографии, представление довольно внушительное. Вглядитесь в могучие фигуры женщин. Мне почему-то кажется, что импресарио, сидящему в центре, не очень уютно в обществе женщин-борцов и что, как только фотоаппарат щелкнет, он обязательно отодвинется от своих подопечных на более безопасное расстояние...

В августе 1923 года на заборах и рекламных щитах города Скобелева (ныне Фергана) появились огромные афиши:

ЦИРК. Сегодня и завтра единственный в мире чемпионат женской французской борьбы. Участвуют чемпион мира Поддубная, Педерсон и другие знаменитые борцы.

И вот грянул «Марш гладиаторов», и на арену вышли женщины-борцы, украшенные лентами и щедро увешанные медалями. Цирк затих.

— Тетя Маша Поддубная, чемпион мира, — провозгласил арбитр.

Вы только вслушайтесь в музыку этого объявления. Не Мария, а тетя Маша. Да еще Поддубная!

Как неторопливо и основательно это звучит! И так были представлены все участницы чемпионата — обладательницы на редкость импозантных фигур и знаменитых фамилий, что, по мнению устроителей, должно было подействовать на зрителей вдвойне ошеломляюще.

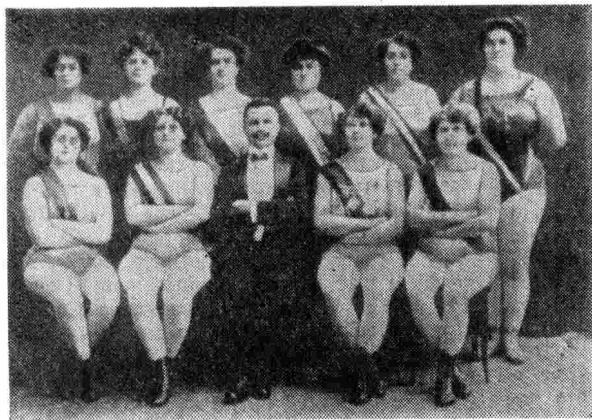
А затем была объявлена встреча между Поддубной и Педерсон. Поединок проводился по всем правилам французской борьбы, и только временами цирк оглашался продолжительным и яростным визгом...

Победила тетя Маша Поддубная, которая затем одну за другой уложила на лопатки всех остальных участниц этого единственного в мире чемпионата. Трижды взывал арбитр к публике, ища желающих помериться силой с тетей Машей. Желающих не оказалось...

Если же вы придете в спортклуб МВО на секцию женского самбо, то увидите, что ученицы Турина тонки и изящны и кажутся случайно забредшими сюда гимнастками. Но вот начинается тренировка.

На ковер выходит Лена Котлярова. Это очень милая девушка невысокого роста с двумя беленькими косичками — ей недавно исполнилось семнадцать лет.

Лена выходит с лукаво-застенчивой улыбкой и, двигаясь мягко и спокойно, легко касается своей противницы: мол, какая уж тут борьба, это я так просто... И только вам начинает казаться, что действительно все это так просто и никакой борьбы, конечно, не может быть, как вдруг резкий рывок — и противница летит через плечо, с оглушительным треском шлепаясь на пол. А у





Занятия самбисток в спортклубе МВО.

Фото Р. Готова.

Лены разве что только улыбка становится чуть менее застенчивой и чуть более лукавой.

Вот эта стройная черноволосая девушка — Нина Поликанова. Спокойно и приветливо становится она против своей соперницы и, как бы собираясь пройти с ней по залу в танце, протягивает к ней руки. Но вдруг она быстро поворачивается к ней в профиль, выбросив одно колено вперед, гибко откинувшись чуть назад. Мне это напомнило па из испанского танца. И в ту же секунду бросок через колено, оглушительный грохот — противница лежит.

Что же касается Сони Хайретдиновой, то ее стиль прост и суров. После нескольких деловых приемов, проведенных четко и умело, вам становится совершенно ясно, что противнице Сони остается только перелететь через ее голову и лечь на обе лопатки.

Вы, конечно, заметили, что все броски, выполняемые столь легко и изящно, заканчиваются резким и оглушительным грохотом падающего противника. И это на первый взгляд производит несколько тяжелое впечатление, вызывая острую жалость к поверженной. Однако именно этот грохот и говорит о полной безопасности и безболезненности такого падения. Падая, самбистка ловко группируется и, сильно ударяя рукой об пол, смягчает таким образом свое падение.

Как же эти девушки, обыкновенные с виду девушки, справляются с такими тяжелыми бросками?

— А очень просто, — говорит Лев Борисович. — Ведь в самбо все построено не на преодолении силы противника, а на ее использовании.

Если, к примеру, кто-то нападает на вас, наваливается тяжестью своего тела, вы сначала, как бы не сопротивляясь, начинаете падать, а затем рывок назад (и тут уже дело техники) — и противник перелетает через вашу голову.

Если же он начинает тянуть вас на себя, вы опять сначала как бы поддаетесь, а затем... элементарная техника: броски, подножки, болевые приемы — и противник лежит, а вы нет. В общем, Лев Борисович утверждает, что научиться всем этим приемам совсем недолго и нетрудно.

А для чего, собственно, девушкам эти приемы?

Ида Икавец (чемпионка Югославии прошлого года) заявила, например, журналистам, что в борьбе ее привлекает сам процесс борьбы, который вырабатывает волю, развивает координацию, гибкость, а также быстроту мышления. При этом она добавила, что если выйдет замуж, то не бросит борьбу, и первое слово, которому она научит свое дитя, будет «хаджиме» — японский термин, означающий сигнал к началу встречи дзюдоистов.

Лена Котлярова также сказала мне, что ей нравится сам процесс поединка. А затем, смущенно улыбаясь, добавила:

— Теперь, занимаясь самбо, я чувствую себя во сто раз сильнее и никого не боюсь.

А Соня Хайретдинова на вопрос, чем ее привлекает самбо, рассказала такой случай.

В Сочи проходил международный турнир самбистов (мужчин). И вот в один из турнирных дней за несколько минут до начала соревнований на сцене вдруг появились девушка и высокий парень в очках. Вслед за ними на сцену вывалились трое парней явно нетрезвого вида. Размахивая бутылками, они стали приставать к очкастому и, наконец, сбили его с ног, отшвырнув очки на другой конец площадки.

Девушка осталась одна против хулиганов. Спокойно и чуть досадливо оттолкнув одного из пристававших, она хотела было помочь своему спутнику поискать очки, но хулиганов это, видимо, только раззадорило...

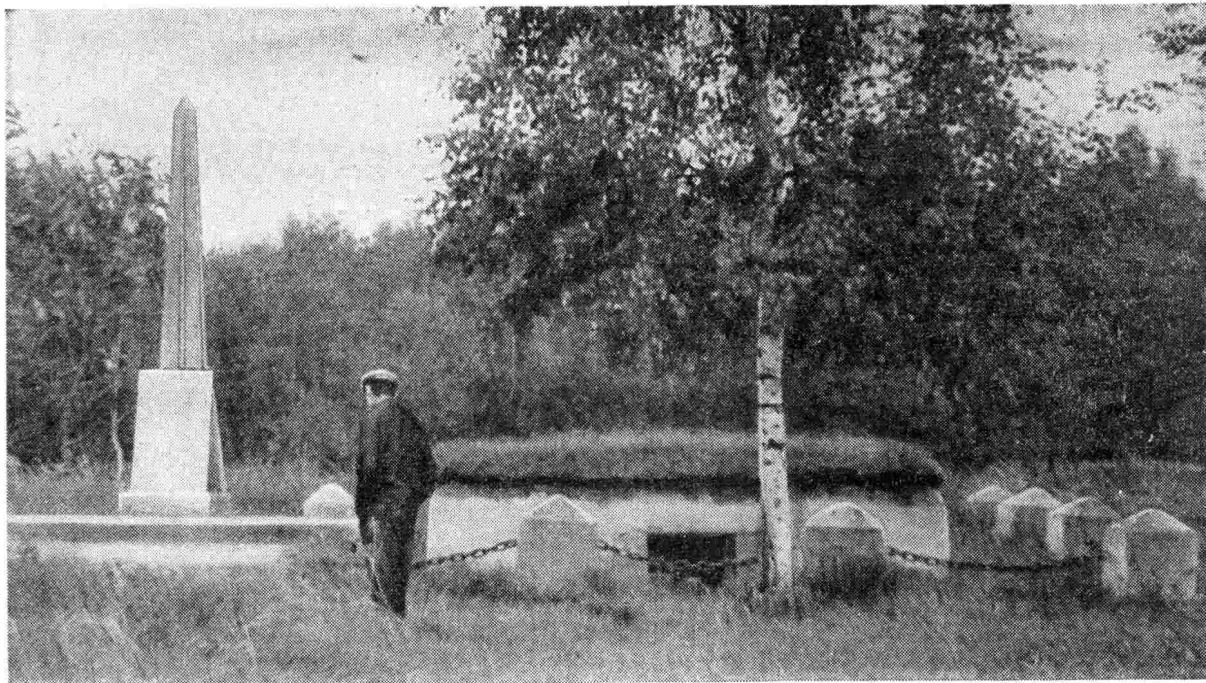
Дальнейшее произошло так быстро, что зрители — ведь кое-кто из мужчин направился было уже к площадке, а из задних рядов чей-то слабый женский голос заволашевался насчет милиции — были в совершенной растерянности.

Но, повторяю, все произошло очень быстро. Девушка, видимо, потеряв всякое терпение, вдруг преобразилась. Словом, броски через голову, через бедро, рывки, подсечки посыпались с такой быстротой, что в следующую секунду площадка уже была усеяна валявшимися гуляками.

А затем вместо того, чтобы отвести забияк куда следует, кто-то пригласил их выйти на середину площадки. К ним присоединилась и «пострадавшая» парочка, и диктор объявил:

— В только что прошедшем перед вами показательном выступлении принимали участие: в роли хулиганов — чемпионы Советского Союза по самбо, чемпионы Европы по дзюдо, мастера международного класса Анзор Маркоплишвили, Роин Магаладзе и мастер спорта Анатолий Иванов. Молодой человек в очках — чемпион проходящего сейчас турнира в Сочи, чемпион РСФСР Анатолий Трофимов. И в роли девушки — Соня Хайретдинова.

Когда я закончила эту статью и перечитала ее, она показалась мне настолько убедительной, что я сразу же записалась в секцию самбо.



«НЕ ПОСРАМЛЮ ЗЕМЛИ РУССКОЙ...»

На снимке: здесь совершил свой бессмертный подвиг Александр Матросов.

Фото автора.

Стоят на полях Псковщины памятники. У памятников — тишина, только ветер шлифует грани обелисков. Здесь человек встречается с вечным и нетленным, и взор его становится яснее и помыслы выше.

От Великих Лук к Малкинской высоте, месту подвига Матвея Кузьмина, ходит городской автобус.

Сразу за железнодорожным переездом начинается улица его имени: домики в садах, яблоневые ветки, перегруженные плодами. В автобус проникает запах антоновки.

Потом — неоглядная ширь полей, с крутолобыми холмами, с купами деревенских садов и бесконечными шеренгами белых столбов «высоковольток».

Деревня Куракино. Тут надо остановиться и оглядеться. Найти Матвеево подворье. Он жил здесь. Вот тут стояла его изба, немного подале — баня, около нее была могила, теперь она на братском кладбище в Великих Луках. Восемьдесят пять лет прожил человек на этом месте!

Родился крепостным. Вырос, женился, восьмерых детей воспитал. Пережил войны и революции. Пахал эти нивы сохой и ходил, шу-

пая пласт, за трактором. Плотничал, пас скотину, сторожил колхозные амбары... Долгая и такая, кажется, обыкновенная жизнь...

Но почему так остро хочется проникнуть в нее, представить, почувствовать, сопережить каждый ее день? Стоишь вот у заросшего травой бугра — и волнение стесняет грудь...

От этого места пошел старый Матвей на подвиг. Как это было? Надвинул шапку, запахнулся поплотнее, взял палку, оглянулся. Знал ли он, что не вернется? Знал. Заранее, прежде чем повести фашистский отряд, отправил сына Василия предупредить своих. Знал, что, подведя врагов под пулеметы, сам не уцелеет.

Я повторяю примерно тот же путь. Примерно — потому, что никто не знает точно, какими буераками водил дед Матвей врагов в морозную ночь на 14 февраля 1942 года.

Малкинская высота видна издали. Тогда на ней стояла деревня, небольшая, всего с десятков изб, сейчас — обелиск в ограде, молодые деревца и стог сена. По склонам тянется траншея с пулеметными гнездами — круговая оборона. Траншея заросла травой, и старые печины тоже заросли, камни уходят в землю...

Перед высотой мшистое болото с низкорослыми березами, за ним

высокая, почти отвесная гряда холмов. Справа и слева сжатые поля, скошенный луг. Тут, на заснеженной равнине, и нашли свою могилу более двухсот фашистов. Им уготовил ее дед Матвей.

Надо прикрыть глаза, чтобы воображение нарисовало ту, последнюю, минуту жизни Матвея Кузьмина... Вот стоит он, опираясь на палку, высокий, костистый, старый, и смотрит, как наши пулеметы секут фашистов. Да, он не ложился в снег, не прятался, не делал вида, что и для него огонь неожиданный. Он сам подготовил эту минуту, ждал ее и теперь стоял, спокойный и бесстрашный, и смотрел... Ему обязательно надо было видеть гибель этой чумы, возманившейся сделать его, деда Матвея, снова холопом. Он торжествовал победу, и была та сладостная минута торжества над врагом итогом, смыслом, высшим взлетом его долгой обыкновенной жизни.

И тут он заметил, что пули не летят в его сторону, что за его спиной прячется офицер и бегут сюда, спасаясь от огня, солдаты. Нет же! Не будет вам спасения! И закричал старик, закричал что есть мочи: «Сынки! Не щадите меня! Бейте поганцев!» И был сражен пулей немецкого офицера.

...Тишина стоит над Малкинской высотой. Белые облака плывут по небу. Качает ветер сухую траву... Обелиск, молодые деревца, стог сена. Человек присел на камень, задумался... Наша, до боли родная, святая земля.

Дорога, войдя в лес, вьется вдоль речки. Черная торфянистая вода неглубока, лишь в редких местах разольется омутом, и желтый опавший лист на ней лежит неподвижно, будто и кончилось тут течение. Но за омутом, раздвинув кусты, опять увидишь тонкую струйку, лениво омывающую корни столетних дубов.

Дубы растут по всему берегу, но особенно много их на широких полянах. Тут они выстраиваются шеренгой, и по ним можно угадать, как стояла деревня и сколько было домов. Дубы сажены давным-давно. Видимо, рубил человек избу и принес на огород из лесу дубок. Дубы переживают не одно поколение, а человеку хотелось долго жить в памяти потомков. Вот они и живут в памяти, безвестные русские мужики: деревень давно нет, а дубы стоят, широко раскинув кроны и протянув корни к речке Чернушке.

Да, эту речку зовут Чернушкой. Кто не слышал о ней! У самого

устья ее есть поляна с незарастающей тропой.

Необычайное волнение охватывает душу, едва ступишь на очерченный лесом круг чистой земли. С этой минуты все перестает существовать. Для тебя нет ни больших городов, ни шумных дорог, ни суеты повседневных забот — все отступило, ушло за память, ты один на один с черной зияющей амбразурой дота.

Низким пауком с земляной крышей-горбом лежит он на земле. Три щели, как три страшных глаза. Сухие стебли татарника густыми ресницами прикрыли их.

Они, наверно, и тогда торчали из-под снега, почерневшие будыля, и маскировали смертоносные амбразуры. Узнать бы, которую из них закрыло горячее сердце Матросова. Пожалуй, вот эту, что нацелена вдоль опушки на север, ведь наступление шло на деревню Чернушки, а она южнее поляны. Но на войне всякое случается, тем более что дот запырал дорожку не один.

Это не любопытство, узнать ту амбразуру. Это — страстное желание прикоснуться к камням, которые окропила его кровь. Думаешь, вот коснусь — и войдет в тебя частица его безмерной отваги и силы, его святого чувства долга, которое сильнее жажды жить. Ведь не праздное любопытство проторило сюда тропу, а преодолимое стремление души к очищению.

Четыре березы стоят в почетном карауле. Они похожи на грустных девушек. Пришли на свидание и остались тут навечно. Штыком поднялся к небу обелиск. В осенней пожухлой траве ветер шепчет легенды. А с берега Чернушки спокойно и мудро глядят на поляну старец-дуб, свидетель свершившегося. Вся Россия тут: ее скорбь и мудрость, ее сила и величие, ее прошлое и будущее.

Нашим добровольным проводником был Саша Дорошенко, ясноглазый парнишка лет десяти.

— Моя мама тоже воевала. Она вступила в матросовский полк и дошла до Берлина. А когда я родился, назвала меня Александром. А наш поселок называется Любимово. Он после войны построен.

Нельзя угадать, кем вырастет Саша из Любимово. Он ходит в школу деревни Чернушки, он ловит рыбу и учится плавать в омутах речки Чернушки, мимо дота бегают в лес по грибы и слушают рассказы матери о войне. Это его детство. Оно будет жить в нем чистотой помыслов и верностью родной земле — в этом ошибиться нельзя.

Житница... Так называли на Руси хлебный амбар. А здесь, под Новоржевом, в Ругодевских горах, люди называли Житницей деревню. Знать, неплохой, хлеб родила здешняя земля, хоть и усеял ее щедро ледник суровым камнем-валуном! За много веков собрал пахарь камни в большие суборы, и высятся они то на краю поля, то на опушке леса памятниками долготерпению и трудолюбию земледельца.

Умел русский мужик и беду свою обратить на пользу себе. Из серого камня мельничные жернова высек и поставил на горе ветрянку. Приловчился колоть и тесать его да такие лабазы и кузницы строить, что и посейчас стоят. А еще камнем дороги мостил, межевым столбом ставил, а когда умирал мужик — ратником или пахарем, — случалось, вместо креста клали на могилу ему камень-валун. Оттого на старых погостах и сейчас увидишь в траве замшелые камни-надгробья.

Из сурового камня-валуна сложили в Житнице памятник. На том месте, где в жестоком бою пал комбриг Герман и его боевые товарищи, партизаны 3-й Ленинградской бригады.

«...Жизнь я люблю безумно, она хороша и своими горестями и своей радостью, но если придется умереть, то знай, что умру честно, самоотверженно, я не посрамлю земли русской, не посрамлю своей семьи. И если когда-либо повторится еще столь грозный час, то будет с кого брать пример...»

Так писал в последнем своем письме жене Александр Викторович Герман. Высечь бы эти слова на суровом камне!

Он был прав: его жизнь стала примером для молодых. Ежегодно со всего района съезжаются в Житницу школьники. Под красными знаменами их принимают в пионеры. В мае собираются ветераны. Именем Германа назван здешний колхоз, улица в Новоржеве, школы, пионерские дружины. «И если когда-либо повторится еще столь грозный час, то будет с кого брать пример...» И будет кому!

...Над тихими полями высится камень-памятник. По весне в ограду белым снегом осыпает цветы черемуха, осенью багряным ковром выстилают землю листья кленов, зимой зеленые ели несут безмолвный караул и плачут метели.

И. ВАСИЛЬЕВ



ЛАЗАРЬ
КАРЕЛИН

ПУТЬ МУЖЧИНЫ

Рисунки
И. Оффенгендена.



Я эту историю не придумал. Впрочем, иная правда кажется вымыслом, а иной вымысел правдой. Это особенно хорошо художникам известно. Им говорят: такого солнца, как на ваших картинах, не бывает, уж очень красное, разве, мол, солнце красное. А художники клянутся, что бывает, сердятся, что им не верят. Они-то видели именно такое солнце — красное, пламенно-красное. Они видели, и все тут. Это уж у кого какие глаза. Ну, а я хоть и не видел сам, так слышал про эту историю. И от людей, заслуживающих доверия.

Он любил, а его не любили. Но и не прогоняли, придерживали подле себя на всякий случай и вообще от скуки, а еще для того, чтобы все видели, что вот он, ухажер, имеется, бегаёт по пятам, как собачонка.

И он мирился с этой незавидной участью, потому что любил.

А однажды он пришел к ней и застал у нее другого. Был тот другой таким молодцом на вид, что наш-то, нелюбимый, сразу понял участь свою. И верно, совсем недолго они посидели втроем, и девушка — а они жестокими бывают в иных случаях жизни — взяла да и сказала нашему неудачнику, чтобы он шел домой.

И тот пошел, покорился. Да и как было не уйти? Молодец-то новый мог ведь и взащей вытолкать. Он уж и с места встал и плечи расправил. Ступай, мол, чего стоишь?

Такая вот история. Но история, собственно, еще только начинается.

Вышел мой герой на улицу, прислонился головой к какой-то стене и заплакал. От обиды, от горя. Он очень любил эту жестокосердную девушку. Без нее ему и жизнь была не мила. Вот так, не мила жизнь да и только. Молодой, и жизнь у него вся впереди, а она-то ему не мила. Молодые, случается, очень не бережно относятся к своей жизни. Они еще не ведают, что за дар им выпал. А не ведая, часто расстаются с этим даром, и даже из-за пустяка какого-нибудь. Обидели их — и они уже с моста в речку... Молодость не глупа, нет, она слишком уж нетерпима к несправедливости. С годами это проходит. С годами опыт приобретает, натренировывается наша душа и на плохое и на обидное. Тренировочка, видать, во всем нужна, а не только в спорте.

Выплакался наш герой в стенку, вытер глаза и решил кончать с этой самой штуковиной, имя которой — Жизнь. Он еще и потому так решил, что за трусость себя презирал. А это уже серьезно, когда парень себя презирает за трусость. Ведь мог же он взять да и выгнать того молодца. Ну, а не выгнать, так хоть попытку такую сделать. Ведь тот-то парень не любил, как он любил. Такие красавчики и вообще не умеют любить, а если любят, то только самих себя. Надо было не показывать ему спину. А там уж как бы вышло. Пусть бы лучше побили его. Но ушел, опозорился и в ее глазах и в своих, чего уж теперь руками размахивать. А стыд жег, а душа болела, и жить стало невмоготу.

И вот тут я подхожу к своей невероятной будто бы, но вовсе не измышленной мною истории. Она произошла с моим соседом. И о ней многие знают в нашем доме и даже в иных разных местах, включая и отделения милиции. Наш участковый, к примеру, даже и не удивился, у него богатый опыт по части необыкновенных историй. Но я-то, признаюсь, удивился, мой опыт не столь велик, как у участкового. Вот потому-то я и решил про эту историю поведать. Ну, как художник, который увидел красное солнце, совсем красное, краснее помидора, и решил написать его. А уж там верьте не верьте, это — ваше дело.

Сережей звали того паренька. И пошел наш Сережа искать смерти. А помереть-то в двадцать лет не просто. Был бы пистолет — милое дело. Но пистолета или даже охотничьего ружья у Сергея не было. Ножом себя пырнуть? Противно как-то, морозно даже делается от мысли одной. Да и подходящего ножа у Сережи не было. Не кухонным же жизнь обрывать. Газ напустить? Других отравить. В речку броситься, в Яузу? Осень, холодно... Да и гляньте на эту воду — ведь грязь одна. Как в такую броситься? Пока утонешь, нахлебешься дряни. Нет, речка не подходила. Под поезд? Под машину? А вдруг просчитаешься или затормозят, и ты вместо желанной смерти обретишь страшные какие-нибудь увечья и останешься жить, но уже без ног или без руки. Нет, только не это! Сергей не мог рисковать, он должен был действовать наверняка, чтобы прямо сегодня же и покончить со своей жизнью. Да попробуй покончи.

Оказывается, задача эта наитруднейшая в нашем обществе.

Как же быть? Стыд жжет, душа изболелась...

Сережа брел да брел и на какую-то глухую улицу выбрел. А уже сумерки. Время идет, решение не приходит. Что делать? И тут его грубо толкнул кто-то. Мимо пивного ларька Сергей прошел, и какой-то подвыпивший парень взял да и толкнул его. Мол, чего шляешься не по своей улице, чего, мол, за прогулки за такие, когда здесь народ серьезным делом занят? Толкнул, хохотнул в лицо, обдав перегарцем, выхвальный перед приятелями, и делу конец. Да не тут-то было. В иное бы время и, верно, смолчал бы Сергей. Он один, пьянчуг вон сколько, да и улица чужая. В иное бы время смолчал бы, а сейчас его просто в жар бросило, такой вдруг удачный случай подвернулся. Вот, вот она, и смерть-матушка! Хулигана этого надо стукнуть, а уж он тебя не пожалеет. Сергей размахнулся и стукнул. Кабы страшился он смерти, удар бы его наверняка не удался бы, но он смерти не страшился, он ее искал, и потому удар его был точен, силен, от всей души изболевшейся. Эх как врезал! Так, что хулиган-то, верзила-парень, с ног слетел да еще и об стенку мордой шмякнулся. Чудо-удар! Что ж, вот и смерть пришла. Сгрудились вокруг поверженного его дружки, подняли и поставили перед Сергеем. Ну?! Не стал ждать Сергей, когда обрушится на него смертельный удар или там пырнут его ножичком. Захотелось ему в последний разок еще рукой взмахнуть. Накипело! Взмахнул, да так ловко, что хулиган снова об землю грохнулся. Лежит и помалкивает. Что ж это такое? Кто же теперь Сергея убивать станет? Встретился он, оглядывается, друзей хулигана ищет, отмщения ждет. Ведь это же общеизвестно, что хулиганы быстры на отмщение. Оглядывается, тревожится, а друзья хулиганов под его взглядом вдруг пятиться начинают, ухмылочки на их лицах объявились, мол, мы, что, да мы ничего. Расступились и даже, можно сказать, разбежались. А тот, поверженный, встать страшится и только хнычет: «Да кабы я знал, что ты боксер... Да кабы я знал, что ты парень-молоток...» Какой там боксер? Какой там молоток? Эх, слюняй ты, товарищ хулиган!

Пошел дальше Сергей. Что-то там в душе у него сотряслось от всех этих его ударов, что-то вроде как бы перемешалось по-но-



вому, и чуть поменьше стала душа болеть. Зато кулак занял. Но эта боль по сравнению с душевной — чистейший пустяк.

Что же делать-то? А? Время идет, парень тот сидит у нее, темнеет там у них в комнате. Хорошо, если она электричество догадается зажечь, как всегда догадывалась, когда Сергей засиживался. А если не догадается?

Болит, болит душа. Не повезло, трусливый хулиган подвернулся. Слабак!

Вышел Сергей еще на какую-то улицу, к стоянке такси подошел. Не поехать ли куда-нибудь? А куда? А зачем? Но все же встал в очередь: что-то же делать надо. Одна машина проехала — никого не взял шофер: не по пути ему оказалось. Другая проехала — опять никого не взял шофер: не всякий же пассажир рядом с его гаражом живет, а ему подавай только соседа. Ну, а первой в очереди женщина с маленьким ребенком.

Третья машина подошла. Шофер в ней оказался поговорчивее, не сразу дверцу хлопнул, задумался, как быть пассажирке с ребенком. Но пока он думал, откуда-то вынырнул громадный детина и скок в машину. Ему, вишь, некогда. Вези! И повез бы шофер, поскольку в детине было сто с лишним килограммов, а с таким весом, если еще вес этот водкой заправлен, спорить не приходится. Повез бы, да не тут-то было. Распахнул Сергей дверцу, рванул детину из машины.

— Не смей без очереди!

Что ж, тот вылез. Удивился, конечно, но вылез.

— Смерти захотел?

— Захотел, — кивнул Сергей. И чтобы уж наверняка детина его зашиб, от всей души, на прощание, дважды наотмашь хлестнул нахала по мордотой роже. Так звонко хлестанул, что постовой на углу оглянулся, не стреляют ли.

Ну, вот и все, вот и смерть пришла. А все же хорошо, что напоследок прибил он одного хулигана и одного нахала. Можно и помирать, не зря жил. Ну, так что же ты, бочка с водкой? А бочка-то вдруг бочком, бочком, и за машину, и бегом, бегом вдоль по улице. Да еще на бегу кричать принялась:

— Товарищ милиционер, бьют! Убивают!

А тут за спиной у Сергея вдруг хлопать начали. Он оглянулся, а ему вся очередь хлопает, будто он артист какой-нибудь знаменитый, будто на сцене стоит, завершив блистательное свое выступление. А одна девушка молоденькая даже кинулась к нему и поцеловала в щеку.

— Молодец! Умница! — сказала она.

И шофер подал голос:

— Хоть в конце смены отдохнул душой.

Шофер распахнул дверцу перед женщиной с ребенком.

Ну, а Сергею надо было уходить. Милиционер к нему приближался. Еще акт начнет составлять, в милицию, того гляди, поведет. Не до милиции было Сергею.

Шел, шел он и вышел к Курскому вокзалу. Народ сует, вокзал перестраивается, — теснота. Побрел через площадь Сергей к станции метро. Смерть смертью, а надо было где-нибудь руки холодной водой обдать: уж больно гудели. Идет и вдруг слышит крик:

— Помогите! Помогите!

Оглянулся: женщина какая-то кричит, от парня какого-то отбивается. Ну, ясно, привязался, жалеет, видите ли, познакомиться. И снова — сколько же их?! — издали видно, что, парень пьян. И опять — а все же удача не совсем отвернулась от Сергея — здоровенный такой парень, на одну левую может Сергея взять. Вот Сергей и кинулся на крик.

— Ты что хулиганишь?

— Проваливай, пока жив!

Возрадовался Сергей.

— Сам проваливай, подонок! — Да как стукнет его. Уже приновился, удар вышел что надо. Обидный такой удар, прямо в нос. От такого удара взбеситься можно. На это Сергей и рассчитывал.

— Ох! — молитвенно свела руки женщина и, как на бога настоящего, восхищенно, благодарно, влюбленно уставилась на Сережу. Это «ох!» и того больше должно было взбесить непрошеного кавалера. Но ведь дело-то он совершил несправедливое. Был он всего наглецом, да и только. Душонка в нем была ничтожнейшая, если вообще была какая-нибудь душонка. Словом, он струсил. Поменьше вдруг стал, сутулость в нем объявилась — и шмыг в сторону. А уже свист на площади, милиционер поспешает. За-

шего Сергея на какого-то красавчика с грубой душой. Преданность променяла на ветренность. Нет, нет у нас еще таких лекториев, где бы объясняли девицам, какой человек чего стоит и что смазливая внешность — это еще далеко не всегда красивый человек!..

Опомнился Сергей, смотрит, а он перед ее домом стоит. В два этажа домик, из стареньких, с геранькой в ее окошечке, — второе от угла, на первом этаже. Глянул Сергей на это окошечко и на миг счастливым стал: горел,



чем Сергею нашему милиционер? Совсем он был ему сейчас не нужен. И Сергей быстренько поклонился женщине, что все не сводила с него молитвенных глаз, и заспешил по своим делам.

Но дел у него никаких не было, а была лишь одна забота: сыскать смерть... Правда, душа болела потише, стыд жег помилосерднее, но вот зато руки ныли до самых плеч. Не помогла и газированная вода. Четыре стакана на руки вылил, а они гудят. Это с непривычки, конечно. Мы ведь привыкли руками-то работу какую-нибудь делать, а не по мордам хлестать. Тренировки нет. А, пожалуй, нужна и такая тренировка. Пока есть пьяные нахалы, хулиганы, вообще подлецы, нужна, пожалуй, и такая тренировка, а вернее сказать, и такая практика.

Пошел дальше наш Сергей. Задумался, не смотрит, куда идет, ноги сами повели. Вели, вели и привели глупые ноги назад к дому его любимой, к дому той жестокой девушки, что променяла на-

горел свет в окошечке! Но только обрадовался, только вздохнул счастливо, как свет в том окошечке погас. И обмер Сергей, и мир весь померк перед его глазами. Те, кто никогда не испытывал мук ревности, пожалуй, и не поймут нашего Сергея. Да только много ли таких, что не испытывали мук ревности?..

Погас свет, и обмер Сергей. Убежать бы, да ноги нейдут. Окаменел, похолодел, похоже, что и сердце встало. Но, счастье великое, снова зажегся свет. Зажегся, померцал и опять погас. Только погас и опять вспыхнул. А сердце Сережино то вверх, то вниз, то оживет, то замрет. Что же это, что там такое? Понял Сергей, да и всяк бы понял, что там, за горшочками с геранькой, борьба сейчас происходит: он свет гасит, она свет зажигает, он гасит, она зажигает. Он руки ей выламывает! Он голову ей запрокидывает! Он...

Забыл обо всем Сергей, рванул к окну, благо невысоко оно

было от земли, и миг спустя был уже в комнате. Разлетелись горшки с геранью, и он — вот он! И как раз свет опять зажегся. И все увидел Сергей. И все так и было, чего страшился. Истерзанную свою девушку он увидел, забившуюся в угол, и молодца-подлеца увидел, тянувшегося лапшей к выключателю.

— Сереженька, милый! — кинулась к нему девушка. — Спаси!

Да разве надо его было об этом просить?

И вот сошлись они посреди комнаты — правый и неправый. Один — щупловатый, невысокого росточка, но он любил. А другой был могуч, ручищи, как кувалды, но... Сергей не стал терять времени на разговоры, благо опыт у него уже кой-какой накопился. И уж если помирать, так разве слаще, чем такую смерть сыщешь? Ведь она сказала: «Сереженька, милый!» И ведь она смотрит на него. И Сергей ударил. Это неправда, что хлипкие да невысокие несильным обладают ударом. Все это чепуха — все эти теории о весе тела, помноженного на силу удара. Одна есть истина, когда речь не о спорте идет, а о серьезном, о возмездии. Истина эта — гнев праведный. Сергей ударил и в ответ получил. Снова ударил и снова получил. Упал и поднялся. Снова ударил и снова упал. И снова поднялся. Вот и смерть пришла. Нет, смерть слабых выбирает, и Сергей ей был не подвластен. Он падал и вставал, он отлетал к стене и снова шел вперед. Он уже почти ничего не видел. Только видел, куда бить. Это он видел. И он бил, бил, не ведая страха, не слыша боли. И вдруг мишень ненавистная, эта рожа оскалившаяся, сгинула. Он бежал, подлец, он не выстоял. Вот вам и вес тела, помноженный на силу удара!..

И Сергей тогда пошел прочь из этой комнаты. Девушка звала его, окликала, ласковыми словами звала. Он не слышал ее. Он и не видел почти ничего, но был он счастлив, и умирать ему больше не хотелось.

Вот и вся история. Хотите верить в нее, хотите — не верьте. Мне рассказывали ее надежные люди, и я им верю. Да и Сережу я потом видел всего в синяках. Был он весел, держался молодцом.

**ЭКСПЕДИЦИЯ
«РА»**

(Цветные снимки из книги Тура Хейердала, которую мы начинаем печатать в этом номере.)

Вверху — на площадке у древних египетских пирамид вяжутся первые звенья будущего судна.
Внизу — «Ра» в океане.





Цена 40 коп.

Индекс
71120